

СИБИРСКИЕ ОГНИ

**Литературно-художественный
и общественно-политический
ежемесячный журнал**

ВЫХОДИТ С МАРТА 1922 ГОДА

Главный редактор:
М. Н. ЩУКИН

Редакционная коллегия:

Н. М. Ахпашева (Абакан)
А. Г. Байбородин (Иркутск)
П. В. Басинский (Москва)
А. В. Болдырев (Курск)
А. В. Кирилин (Барнаул)
В. М. Костин (Томск)
А. К. Лаптев (Иркутск)
Г. М. Прашкевич (Новосибирск)
Р. В. Сенчин (Екатеринбург)
М. А. Тарковский (Красноярск)
М. В. Хлебников (Новосибирск)
А. Б. Шалин (Новосибирск)

Владимир Титов
ответственный секретарь

Михаил Косарев
начальник отдела художественной литературы

Марина Акимова
редактор отдела художественной литературы

Лариса Подистова
редактор отдела художественной литературы

Кристина Кармалита
начальник отдела общественно-политической жизни

Дмитрий Рябов
редактор отдела общественно-политической жизни

Елена Богданова
редактор отдела общественно-политической жизни

Корректурa: Т. Л. Седлецкая
Верстка: О. Н. Вялкова

3/2020

Содержание

ПРОЗА

Геннадий ПРАШКЕВИЧ. Гуманная педагогика. <i>Из жизни птеродактилей.</i> Роман. Окончание.	3
Роман СЕНЧИН. Полчаса. Рассказ.	61
Анатолий КИРИЛИН. Во саду ли, в огороде. Рассказ.	72
Виктор ТЕН. Пушкин в Одессе. Рассказ.	88
Вячеслав ЯДАГАНОВ. В одном селе далеко... Рассказы.	100
Олег ЛУЗАНОВ. Повороты судьбы. Рассказы.	111

ПОЭЗИЯ

Алена БАБАНСКАЯ. Сны бабочки. Стихи.	56
Дана КУРСКАЯ. Иероглиф юности. Стихи.	68
Константин ГРИШИН. Дымок над городом. Стихи.	86

ЛИТЕРАТУРНЫЙ АРХИВ

Илья ФОНЯКОВ. Размышления над школьной азбукой. Стихи.	127
--	-----

ОЧЕРК И ПУБЛИЦИСТИКА

Владимир БЕРЯЗЕВ. «Не умею о любви — верлибром...»	133
<i>Новосибирскому государственному краеведческому музею — 100 лет</i>	
Сергей РОСЛЯКОВ. Новые открытия археологов краеведческого музея.	138

КРИТИКА. ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ

Ненаписанные книги: контуры и силуэты. <i>Д. Драгунский,</i> <i>А. Кирилин, Ю. Козлов, А. Мамедов, Ю. Милославский,</i> <i>В. Михальский, Г. Прашкевич, А. Рубанов, Р. Сенчин,</i> <i>М. Тарковский, Л. Юзефович, М. Щукин.</i>	152
Влада БАРОНЕЦ. Странное хаотическое движение: загадки современной критики.	170

Заметки на полях

Константин КОМАРОВ. Большею частью — о хорошем. <i>О поэзии с нежностью, но без сюсюканья.</i>	174
--	-----

Книжная полка

Нина ЯГОДИНЦЕВА. Смотреть бесплатно в хорошем качестве. ...	180
--	-----

Картинная галерея «Сибирских огней»

Андрей КУЗНЕЦОВ. Алена Залуцкая — человек, оживляющий глину.	187
---	-----

<i>Авторы номера</i>	191
----------------------------	-----

Редакция знакомится с письмами читателей, не вступая в переписку. Рукописи не рецензируются и не возвращаются. За достоверность фактов несут ответственность авторы публикаций. Их мнения могут не совпадать с точкой зрения редакции. Ранее опубликованные (в том числе в газетах и сети Интернет) произведения не рассматриваются. Редакция оставляет за собой право опубликовать присланное произведение в журнальном варианте. При перепечатке материалов ссылка на «Сибирские огни» обязательна.

Главный редактор, директор ГБУК НСО «Редакция журнала «Сибирские огни»» М. Н. Щукин.

Геннадий ПРАШКЕВИЧ

ГУМАННАЯ ПЕДАГОГИКА

Р о м а н*

Кружевная Душа

Ночь в соломе.

Щели в крыше набиты звездами.

«Только в тенистую рощу вошли мы, как в ней увидели сына Киферы, малютку, подобного яблокам алым. Не было с ним ни колчана, ни лука кривого, доспехи под густолиственной чашей блестящих деревьев висели. Сам же на розах цветущих, окованных негою сонной, он, улыбаясь, лежал, а над ним золотистые пчелы роєм медовым кружились и к сладким губам его льнули».

Не походил я на сына Киферы, на малютку, подобного яблокам алым.

И Соня находилась не за тысячи километров, а где-то рядом, может, метрах в тридцати, точно, не больше — за бревенчатой стеной большого крепкого дома. Просто метры эти, стены эти были для меня непреодолимы. А как бы хорошо было посидеть у стола... Настольная лампа... Чай...

Ворочался.

Раннего утра ждал.

Ну, которое всегда мудренее.

Я, когда впервые в жизни Соню увидел, принял ее за овцу. Конечно, за хорошенькую. А потом, рассмотрев, принял за дуру. Тоже за хорошенькую. А потом понял, что и в первом, и во втором случаях здорово ошибался: не овца она, и уж точно не дура, ни одного занятия не пропустила в школьном литературном кружке.

Но читать Соне вслух свои стихи я запретил.

«Нам с тобой одна судьбина, нам с тобой одна судьба. В этом вся моя причина: люблю (я сразу и напрочь выбросил из головы чье-то имя, чужое, не мое имя, прозвучавшее для меня отвратительно)... как себя».

Вот Соня теперь и вырабатывает холод.

«В рабы его!»

* Окончание. Начало см. «Сибирские огни», 2020, № 1, № 2.



Да что же это такое?

Завхоз вполне мог упрятать меня в какой-нибудь пыльной кладовой, запереть на замок или вообще поместить на ночь в одно помещение со своими кудлатыми-бородатыми рабами, а он без особых раздумий (чего тогда размахивал вилами?) отправил меня в обыкновенный пустой сарай в соседи к курам и никакими бедами не грозил, будто знал, что никуда не денусь.

«Почему люди сперва влюбляются, а потом тихо плачут?»

Много на свете сложных вопросов.

Я впадал в дрему.

Прислушивался.

Ночью кто-то выходил на крылечко, тревожно ручной фонарик вспыхивал, может, рабы все-таки следили за мной. Вот и не мог я уснуть, хотя далекая кукушка на этот раз молчала.

Потом забылся.

Не лезть же наобум в ночную мглу.

И все же, как только потянуло в сарай светлеющей, будто дымной прохладой, как только тьма за щелястой деревянной дверью начала наливать каким-то сонным, будто рассеянным светом, я осторожно, оглядываясь, таясь, выбрался из надоевшего мне темного сарая, так же осторожно обошел его и задней стороной вышел к поскотине, а оттуда на лесную тропу.

Если спят, то нагонят не скоро.

Часа через два-три выйду к брошенному поселку.

Вдруг повезет, вдруг в поселке ночуют какие-никакие отпетые грибки?

Вот и шел по старой сухой грунтовке. Слева и справа тяжелые кедры сливались в одну стену. Нежный запах смолы. Рытвины. Трава на обочинах.

Хорошо, что фирстовский кобель (Кербер) не вернулся на заимку.

Впрочем, зачем Керберу возвращаться? Все при нем, даже его копура.

Раннее теплое сонное утро. Рабы спят, девки спят. Спит строгий карлик-горбун, спит тихая добрая Вера Ивановна. «Все равно я скоро умру». Спят мохнатые кедры, шишек в этом году не оберешься, на всех хватит. Спит Астерия — маленькая дочь древних титанов. Спят Брисеида и Венилия — маленькие царицы, пусть приснятся им кембрийские моря, набитые страшными мерцающими трилобитами. Провалились в теплый сон, как в пуховую перину, Галантила с дылдой Дидоной, и маленькая Елена спит, тортик-девочка, и Зоя, Кружевная Душа; спит даже печальница Ио с голосом тупой и рябой кукушки.

Радаманта спит.

И рыжая Лисидика.

И холодная Соня, конечно.

Тоже мне, придумала: «Отдайте его рабам!»

Вот и приходится бежать, а ведь здесь, говорят, рыси водятся.

От рысей (если нападут) голыми руками не отобьешься. Это я знал. Правда, утешало: зачем рысям Лёвина шкура? Это девкам она вдруг понадобилась. И вообще, с чего я взял, что на заимке карлика-горбуна появлению давно надоевшего всем школьного учителя якобы обрадуются?

Встретить вилами — это да! А приютить...

Но жила, все равно жила в глубине души какая-то надежда.

Вдруг они там, в избе, одумались, спохватились. Через час нагонят, обнимут, пустят слезу: «Лев Георгиевич, ну чего вы? Не обижайтесь, мы так шутим! Будьте нашим гостем!» Но чем светлее становилось в лесу, чем яснее выступали слева и справа от дороги ели и кедры, тем прозрачнее становилась моя надежда.

«Почему люди сперва влюбляются, а потом тихо плачут?»

И правда, почему? Даже древний грек Платон не знал на это ответа.

Вся человеческая философия — сплошные догадки. Ничего, кроме догадок.

Вон как мощно и нежно лапы столетних елей касаются сухой земли, покрывают ее зеленым навесом, хоть живи под ним. Только с кем жить под этими лапами, от кого прятаться? Сюда нормальные люди не ходят. Раб Петр не случайно тряс кудлатой головой, намекал, что вот, дескать, было однажды, парни с Пихтача приходили бить Платона, теперь живут по городскому лечебнику. Сам Платон в тот день был чем-то занят, вот и гоняли незваных гостей девки.

И Соня с ними, наверное.

Ну их всех к черту, решил я.

Уеду на Сахалин. Теперь точно уеду.

На острове — метели, вокруг острова — море.

Займусь самообразованием. Куплю телескоп, займусь наблюдениями звездного неба. Иногда любители открывают новые кометы. Если и мне так повезет, назову ее именем...

Ладно, это потом.

Иногда я вроде слышал чьи-то шаги.

Да нет, конечно, не было на дороге никого, кроме меня.

Никто тут не мог меня преследовать. Девки фирстовские, их рабы и их Кербер давно распугали тут все живое, даже хищные рыси, наверное, живут по городскому лечебнику.

Останавливался.

Прислушивался к тишине.

Потом ускорял шаг. Понимал, что надо попасть в поселок.

Конечно, поселок этот давно заброшен, пуст, но ведь забредают в него грибники и ягодники. Такое они бродячее племя. Да и шишкарки, может, вышли на разведку. Они парни крепкие, им деревянной колотушкой приходится махать, обивать кедры, работа нелегкая. Если выйду на шишкарей, они меня в рабство не отдадут, им самим нужны рабочие руки...

ТЬФУ на вас всех!

Вдруг (пугался) вся свора фирстовских девок с воплями и с визгом, как сама судьба, как таежный греческий хор, выкатится на дорогу с палками и с железными вилами в загорелых руках?

«Если убежишь, — вспомнил я просьбу (или совет) тихой Веры Ивановны. — Если убежишь, пришли нам конфеты “Ласточка”. — Кажется, Вера Ивановна единственная на фирстовской заимке думала обо мне по-человечески. — Только много не присылай. Все равно я скоро умру».

Пришлю ей большую коробку...

Именно ей пришлю. Не Соньке, овце и дуре.

Хруст.

Шорох.

Опять хруст.

Вдруг это Кербер?

Хотя вряд ли. Кербер — пес самостоятельный.

Я еще на пути к заимке с этим псом разговаривал, правда, имени его не знал, обращался к нему: «Эй!» Вот он и скалил клыки. Не скажу, чтобы насмешливо, скорее злобно, но что-то до Кербера доходило, подзревал, наверное, что под горячую руку обозвать могу Колчаком, а это обидно, псы мир чувствуют сильнее людей. Соня — простая девушка, сказал я Керберу по дороге к заимке, а ты (сердился) просто самец-неудачник, мотаешься по тайге с конурой.

Злился на Кербера.

А он скалил клыки: дурак ты, Лев Пушкарёв, если девку с такими крепкими зубами считаешь натурой сложной. Она спать здорова. Таковую ни весенней, ни осенней простудой не проймешь. А ты, Пушкарёв, никакой не лев. Ты сложных чувств ищешь, а Сонька — самая обыкновенная девка. Ну хорошенькая, согласен. Ну не пропустила ни одного занятия в твоём дурацком школьном литературном кружке. Но ведь стихи у нее (сам знаешь) плохие.

«Нам с тобой одна судьбина, нам с тобой одна судьба».

Что в этом хорошего? И посвящено, Пушкарёв, не тебе.

Все равно я таял от нежности. Нежная Соня, кудрявая Сонечка.

Только вот зачем она крикнула с такой страстью: «Отдайте его рабам!»

Кербер, наверное, знал зачем, потому и скалился. Он, наверное, был уверен, что поймают меня девки и отдадут рабам. Буду им сапоги дегтем чистить. Избитый, буду валяться в сарае. Вдруг в Соньке совесть проснется, тайком проберется в сарай, начнет прикладывать к моим синякам компрессы...

Из смутной мглы вдруг дохнуло на меня прохладой.

Невидимая речка пряталась в невидимом овраге, оттуда (снизу) легко и беззвучно наплывали волны теплого белого тумана. Не надо никаких рысей, и Кербера не надо, туман сам по себе был напитан страхами. Он медленно и непреклонно размывал, прятал кусты, медленно и непреклонно топил тропу. Не туманом уже несло, а теплым и плотным паром,



ничего в нем нельзя было различить, в самой реке, наверное, только разваренные рыбы плавали.

Но хлопало что-то там внизу, мягко шуршало.

Может, недоваренные рыбы сердито били по дну хвостами.

А вот сучок хрустнул, шорох подозрительный.

И снова хруст.

Ох, обдало нехорошим холодком, схватят!

Схватят, руки скрутят, погонят, как раба, на заимку.

А там куры всполошатся, все остальные (не участвовавшие в набеге) девки набегут.

Волосы у каждой уложены веночками, все в длинных рубашках, чистенькие, светлые, как в Древней Греции. «Хочу Лёвину шкуру», — завистливо скажет Зоя, Кружевная душа, а девочка-тортик в ответ рассмеется, как колокольчик, добрая, нежная, забирай, дескать, жалко, что ли, все равно не хватит на всех, тоже мне — шкура! Даже Соня (меня холодом обдало при этой мысли) примет участие в дележе. Одна только Радаманта наклонит голову, упрекнет сестер: чего вы, мол, так торопитесь, дайте сперва я свяжу на этого льва свитерок. «Погребальный?» — надует губки Галантила, змея очковая. Они все, эти девки фирстовские, себе на уме. Они все тут — моя судьба, мой греческий хор, сам нарвался. Куры будут кудахтать, топтаться на моих босых ногах. Умей куры ругаться, как домашние попугаи, вот вышел бы ужас. Представляю, как бы они склоняли мое имя. Даже тихая Вера Ивановна не выдержала бы: «Да переименуйте вы, наконец, этого льва. Все равно я скоро умру».

Небо светлело, становилось большим, пустынным.

«Се мирнава блаженства панорама».

Туман уходил, таял, будто его и не было.

По плоским, каким-то старинным лужам носились проснувшиеся водомерки. Юркие, шустрые. Глядя на них, я захотел есть, но рюкзак остался в доме завхоза. Вот ведь как жизнь не удалась. Теперь точно улечу на Сахалин. Приятель два года зовет, измучился. Теперь улечу. Если и Сонечка готова отдать меня рабам, то какой смысл оставаться в Тайге?

На Сахалине отдышусь.

Буду ездить на Охотское море.

Там — плоские берега, заметенные морской капустой.

Там базальтовые скалы, там пески, подтопленные приливом, там в округлых бухтах жирные, тяжелые сивучи качаются на длинных волнах, совсем как довольные свиньи.

Тьфу на вас всех!

Присел на пень, понурившись. Не удалась жизнь, нескладно все у меня вышло.

И тут вдруг кто-то кашлянул за моей спиной.

Меня так и обожгло: Соня! Это Соня! Это она, нежность моя и радость, счастье и гордость, не выдержала, бросилась в тайгу из сонного царства Фирстовых, и вот догнала, измучилась. Напугана, наверное, мало ли что поспать здорова. Любовь, известно, сильнее сна, зачем ей

ошибаться в четвертый раз? Вовсе она, Сонечка, не ледяная, наверное, вся горит, обидела меня, жжет вина ее сердце. Тайком выскользнула из спящего дома, не оглядываясь, по ночной тропе, по которой парней с Пихтача гоняла...

Негромко позвал: «Соня!»

Тихая тень выступила из тени.

Кофта вязаная, юбка, сандалии, родимое пятнышко на щеке.

Да не Соня, не Соня это... Да что же это такое делается... Зоя, Кружевная Душа... Не струсила, дурочка, догнала, не испугалась, что в гнев своем прихлопну ее, как жужелицу.

«Спит сейчас Сонька без задних ног».

Точно, Зоя. Умытая, в сандалиях.

«Чего идешь за мной?»

«Одной страшно».

«Кого страшно?»

«Рысей».

«Зачем ты им?»

«Они хитрые, — объяснила Зоя. — Говорят, что они человеку особый нерв перекусывают, и человек живет, видит, чувствует, только двигаться и ругаться не может. Вот рысь его и ест, свеженького».

«Куда торопишься?» — сменил я тему.

«В Тайгу, конечно. Домой».

«Что ты там забыла?»

«Черепашу».

«Какую еще черепашу?»

«Красноухую. Когда уезжали, она спряталась. Она любит прятаться. Боюсь, как бы не выползла на улицу, там ее собаки замучают. А тетя Тося, соседка, не знает, что мы забыли красноухую, так что поискать не догадается, а черепахи голоса не подают, это не попугай, — объяснила она мне совсем как слабоумному. — Лежит моя красноухая где-нибудь за диваном».

«Ну найдешь. А потом — обратно?»

«Вот еще! На заимке пойти некуда и бурундук подглядывает».

«А в Тайге что делать? Работать?»

Она скучно зевнула:

«Пусть рабы работают».

«Ты тайком, что ли, ушла?»

«Ага. Только записку оставила».

И спросила: «Ты что, погони боишься?»

«Какой еще погони?»

«Сам знаешь».

Обвела окружающее загорелой рукой.

«Ты ничего такого не думай. Не будь дураком. Я не собиралась тебя догонять, просто одна не люблю ходить, когда туман утром, а утром у нас часто туманы. Я эти места хорошо знаю, только с рысями не хочу дружить, они недоверчивые и злые, и всегда у них ноги короткие.



С ними говоришь, а они фыркают. Зато на заимке я бурундука приручила. Совсем дурак. Теперь все время торчит в окне».

И опять взмахнула загорелыми руками.

Ногти обкусаны, но привести в порядок — залюбуешься.

Впрочем, жалеть Кружевную Душу я не собирался. Это ведь она крикнула отцу: «Запори его!» У всех фирстовских девок были такие интересные желания. И это ведь она, Кружевная Душа, вслух заявила, что мое имя якобы не идет мне. Якобы переименовать меня не мешает. А когда девки решили делить мою шкуру, то именно Кружевная Душа попытывалась, много ли львы едят...

«Рабы меня, наверное, уже хватились?»

Кружевная Душа совсем развеселилась: «Ты-то им зачем?»

И засмеялась: «Рабы — это идея».

«Отца своего наслушалась?»

«Не тебя же».

«А чем я плох?»

Она оценивающе, как-то по-женски (а ведь девчонка) оглядела меня:

«Не знаю. Только дурак».

«Это почему же я дурак?»

«Да потому что шел к Соньке».

«Что в этом такого уж плохого?»

«А что в этом такого уж хорошего? На кой ты Соньке? Ей никто не нужен. И твой литературный кружок не нужен. Она стихи сочиняет — и хватит с нее. А ты вечно лезешь в душу. Она рисовать любит и смотреть в небо. Она одна гулять любит. А твой литературный кружок — придурь, им только дурачков злить. Вот она и появляется на занятиях. А вот я не такая, — все-таки не удержалась, похвасталась Кружевная Душа. — Я пухлые блины стряпать умею. Они правда пухлые, а по краям кружевные. Я на всю семью стряпаю. А иногда на всю семью стираю. Видишь, какие руки чистые, красивые? — похвасталась она тонкими руками, пошевелила тонкими пальчиками. — Это Сонька у нас хитрит. И Клава тоже. Про Ирку вообще молчу. Обсядут меня, как слепни лошадь, и тоже... пашут... со мной... Хватит! — взмахнула рукой, будто отгоняла слепней. — Я, когда вырасту, замуж выйду. У меня настоящий муж будет».

«Какой-нибудь раб?» — нисколько не удивился я.

«Лучше модный портной», — ответила Зоя бесхитростно.

И добавила так же бесхитростно: «Зря ты мылишься, зря ходишь вокруг Соньки. Она не такая, чтобы дружить с дурачком. Она каждого насквозь видит. Она умная, только виду не показывает. Ей хорошо на заимке, а ты зачем-то приходишь, волну гонишь. — Зоя ласково, но грозно пощелкала ровными белыми зубками, совсем как хищный красивый зверек. — Ну как она будет с тобой дружить? Мы тебя под вилами видели. Другой бы кричал, дергался, прыгал, как бурундук в капкане, а ты сразу обвис, как дохлая пивявка. Сам подумай, зачем Соньке друг, который простых вил боится?»

«Похоже, это ты — дура».

«А ты курокрад».

Так, переругиваясь, мы вышли к пустому поселку.

Никого там не было. Дымком не тянуло, не слышались голоса.

Не задерживаясь, двинули дальше — к торной дороге, ведущей на Пихтач.

Шли споро, я искоса на Зою поглядывал. Ишь, замуж она выйдет. А на щеке красное родимое пятно, ее это нисколько не волнует. Иногда Кружевная Душа обгоняла меня, дразнилась. «Вот шел ты к Соньке, а как тебя прижали, так сразу в кусты. Бежишь, как бурундук сраный».

Никак не могла уgomониться.

«Ты видел красноухих черепах?»

«Никогда даже не слыхивал».

«Приходи, посмотришь».

«А что в них такого?»

«А в Соньке?»

Я не ответил.

Было время, ходил я к инвалиду Мишке Скворцову.

Был у меня такой дружок. У себя на улице Почтовой попал в детстве под полуторку. С той поры плохо ходил, зато научился сапожному ремеслу и читал много. Как свободный час — так за книгу. Читал на лавочке в палисаднике, а через улицу в большом доме напротив (в доме Платона Фирстова) все время девки галдят, пес в лае захлебывается.

«Там общага, что ли?» — спросил я, впервые попав к Мишке.

«Да ну! Обычные дуры. — По отношению к девкам Фирстовым даже у Мишки это слово всегда возникало первым. — Книги берут у меня, а потом возвращают мятыми, подмоченными, иногда теряют. Пожалуюсь Платону, он мне ведро картошки таранит. Никакая книга, говорит, больше ведра картошки не стоит. А девки у меня роман Шпанова зачитали. А это очень толстый роман. Если картошинами платить за каждую его страницу, ведром не отделаешься. Я люблю толстые книги. У меня Брянцев есть, Сартаков, другие. “Даурия” есть, “Педагогическая поэма”. А Платон за самую толстую книгу все равно только одно ведро несет. Поэтому девкам некоторые книги вообще не даю. “Русско-японскую войну” не даю. “Черный смерч”, “Поджигателей”. В “Русско-японской войне” много карт вставных, растрясут, дуры. Там указаны все бои и сражения. Там вся Цусима описана. Ты знаешь, что в Порт-Артуре адмирал Колчак служил? Девки Фирстовы его именем собаку назвали. Платон кличет “Кербер”, а они — “Колчак”. Совсем того...»

И разозлился: «Книг жалко».

«А ты давай девкам брошюры».

«Тогда Платон вместо картошки горох мне начнет носить».

«Смотри, Мишка. Много читаешь. У нас один такой зачитался».

Он непременно спрашивал: «О ком это ты?» Только узнав, успокаивался: «Этот сам с ума прыгнул». И объяснял терпеливо: «Я же не читаю круглые сутки, мне где столько времени взять? — Почесал голову



растопыренными пальцами. — Я всякую обувь чиню, подшиваю валенки». К галдящим соседкам Мишка, в общем, относился легко, даже с интересом, как к птичьей стае. Только жаловался: «Все они на одно лицо, только одна длинней, другая короче. То ли хитрые, то ли совсем дурные. Та же Астерия. Самая маленькая, от горшка два вершка, а уже считает себя дочерью титана. Это что же получается? Это наш Платон — титан? — Мишка даже засмеялся. — Да он даже за самую толстую книгу Шпанова приносит игрушечное ведро картошки. Ну не дурак?»

Нет, не дурак был Платон Фирстов.

Растить одиннадцать девок и жену не просто.

Это древний грек, тезка Фирстова, прогуливал своих учеников по чудесному саду в Афинах, рассказывал им обо всем, даже об Атлантиде. Так сказать, прививал любовь к знаниям. Это тебе не «замуж выйду». Это целая цивилизация, исчезнувшая прямо в одночасье. Это вулканы, землетрясения.

«Ты хоть знаешь, зачем замуж выходят?»

Зоя, Кружевная Душа, ни минуты не думала.

«Чтобы половинку свою найти».

«Тебе себя мало?»

«Мало».

«Ты, небось, и об идеальном государстве слышала?»

«Сразу видно, мало тебя вилами пугали».

«Это почему?»

«Память некрепкая».

И снисходительно объяснила.

«Философа Платона при его жизни продавали в самое настоящее рабство. Не то что тебя. Настоящего философа ничем не испугаешь. А ты вилы увидел — и чуть не в крик, обвис на зубах, как тряпка. Древнего грека Платона другой древний грек выкупил, они друг друга ценили, а тебя кто выкупит? Инвалид Скворцов?»

Рано радуешься, подумал я.

Дурака можно узнать по двум верным приметам.

Во-первых, дурак много спрашивает о вещах ненужных и бесполезных, во-вторых, постоянно высказывается о том, о чем знать ну никак не может. Так что никакому государству (даже семье) ничего не светит, если ими правит философ.

Кстати, это все тот же самый грек (тезка нашего завхоза) говорил.

Задача правителей заключается не в том, чтобы философствовать, говорил древний грек Платон, а в том, чтобы их подданные жили хорошо. И чтобы эти подданные вели себя как люди.

«Явишься домой, а дверь на замке».

«У меня свой ключ есть».

«С собой носишь?»

«Под крыльцом прячу».

Засмеялась. Отвратительно хорошенькая.

«И что будешь дома одна делать?»



«Черепашу воспитывать».

«Красноухую?»

«Какая уродилась».

И не выдержала, опять похвасталась.

У красноухой, похвасталась, мало что она красноухая, морда в густых морщинах, как у самой древней старушки, как у современницы грека Платона, и пандирь у нее совсем зеленый, возле глаз пятна. Тут Зоя вспомнила, наверное, о своем родимом пятне и сменила тему. «Мы нашу красноухую зовем Лушка. Она, правда, на это имя не откликается. Глупая, наверно».

И весело подпрыгнула: «Ты про нашу Соньку забудь».

И еще добавила, что, дескать, я вру все время. Запутывала.

Но я древнего грека-философа Платона читал, зря она бесилась.

Стыдиться постыдного и стремиться к прекрасному — вот к чему люди должны тянуться, если верить древнему греку Платону, а люди почему-то тянутся к постыдному. Только я-то при чем? Я — учитель. Я преподаю. Я знаю, что главное в жизни — это любовь. Я знаю, что любящий человек не должен убегать от подруги только потому, что у нее пальцы ледяные... Но вилы... Но капельки крови...

«А как ты до осени жить будешь?»

«Мне раба пришлют».

«Рабов у нас нет».

«Ой, ну ты совсем того! — прямо по-детски обрадовалась Зоя. — Раб — это же идея. Что тут непонятного? Ты покрути мозгами, ты подумай. Раб — это просто идея. Очень древняя. Она так давно высказана, что никто уже и не помнит, кто первый заговорил о рабах. Отцу это нравится. Да и какая разница? Высказанную идею все равно убить никак нельзя, — чувствовалось, что Кружевная Душа наслушалась своего родителя. — Рабов можно всех перебить, а идея останется».

«А это почему?»

Она даже остановилась.

«Ты что? Правда не понимаешь?»

И обогнала меня, подпрыгивая, заглядывая в глаза.

Пятилась, подпрыгивала, веселилась от души, тараторила:

«Ты пойми. Соньке ты совсем не нужен. Ты ей не интересен. Сонька созерцать любит. Ее главная идея — созерцать, а у тебя никаких идей нету, ты только чужие слова повторяешь. Сонька любит созерцать, а ты начнешь к ней приставать, как те парни с Пихтача. Ты не смотри, что у нас отец ростом как бы не вышел, начнешь зарываться, он из тебя дурь выбьет».

«Ты с заимки от отца сбежала?»

«Не от отца сбежала, а — к красноухой».

«А Кербер от кого сбежал? У него какая идея?»

«А Кербер просто так сбежал. Он у нас безыдейный».

«Сентябрь уже на носу», — напомнил я.

«Ну и что?»

«В школу скоро».

«Ну и что? Куда же еще?»

Я засмеялся: «Ты же говорила — замуж».

«А это потом! Это еще рано. Это только идея».

Произнесла так, что даже я наконец понял: высказанную идею не убить.

А Кружевная пальчиками коснулась родимого пятна на щеке. «Говорят, — сказала, — на свете такой перстень есть. Он волшебный. Если его повернуть камнем в ладонь, то становишься невидимой».

«От кого?»

«От того, кто полюбит».

«А зачем прятаться от того, кто тебя полюбит?»

Она даже остановилась.

«Любовь — это же мучение».

Ну да, сразу вспомнил я записочки в мусорной куче. Эту, к примеру. «С какого момента можно считать человека взрослым? Когда он перестает бояться уколов? Когда ему начинает кто-то нравиться?» Наверное, Зойкин вопрос.

Вон какой на обочине кедр вымахал, присматривался я, шагая по дороге. Такой толстенный, еще, наверное, при Ермаке пророс. И комаров совсем нет, отмахиваться не надо. И погони нет. И к пригородному успеем.

Кружевная Душа, похоже, устала, но не признавалась.

Не знаю, о чем она думала, а меня мучило раскаяние. Ну вот почему так? Сперва явился без приглашения, теперь смываюсь тайком.

Солнце взошло.

Никто нас не нагонит.

В пустом вагоне пригородного Зоя, Кружевная Душа, сразу уснула, повернувшись лицом к стенке, успела только сонно предупредить: «В Тайге за мной не ходи».

«А если ты потеряешься?»

«Это я-то?»

И уснула.

А я стащил с себя свитер.

И прикрыл ее. Спи.

Тайга скоро.

Бомба времени

Кочергина не было.

Остальные собрались аккуратно.

Запил, наверное, неумный Кочергин.

«Я называю кошку кошкой». Я уже знал (от Ролика), что Кочергин цитирует сатиру Буало (Ролик все знает). «Я называю кошку кошкой, а Роллэ — мошенником». То есть все вещи я называю своими именами. Роллэ был, кажется, прокурором, понятно, жадным и продажным.



Дмитрий Николаевич о чем-то шептался с Хунхузом, потом Ольга Юрьевна шепталась с ними. Дед молча стоял у окна, опершись на свою тяжелую палку с резным набалдашником. В двух шагах от него — бюст Петра Комарова.

«Азиатской волной Амура, криком зверя во мгле ночной, потайною тропой маньчжура ты пугал меня, край лесной...»

Зеленое сукно стола. Рукописи, карандаши.

«Начинаем», — сказал наконец Хунхуз.

Суржииков кивнул. Чувствовал, это его день.

Выглядел уверенно. Европейская штучка. И повесть его была выверена.

Молодой местный сцепщик Гриша Петелин попал под вагонетку. И такое бывает.

Два месяца в больнице, три — дома. Сперва на койке, понятно, потом учился ходить с палкой, костыли отверг, не хотел привыкать к костылям (характер самого Ролика), чего там, нога на месте, а он — молодой, ему еще жениться придется. И не на вагонетке. Так что шутки в сторону. Когда на третью неделю лечения знакомые женщины из вагонного депо принесли Грише живые цветы, он удивился: это еще зачем? Тигра не кормят салатами. А встав на ноги, в любимой своей байковой клетчатой ковбойке, в черных штанах, произведенных швейным цехом на станции Болотной, которые никогда не рвутся и не выцветают, стал два-три раза в неделю наведываться в вагонное депо — в курилку, в брехаловку.

Там его услышал инструктор из профсоюза.

«Вижу, сечешь в политике».

«А то!»

И перед пораженными слесарями, сварщиками, смазчиками, токарями, подметальщиками, электриками, наладчиками, перед всем этим вечно занятым и шумным рабочим людом стал всем давно им знакомый Гриша Петелин минут по десять-пятнадцать в день (конечно, с прямого разрешения начальства) развивать свои представления о текущей жизни.

«Кто жаловался, что хороших новостей не хватает?»

Поднятых рук не считал, радовался: «Вы курите, а я выговорюсь».

Начинал просто. «Сами знаете, — начинал, — с первого января лучше всего смотреть программу по названию “Время”. По телику, понятно. Сами знаете, это совсем новая программа. Ну а те, у кого пока телика нет, слушайте радио. — Сразу пояснял: — Это великое изобретение — радио. — Произносил так, будто радио только сегодня утром изобрели. — Уши у человека ничем особенным не заняты, вот и оплачивайте радиоточку, дело того стоит. А приемника нет, ходите на политинформации».

Делал выразительную паузу.

Дождавшись тишины, продолжал.

«Сами знаете, событий нынче столько, что не успеваешь следить. Вот “Аврору” наградили орденом Октябрьской революции. Да, да, Спицын, — кивал он строптивому слесарю из монтажной бригады. — Имен-



но крейсер наградили. А ты что думал? Не капитана, не артиллеристов, а крейсер. Вот твой инструмент, Спицын, не наградили, — собравшиеся понимающе посмеивались, — а великому крейсеру слава. И не за то слава, что стоит на вечном причале, бабахнуть некуда, — опять понимающий смех, — а за то, что свое великое революционное дело крейсер “Аврора” выполнил еще в октябре семнадцатого».

Грише нравилось говорить такими вот медными словами.

«Сами знаете, в марте этого года, — докладывал, — в южной стране Сирии в поселке Табка наши строители заложили первый камень Евфратской плотины. Братская помощь. А то как? Евфрат — большая река. Есть река Тигр, и есть река Евфрат, обе большие, обе параллельно текут. Особенно Евфрат. В диких поповских текстах реку Евфрат считали и считают священной, но живут на ее берегах простые непросвещенные сирийцы, наши друзья. Да, непросвещенные, Спицын. Как ты. Только много учатся. А наши строители, — (“как ты”, подсказывали Грише из зала), — помогают расцвету прекрасной южной страны, чтобы не было больше на ее территории никаких войн. Сами знаете, зря, что ли, министр обороны маршал Гречко ездит по тем краям, присматривается, кому дать в зубы, если полезет кто».

Гриша делал многозначительную паузу.

И, выдержав паузу, выдавал: «У нас все для семьи!»

«Сами знаете, — пояснял, — наше правительство утвердило наконец основы законодательства о советском браке и советской семье».

В зале откровенно хихикали. Особенно у входа, возле большой железной бочки с песком — для курильщиков. Все знали, что жертвой новых основ первым (это и предполагалось) пал неутомимый ходок слесарь Пучков. Нормальный парень, свой в доску, а вот застучали его в момент, когда он нашептывал на ухо чужой жене некоторые известные слова, даже уже не нашептывал, сами знаете, а гораздо больше. Ну, вывели слесаря на чистую воду. Сами знаете, принципиальный товарищеский суд. «Любишь кататься — люби и саночки возить». Все по делу. Теперь по вечерам, сами знаете, только законная жена вставляет Пучкову хлопушки.

«Куда?»

«Сами знаете».

Гришка увлекался, начинал говорить резко, прямо.

Политинформация в Гришиных вариантах превращалась в настоящий роман духовных приключений. Слушая Гришу, работники (особенно работницы) депо стали болтать меньше, стали больше задумываться, шарить в политике. Любого слесаря хоть сейчас посылай в чужую страну, он там враз кого надо распропагандирует. Начальство означенный поворот отметило, оценило и начало извлекать из выступлений Гриши Петелина самую настоящую пользу.

К примеру, провели специальное собрание.

И первым выпустили на легкую переносную трибуну не начальника смены, а именно Гришу Петелина.

Ого-го-го! Зал радовался.

Вот не раздавило Гришу вагонеткой, стоит на трибуне живой, веселый, всем доступный, хоть руку ему протягивай. Кстати, собрание это проводили как общее. Перед собравшимися появились в тот день деятели местного и городского комсомола, работники объединенного профкома, даже инструктор из крайкома партии. Все чувствовали, готовится что-то важное.

Гриша цвел, как приморский орех.

«Сами знаете, какой у нас год, — весело напомнил он, поднявшись на трибуну. И помолчал, делая вид, что сам вдруг забыл, какой у нас год. Но, конечно, не забыл, вспомнил. — Одна тысяча девятьсот шестьдесят восьмой! Вот какой год! Сами знаете, пятьдесят лет назад в октябре была у нас в стране создана молодежная организация РКСМ, то есть Российский коммунистический союз молодежи».

Спросил: «Есть в зале комсомольцы?»

Мог и не спрашивать, куда они денутся?

Мгновенно взметнулся над головами, как говорят, лес рук.

«Вот как хорошо, — обрадовался Гриша и спросил: — Как отметим это дело?»

Начальство в президиуме переглянулось, а в зале, особенно у бочки с песком, кое-кто понимающе хихикнул.

«Да ладно, — отмахнулся Гриша. — Сами знаете, о чем я».

Но на всякий случай уточнил: «Я о взятых нами обязательствах. О личных примерах. О трудовой инициативе. — Нисколько не жалел добрых слов. — Я ведь не в стороне от жизни. Я постоянно углубляю пропагандистский материал, собираю факты».

И опять сделал паузу.

Хотел сыграть, как настоящий артист.

Но немножко перестарался, немножко затянул паузу, и кто-то немный, невыдержанный, влез в разговор, выкрикнул с места: «А чего тут собирать? Какой еще материал нужен? Ты разуй глаза! Где премия за квартал? И расценки нужно пересмотреть! И сверхурочные — вовремя!»

«Слабо думаете, — возразил Гриша. — Копайте глубже!»

«Отпуска нужны в удобное время, — копнула глубже какая-то озабоченная (с животом) откатчица. — Ясли есть, а мест нет. Как это так? Нам, что ли, не рожать больше?»

Гриша отмахнулся. Дескать, с яслями денек-другой потерпим.

Но все же открылся. «Я тут прямо в ЦК комсомола обратился. Считаю, каждому следует дать медаль!»

Все пораженно замерли.

«Да, каждому!»

Добавил, чтобы не сомневались:

«Всем доблестным комсомольцам нашим».

Все равно не поняли: «А почему только им? А членам партии?»

Зал замер. В своей повести Ролик Суржиков красиво все это описал.

Ролик в своей повести сравнил вагонное депо с тесным ульем, в котором в один момент вдруг отбило всем пчелам всякое желание жужжать.



Вот гудели, шумели, всякими перебрасывались словечками, выкрикивали нелепые желания — и вдруг в один момент как рукой сняло. Начальство сидело как каменное. Пользуясь моментом, кто-то даже нырнул к двери из депо (некогда, мол, ему), но дверь оказалась запертой. Дежурные тоже не дураки. Мало ли что там Гришка несет, медали медалями, на всех не наберешься, зато всем сидеть на местах!

«Подожди, Гриша», — поднялся инструктор из крайкома.

Известный, спокойный, понимающий человек. Костюм темный, строгий. Лицо не улыбочивое. Зал опять зажужжал как ни в чем не бывало. Вот отправят дурака Гришу на кирпичный завод, пусть кривой ногой глину месит.

Но инструктор сказал: «Это все ничего».

И добавил уверенно: «Это увлекся наш Гриша».

Мягкое внятное слово *наш* вмиг сняло напряжение.

«Сами знаете, наш Гриша Петелин — энтузиаст. — Если бы инструктор назвал Гришу, ну скажем, пузаном или хромцом, или просто откровенным придурком, прозвучало бы, конечно, не мягче, но хорошее доброе слово *энтузиаст* тоже всех насторожило. — Наш Гриша Петелин личное письмо отправил в Москву в ЦК ВЛКСМ. Подчеркиваю, *личное*. Адресовал товарищу Павлову, секретарю, правда, в нашем комсомоле идет сейчас плановая ротация, так что ответили Грише уже из аппарата товарища Тяжелникова. Впрочем, разницы нет, аппарат у нас один, комсомол рабочего человека уважает, — снял инструктор последние непонятки. — Подтвердили, что — да, нынешний год для солнечного ленинского комсомола особый. Мы готовимся не просто к юбилею, а к золотому юбилею, по всей стране ширится социалистическое соревнование! Короче, Гриша, — опустил, наконец, инструктор словечко *наш*, этим как бы незримо отделив Гришу от коллектива, — в своем *личном* письме предложил для награждения отличников соцсоревнования создать, выковать, так сказать, особенную медаль и назвать ее “Ленинскому комсомолу пятьдесят лет”! Слово “пятьдесят” выделить цифрами, как в ведомости, а на колодочке оттиснуть слова “Отличнику соревнования”, чтобы понятно было, что не дураку вручается. Ответили Грише товарищи из аппарата нового секретаря. В том смысле ответили, что за полвека горячей творческой работы славный ленинский комсомол награжден уже пятью орденами, перебор в виде медалей тут ни к чему, комсомольцы народ скромный, в стране самой развитой демократии каждого награждать следует только за дело. К тому же к известной прекрасной дате уже официально утверждены памятные знаки “Молодому передовику производства” и “Золотой колос”. Вот они и будут вручаться комсомольцам-активистам промышленных предприятий, строек, колхозов, совхозов. Выпуск (с Гришиной подачи) какой-то особенной специальной медали, решили в аппарате товарища Тяжелникова, пока нецелесообразно, хотя с повестки дня не снимается».

Инструктор замолчал.

А зал тяжело примолк, призадумался.

Некоторые решили, что теперь-то, пожалуй, точно — привет, дописался Гришка Петелин. Нашел кого тревожить. У секретарей комсомола ротация, а он с медалями лезет. Секретари солнечного комсомола при своем большом деле, а он путается под ногами. Нет, не дело хромому лезть не в свой огород. Запомнил, что опытный секретарь может двинуть посильней вагонетки.

Но инструктор еще не закончил.

«Наш Гриша глубоко пашет, — добавил он к сказанному (на этот раз опять с определением *наш*). — Наш Гриша на верном пути, он мыслит верно. Не поддержали в ЦК вопрос с медалью, зато, — инструктор цепким взглядом обвел собравшихся, — поддержали идею письма в будущее. Так сказать, идею бомбы времени. Гриша и такую идею высказал. Вот давайте решать, что делать с этим письмом?»

«А кому письмо? Опять в ЦК?»

«Да нет, — облегченно выдохнул инструктор. — Новое Гришино письмо обращено не в ЦК, а напрямую к потомкам, к нашим прекрасным детям и внукам. Вот вырастут, вот оперятся наши парни и девушки, а тут и подойдет очередная счастливая дата — столетие Ленинского комсомола! Вот, пожалуйста, наш подарок — бомба времени! Так сказать, письмо потомкам из далекого прошлого, от уже ушедших героических предков, то есть от нас. Из двадцатого века в век двадцать первый. Принимайте, счастливые потомки, весточку от отцов-матерей, от комсомольцев шестидесятых».

И дал отмашку: «Читай вслух, Гриша!»

И Гриша Петелин хромым легким шагом опять поднялся на трибуну.

В руке лист плотной бумаги, на нем текст не написан от руки, не отстукан на пишмашинке, а крупно и четко напечатан прямо в городской газетной типографии, даже место для печати учли.

«Здравствуй, комсомолец далекого две тысячи восемнадцатого года! Здравствуйте, смелые удивительные умы! — Гриша взволнованно перевел сбившееся дыхание и так же взволнованно переступил с хромо́й ноги на здоровую. — Из толщ минувшего двадцатого века советский комсомол протягивает тебе свою крепкую руку. — Все ждали от Гриши определения *мозолистую*, но такого слова в Гришином послании не оказалось. — Как живешь, друг? Все так же любишь нашу советскую землю, нашу советскую трудовую колыбель, как любили мы? — Некоторые в зале тревожно переглядывались, дескать, чего это он завел о земле, да еще в прошлом времени? — Держишь ли ты в своей сильной мускулистой руке драгоценный камень с планеты Марс или с какой другой планеты? Какими великими свершениями прославил наш замечательный город? Поставил ли атомную станцию, как планировали наши романтики? Снес ли с лица земли последнюю церковку?»

В зале задвигались. Церковь — не яйцо, просто так ее не снесешь.

А вот драгоценный камень, смотри-ка, переглядывались, доставили все-таки с далекой планеты Марс или с какой другой планеты (интересно,



кто туда летал от нашего вагонного депо?), и даже на атомную станцию замахнулись.

«Дорогие комсомольцы нашего будущего, — рубил рукой воздух Гриша. — У нас с вами одна родословная. Штурм Зимнего, кронштадтский лед, Каховка, освобождение Крыма, Юденич и Колчак — в хвост и в гриву. Всех деникиных туда же. Сами знаете, атомные ледоколы, космические ракеты, поднятая целина, электрификация железных дорог! У нас с вами, дорогие наши комсомольцы будущего, с одна тысяча девятьсот семнадцатого года одна цель: утвердить добрыми делами самое справедливое, самое счастливое общество на земле. Свобода, равенство, братство! — Гриша, похоже, шел уже на автомате. — Мы придем к победе коммунизма! Мы к ней придем неизбежно, неминуемо. Комсомольцы нашего депо и вообще всего нашего участка желдорпутей всегда в первых рядах, лучшие награждены. Фамилии опускаю... Руками наших пламенных комсомольцев открыты новые участки дороги, особенно отличились... Фамилии опускаю... Вместе с этим письмом посылаем вам, дорогие наши потомки, бесценную реликвию — бронзовый макет электровоза серии ВЛ (“Владимир Ленин”), работающего на широкой советской колее. В этом году экипаж указанного электровоза награжден переходящим Красным знаменем. Фамилии опускаю... Сто сорок шесть лучших заработали почетное звание “Ударник коммунистического труда”. Фамилии опускаю... Так что от всей души завещаем вам, дорогие комсомольцы две тысячи восемнадцатого года, осуществить то, чего не успели мы. Мост с материка на Сахалин... Окончательное благоустройство края... Возведение новых прекрасных цветущих городов... Атомные станции... Уверенной посадки на других планетах... Удач в труде, хорошего здоровья, мирного неба над головой...»

В зале установилась тревожная тишина.

Потом кто-то не выдержал: «Смотри-ка, всех опустил!»

И закричали, заволновались, затопали. «Зачем опустил фамилии?»

«Как это зачем? — не сходя с трибуны, переступил Гриша с хромой ноги на здоровую. — Сами знаете, в таком важном деле лопухнуться нельзя. Совсем в другой век пишем. В двадцать первый. Там недовольных уже не будет. А мы — их предки! Разве шутки чувствовать такое? Необходима некоторая осторожность, верно? Я вам конкретные фамилии назову, а кто-нибудь из названных на радостях надерется, как баклан, и все испортит. Так что давайте пока без фамилий. Дети вырастут, разберутся».

Некоторые засомневались: «Не примет почта такое письмо».

«А мы его заложим в бетонный фундамент нового электровозного депо!»

«Ну, если так, — потихоньку успокаивались сомневающиеся. — Только ведь и другие вопросы есть. Ты, Гриша, атомную станцию упомянул, а потянем ли мы такое дело? Ленке Лунёву простую вагонетку доверили, а он тебе ногу отдал. А тут атомная станция. Тут одной только твоей ногой не отделаешься. Сам знаешь, Ванька Пахомов недавно в



самом начале рабочего дня напрочь запорол новый насос, забил его илом и лягушками. Тут ответственность нужна».

Даже язвительный (пьющий) грузчик Орлов проснулся.

«Уволить Петелина! — заорал, с ходу не разобравшись. — Уволить Гришку к чертям собачьим, гнать из депо, как собаку, чтобы не создавал проблем! Это что же получается? — изо всех сил возмущался он, отравляя соседей перегаром, выхлопами, так сказать. — Скажем, я или другие, мы все дружно улетим на Марс, там погрузочных работ никто пока что не отменял, а суточных, как всегда, кот наплакал, а Гришка Петелин, хромо́й ловкач, на Земле, значит, один останется с нашими бабами?»

И злобно потребовал: «Выкладывай фамилии!»

Короче, повесть Суржикова всех увлекла. Даже о Кочергине забыли.

Начал обсуждение московский гость. Удовольствия скрывать не стал. «Молодец, Суржиков». Хунхузу на вопрос, куда все-таки отправили письмо Гриши Петелина, ответил коротко: «В будущее».

И продолжил: «Приветствую талантливую рукопись!»

Волновался, как охотник, который у Пшонкина-Родина завалил большого лося.

И указывал, указывал, указывал нам, чтобы не сомневались: «Вот как следует подходить к дельному литературному материалу. Не в лоб с размаху, а с мягкой человеческой хитрецей, с загадкой. Бомба ведь не фугасная. Бомба — времени. Очень правильный ход. Каждый читатель Суржикова с нетерпением будет ждать столетнего юбилея комсомола».

Ролик торжествовал. Он влюбленно смотрел на Чехова.

А Андрей Платонович такую вывел мораль.

«Союз советских писателей главной своей целью ставит создание произведений самого высокого художественного значения, при этом глубоко насыщенных героической борьбой международного пролетариата, пафосом победы социализма, отражающих великую мудрость и героизм коммунистической партии, так что... — Благосклонно покивал. — Всячески поддерживаю!»

Писатели и семинаристы удовлетворенно похлопали.

Конечно, некоторые (я, к примеру) ждали, как Дед отзовется на повесть Ролика, но Дед, прочно утвердив тяжелые руки на резном набалдашнике своей палки, думал о чем-то своем.

Зато выступил Пудель.

«Дельная работа!» — так оценил.

Не скрывал удовлетворения, но и некоторую озабоченность выказывал.

«Конечно, правка еще нужна, но это дело второе, даже третье. — Кажется, Дмитрий Николаевич неплохо разбирался в тонкостях литературы. — Даже великий поэт Пушкин правил свои рукописи. Другому бы дать по рукам, не правь, не правь классику, но речь ведь о классике. — Этими своими словами Дмитрий Николаевич как бы окончательно решил судьбу рукописи. — Скажу вам как самый обыкновенный читатель. Увлекательно написана “Бомба времени”! Мирная, заметьте, бомба.



Молодой писатель Суржиков мирным будущим интересуется. Тут правильно отметил Андрей Платонович, — кивнул Пудель улыбающемуся Чехову. — От молодых писателей мы ждем произведений только высокого художественного уровня. С надеждой ждем, с увлечением. Эх, увидеть бы сбывшиеся мечты! Сам я, конечно, до две тысячи восемнадцатого года не дотяну, куда мне, здоровье подточено партийной работой, — он как бы виновато развел крепкими сильными руками. — Но вы доживете».

И Князцев все эти слова поддержал.

«Правильно говорил тут Дмитрий Николаевич! И Андрей Платонович правильно говорил. Конечно, все ждут от нас произведений только высокого художественного уровня».

В общем, полет шмеля, а не обсуждение.

Так еще поговорили и перешли к стихам Волковой.

И опять о чем-то тихонько шептались наши руководители.

Хунхуз даже спускался вниз (в редакцию журнала) к телефону.

Вернулся мрачнее, чем был до своей прогулки, на читавшую стихи Волкову посмотрел, как на браконьера. Что-то опять шепнул Пуделю, тот перекинулся парой коротких словечек с Чеховым. На трибуне в это время хрипел Хахлов (под сорок, Благовещенск). Дескать, нежный запах палых листьев. Хра фра бра. Леса, окрашенные первым холодом. Бра хра фра. Лисы, бурундуки, твари лесные. И все такое прочее. Короче, пишут все, а умных мало. Вон Петр Степанович, покосился на бюст сталинского лауреата, про линялых лис писать бы не стал.

Волкова только железными зубами щелкала.

Зато Ольга Юрьевна (все еще, видимо, находясь под впечатлением от «Бомбы времени») заговорила о гражданственном лиризме. Оказывается, есть такой. Именно он, гражданский лиризм, нам нужен.

«В такое время...»

Мы дружно оглянулись.

В дверях стоял потерявшийся Кочергин.

Рукав его пиджака (и до того мятый) был теперь еще испачкан чем-то белым, известкой наверное. Ботинки без шнурков. Морда небритая и сердитая. Перегар, табачная отрыжка. «В такое время...»

Вот те и на!

Ольга Юрьевна изумленно посмотрела на Пуделя.

А Дмитрий Николаевич недоуменно вскинул брови и посмотрел на Хунхуза.

Ну а тот уставился на Чехова.

Известная картина — «Не ждали».

Только на картине Ильи Ефимовича Репина зрителям являлся некий мужик в длинном пальто и в сапогах, коротко стриженный, с фуражкой в левой руке, а на Кочергине был (все отметили) испачканный известкой пиджак и башмаки без шнурков, будто он, правда, сбежал из вытрезвителя.

«В такое время...»

Зациклило человека.



На пальце Ольги Юрьевны раздраженно вспыхивал камешек.

Я вспомнил подсказку Ролика и улыбнулся. А Ольга Юрьевна приняла это за поддержку. «Волкова у нас умеет видеть лес, траву, реку, — будто не останавливалась, продолжила она свое выступление. — Облака у Волковой как живые, того гляди дождь хлынет. — Взгляд Ольги Юрьевны случайно упал на бледную Нину Рожкову, и она спохватилась. — Нет-нет, никаких сегодня дождей! Сегодня нам нужна только солнечная погода. Пусть с ветром, — она вдруг запуталась в словах, — но солнечная, сухая. “У ветвистого дерева нет безветренных дней”. Это хорошо сказано».

И добавила: «Правда, не хватает все-таки...»

Все сразу поняли: человека. И угадали. Только Суржиков (на волне своего успеха) возразил: «Человек на природе — это уже не природа».

«А что?» — удивилась Волкова.

«Это уже человек в природе».

А Ольга Юрьевна опять взмахнула рукой (камень вспыхнул).

«Может, и так, только куда нам деваться от непреременных ассоциаций?»

Зябка накинула на плечи тонкий цветной платок. На Кочергина больше не смотрела. Никто на Кочергина больше не смотрел. Надрался, ну и помалкивай, любимый ученик Твардовского.

«Впрямую можно и не говорить о герое, но свое отношение к нему автор непременно должен высказать. Когда Михаил Юрьевич писал о дубовом листке, — вспомнила Ольга Юрьевна о Лермонтове, как о близком человеке. — Когда Михаил Юрьевич писал о листке, оторвавшемся от ветки родимой, я совершенно уверена, он ни на минуту, ни на секунду не забывал о том, что однажды у корней этого чудесного дуба может прикорнуть усталый странник».

В целом стихи Волковой приняли благосклонно.

«У ветвистого дерева нет безветренных дней». Ну и ладно.

Леня Виноградский тут же ответил пародией. Дружеской, конечно.

«В строках и между бродят злые ветры и цвета кумача горят костры, рябин в стихах полсотни кубометров, и ягод, кстати, тонны полторы...»

Это окончательно привело всех в доброе, хорошее настроение.

Вдруг установилось в зале единство. Вон даже Кочергин пришел. Дышит смутно, микробыдохнут, но ведь пришел. Старые писатели и молодые, неважно, все теперь как один — талантливые, умные, заняты общим делом. Суржиков совсем уже по-дружески шепнул мне: «Вот бы сейчас двинуть твою “Педагогику”». Чувствовал момент, от всей души болел за меня. Но обсуждение «Гуманной педагогики» планировалось на день завтрашний.

Повезло Козлову, его счастливым рассказам.

Тихий яблоневый сад. Белый дым над трубой — торчком. Толстый и сытый кот жметя к побеленному боку русской печки. За окнами — тишина, летнее солнце, лес, светлое озеро с толстой, набирающей силу рыбой.



Что еще нужно счастливому человеку?

Пудель опять выделился.

«Не буду скрывать, — так сказал. — “Счастливые рассказы” Козлова — правда счастливые рассказы. Вот американский бомбардировщик, сами знаете, недавно потерял в Гренландии атомную бомбу, весь мир живет в тревожном ожидании. А счастливый герой Козлова, этот наш добрый, все понимающий современник, наш сосед по городу, по улице, по дому, думает о том, как еще и еще благоустроить мир...»

Понятно, Дмитрий Николаевич одобрял героя.

Да и как? Не пьет, не курит (короткий взгляд на Кочергина), не хулиганит, не сквернословит. Награду за спасение красивой тонущей женщины (в счастливом рассказе «На Амуре») не побежал получать, отказался от интервью с заезжим столичным корреспондентом, предпочел остаться неизвестным. И это правильно, так же уверенно поддержала инструктора крайкома Ольга Юрьевна, и камень на ее пальце счастливо вспыхнул. Скромность к лицу герою. Пусть награда хранится не в ящике домашнего комода, а в стальном сейфе государственного наградного отдела.

Хорошо сказала.

Но я встревожился.

Как же она после таких слов будет читать «Гуманную педагогику»?

Про Зою, Кружевную Душу, про Елену — девочку-тортик, жалующуюся на отсутствие трусиков, про дылду Дидону и про все такое прочее. Похоже, завтра мне все шишки достанутся. Это Суржикову, кажется, жизнь удалась. Да и Козлову удастся, рекомендовали его рассказы в местный журнал.

«Конечно, — вдумчиво заметил Чехов, однофамилец знаменитого русского классика, — в коммунистическом Вьетнаме все еще длится война, творятся бомбежки, массовые убийства, империализм не дремлет, ему крови и крови хочется, убит в Америке вождь... простите... лидер чернокожих... Я не призываю Козлова напоминать нам о несовершенстве нашего мира, но Ольга Юрьева правильно заметила: все в художественном произведении должно наводить нас на мысли о человеке...»

«Да, — кивал Козлов. — Да!» И быстро-быстро что-то записывал.

Только Хахлов (тридцать девять, Благовещенск) дал слабину.

«Бра дра фра. И там у них хорошо, и тут у них хорошо. Прямо хочется босиком выскочить на балкон и заорать: а у меня-то как хорошо!»

Но не разулся, не выскочил.

Так что следующую жертву наших литературных разборок, Колю Ниточкина, все приняли в высшей степени благодушно. Давай, вчерашний школяр! Громи несовершенство нашего мира.

Но Коля Ниточкин начал с вопросов.

«Вот вы научную фантастику не любите, да? — Это он сказал несколько удивившемуся Андрею Платоновичу. — Я специально у настоящего Чехова, — (Андрей Платонович напрягся), — все собрание сочинений прошерстил, он тоже, оказывается, не любил научную фантастику. А за что ее не любят?»

К счастью, ответов на свои вопросы Ниточкин не ждал.



«Вот ты, — с явным сочувствием посмотрел на опухшего за ночь Кочергина, — представь такое. Ты проснулся, все болит, а в густых ветвях над тобой поют счастливые тучные птички, как бы даже в пернатых шлемах. В траве разные животные пасутся. — При этих словах Кочергин обеспокоенно открыл глаза. — Или рыбу возьми. Толстую, сытую, как в рассказах Козлова. Зачем рыба? Почему в воде? И вообще. Вы заметили, что у Суржикова в “Бомбе времени” совсем нет пейзажей?»

Дед, слушая Колю Ниточкина, улыбнулся. Может, вспомнил красного графа Алексея Николаевича Толстого, когда-то утверждавшего (на обсуждении горьковского плана «Истории фабрик и заводов»), что главное в истории советских фабрик и заводов — это пейзаж.

Впрочем, рассказ Ниточкина назывался «Первое слово».

Оказывается, Ниточкин докопался до самого первого человеческого слова.

Не до того пресловутого, библейского, захватанного разными нечестными и нечестными поповскими руками, а действительно до того настоящего первого, которое еще на заре времен научились произносить древние люди, даже еще и не знавшие, что они — люди.

«Ну, какое слово?» — допытывался Коля.

«Думаете, мама? А вот и нет!»

И сам ответил: «Мамонт!»

Придурками нас, конечно, не назвал, но что-то такое подразумевалось.

«Ну правда! Вы сами подумайте. “В начале было Слово! В начале было Слово!” Да сколько можно повторять одно и то же. Вы нам не намеки давайте, а само слово! Ну вот. Не можете? Тогда слушайте. Я совершенно уверен, что в глубине веков, в самом начале времени были не слова, а всего лишь первичное кодирование информации! — совсем зарвался Ниточкин. — Только потом, позже, предметы и явления начали получать имена. Вода стала водой, ноги — ногами, зуб — зубом, и все такое прочее. До этого люди просто клацали зубами. Клацали, конечно, но чем таким клацают — не знали. Накапливающаяся информация передавалась от отцов к сыновьям, от матерей к дочкам, — Коля так и сказал: к дочкам, — из одной эпохи в другую, в третью. В конце концов дошла вся эта первичная информация до одного умного ленинградского профессора Алексея Петровича Быстрова, палеонтолога и сравнительного анатома. А он, в отличие от других ленинградских ученых, сразу понял ее правильно. И немедленно прошерстил все имевшиеся в библиотеках города словари. И без всякого удивления, поскольку уже догадывался, в самых разных человеческих языках обнаружил одно-единственное, хорошо сохранившееся, общее для всех народов слово. Мамонт! Дошло? — посмотрел он на опешившего Хунхуза. — Слово мамонт даже пишется в разных языках почти одинаково. Можете проверить. Так что ленинградский профессор Быстров, и я это подтверждаю, убедил весь думающий мир, что в начале действительно было слово, и это слово было — мамонт».

Нина Рожкова заплакала.

Дед с интересом наблюдал за Колей.



Санкт-Петербург... Петроград... Ленинград...

Какая информация так странно дошла до этого юноши?

Вороной рысак в санках огибает главного шталмейстера, карета с красными ливреями и белыми чулками на запятках. Дама, стремительная и подобранная, офицер с саблей и папиросой, трусящий извозчик, тяжелый непреклонный дворник в тяжелом тулупе и с тяжелой метлой в руках, еще более тяжелый городской на перекрестке, мастеровой с Лиговки, студент, это непременно. Юная курсистка со связкой книг, тучный протоиерей в еноте, проститутка в рыжей горжеточке, генерал, скребущий снег кожаными калошами, купчик на лихой...

Куда все ушло?

Куда все это пропало?

«Вы только представьте, — радовался нашему вниманию Коля Ниточкин. — Волосатый мускулистый охотник каменного века припер мясо в пещеру. Много мяса. Ну, как у Пшонкина-Родина. Все племя сбегалось, все радуются, спрашивают. Это охотник чомон-гула завалил? Это большого страстного чомон-гула завалил наш охотник? Или чье это такое вкусное мясо, почему оно с хоботом? Вот добытчик и отвечает. Это не чомон-гул, придурки! Это мамонт! Дошло?»

Дед добавил (про себя): вашу мать!

«Конечно, мамонты с тех пор давно вымерли. — (Коля тогда еще не знал, что последних мохнатых в девятнадцатом году съели красные партизаны.) — Птицы расклевали навоз, выветрились следы. — Коля растерянно развел руками, как совсем недавно разводил руками Дмитрий Николаевич, партийный товарищ Пудель. — К сожалению, это все, что мировая археология может постигнуть».

«Не мало ли?» — удивился Дед.

И вспомнил музей в Благовещенске.

Две старухи у входа, вонь, пыль, твою мать, темные, с каменного века немывтые окна, серые пятнистые черепа, желтые кости, клыки мамонтов и людей, дохлятина в стеклянных банках, портреты страшных обезьян — наших предков, фигуры каторжников (тоже наши предки), нестиранные халаты с тузами, крошащиеся куски каменного угля с отпечатками доисторических корней, веток, листьев, пыльные цепи, конец старому, начало новому. Да откуда же, твою мать, в этом сраме и пыли, в этой неразберихе и ничтожестве, твою мать, по чьей такой чудесной милости и доброте, во всей этой неразберихе (большой вам привет, Ольга Борисовна Лепешинская) мог явиться в наш сумеречный мир светлый и радостный Коля Ниточкин?

А слово...

Ну что слово...

«Всё же вы зря сослались только на Чайлда».

«И это все, что мировая археология надеется постигнуть».

«Да ну. Что за пессимизм? Это британский археолог так сказал, юноша. А вы вспомните утверждения наших советских археологов. Вспомните наши музеи! Даже у вас в Благовещенске есть музей, пусть запущенный, но богатый. А вот умных интересных писателей, чтобы они



вовремя осмысливали огромные накопленные нами богатства, таких писателей еще недостаточно, — откровенно польстил Дед Коле Ниточкину. — А это жаль. Люди чем выделяются из грубого животного мира? Правильно. Хоронят своих покойников, калечат друг друга, испытывают нелепые желания, какие не приходят в голову другим живым существам. — (Опять, наверное, вспомнил Ольгу Борисовну Лепешинскую, ее слова о кукушках, самозарождающихся в чужих яйцах под воздействием далекого лесного кукования.) — Так что будьте смелей, юноша. Вспоминайте не только Чайлда, вспоминайте, к примеру, нашего академика Алексеева. Это он, Валерий Павлович, выделил новый вид питекантропа — питекантроп рудольфенсис. Это он, изучая окаменевшие останки ребенка из азиатского Тешик-Таша, понял, что видит девочку, а не мальчика, как до него всеми принималось. Не так просто по голым костям такое определить. Да, конечно, работами Геккеля, Дарта, Брума, Дюбуа может гордиться любая страна, но почему бы не напомнить читателям о работах наших ученых? О работах Бонч-Осмоловского, Герасимова и Гремяцкого, Нестурха и Рогинского, Бибикова и Окладникова?»

Писатели и мы, семинаристы, восторженно внимали Деду.

Только Хахлов опять не выдержал. Хра бра дра. Ухмыльнулся страшно.

Дескать, знаем мы это ваше первое слово! Питекантропы рудольфенсисы! Хватит болтать! Не было на свете никакого первого слова! Может, дикие люди болтать начали сразу с сотого или триста второго слова.

Даже я влез в такое живое обсуждение.

«Недавно, — влез, — на Курилах американцы нарушили наше воздушное пространство. Конечно, нарушителя перехватили и вынудили сесть в Буревестнике на острове Итуруп. Я там бывал. Там взлетная полоса километра два, не больше, боялись, не хватит места уроду, это же огромный ДС-8, и весь набит американскими солдатами. Но посадили, трактор поставили на полосе, чтобы никто не сбежал. Разговаривали с задержанными с помощью местной учительницы английского языка. Вот попробуйте угадать, какое первое слово произнес американский пилот?»

«Мамонт!» — дружно выдохнули семинаристы.

«Да ну! — засмеялся я. — Выругался янки. Понимал, что к чему. Продержали американцев в самолете почти двое суток, а потом с позором выгнали с острова, дескать, лезете, нарушаете, а нам вас еще кормить. Сваливайте, пока мы добрые. Во Вьетнаме вас ждут. Вы называете вьетнамцев гуками, вот они, эти маленькие гуки, и надерут вам задницу».

Гуки — это грязь. Опять привет Ольге Борисовне.

Ну а с рассказа Коли Ниточкина плавно перешли на стихи Нины Рожковой.

Бледная, разволнованная, как неглубокое море, в цыганском цветистом платье, Нина то нашептывала, то выкрикивала свои стихи.

«Коровьи нимбы на лугу сияли в изумрудах слепней...»

Стихи Нины Рожковой нас просто очаровали. Другого слова не найду.

«И проступали здесь года, как перстни зэков на фалангах...»



«Мангэ-э...» — Ольга Юрьевна страшно удивилась столь необычным стихам, но все же пора, пора, наверно, и сэмул-мэмул, то есть окутываться дымом.

И из чудесного сообщества людей вот только что во всем понимавших, чувствовавших, принимавших друг друга мы снова превратились в обыкновенную трибу обыкновенных дикарей, навязывающих друг другу свои самые что ни на есть противоречивые мнения.

«Как перстни ээков на фалангах...»

Суржиков опять шепнул: «Сейчас бы твою “Педагогику”!»

И поклялся (европейская штучка), что сегодня пить совсем не будет (даже посмотрел в сторону спящего сидя Кочергина), зато завтра явится на обсуждение моей вещи совершенно трезвым, совершенно выпавшимся и всех будет подталкивать к торжеству признания моего прекрасного гуманного стиля.

Узкие губы Ролика недобро дрогнули.

А я смотрел на Деда.

Я не спускал глаз с Деда.

Крупный, избыточный, но вовсе не тучный.

Почему Дед сидел тут рядом с Андреем Платоновичем, такой на него непохожий, рядом с неулыбчивым, тоже непохожим на него Хунхузом, почему терпеливо выслушивал милые восклицания Ольги Юрьевны, ее удэгейские словечки? Ну Пудель — ладно, Пудель на службе. А что видел Дед, прикрывая глаза, зажимая тяжелую палку коленями? Осенний лес, где два чеха (союзники) деловито убивали из револьверов девушку-машинистку? «На лугах, лугах зеленых». Один убивал как бы по делу: не дала, сука. А второй-то чего? И второму не дала?

Что Дед тут делает?

Ну вернулся. Ну в родной язык.

Ну стукнуло пятьдесят лет ленинскому комсомолу, вот вам и бомба времени, слезы Нины Рожковой. «И проступали здесь года, как перстни ээков на фалангах». Это-то как раз можно понять. Не какая-то пампушная девка. Но чем суетливый Ниточкин его восхитил? Почему по поводу «Бомбы времени» Дед почти ничего не сказал? Что ему наш солнечный ленинский комсомол? После двадцатого съезда КПСС судьбы создателей и руководителей нашего солнечного комсомола перестали быть таким уж большим секретом.

Конечно, Дед выбирал, придерживался.

Он выбирал путь, придерживался курса, потому и вернулся в Северную страну. Достаточно было у него долгих бесед и с идеологическим работником Дмитрием Николаевичем Пуделем, и с опытным полковником госбезопасности Анатолием Андреевичем Баряновым. Они-то многое знали о судьбах советских пламенных комсомольцев.

О Ефиме Цетлине, к примеру.

«Мой миленок-мармуленок, он, наверно, селькор. Тремя буквами, мерзавец, исписал мне весь забор».

Не селькором был Ефим Цетлин, а создателем ленинского солнечного комсомола. Не пролетарские танцульки под музыку устраивал, а с во-



семнадцатого года по девятнадцатый впрямую руководил нашими комсомольцами, правда, несколько позже, в тридцать седьмом, был расстрелян.

Многие созрели к тридцать седьмому.

С девятнадцатого по двадцать первый годы вдохновлял пламенных советских комсомольцев Оскар Рывкин, бывший аптекарский ученик, парень в простой фуражке, низко надвинутой на лоб, его тоже расстреляли в тридцать седьмом. Расстреляли Лазаря Шацкина, руководившего комсомолом с двадцать первого по двадцать второй; по многу лет руководить советской молодежью как-то никому не удавалось. С двадцать второго по двадцать четвертый — Петр Смородин (расстрелян в тридцать девятом). С двадцать четвертого по двадцать восьмой — Николай Чаплин (расстрелян в тридцать восьмом). С двадцать восьмого по двадцать девятый — Александр Мильчаков. Ну, этому повезло: попал в лагерь, выжил. Александр Косарев сумел отстоять у руля с двадцать девятого по тридцать восьмой годы, в тридцать девятом все равно расстрелян.

Или это просто были плановые ротации?

Ладно, сказал я себе. Главное сейчас (для меня) издать книгу.

Не смотри на Кочергина, сказал я себе. Завтра Игорю вложат по первое число, хотя бы за его пьянки. Это закон, пить надо меньше. Пример надо брать с Ха Ё-пиня, вон как шустро этот наш Козлов записывает каждое слово солнечных руководителей. Пример надо брать с Пшонкина-Родина. Даже с Нины Рожковой. «Так весь день она рыдала, божий промысел кляла, руки белые ломала, черны волосы рвала».

Дра бра фра. Пусть поплачет. Быстрее замуж выйдет.

Писатели тоже наконец расслабились.

«Ну этот парикмахер... в Доме литераторов...» — долетало до меня.

Это Чехов Андрей Платонович, расслабившись, вспоминал какого-то парикмахера, обслуживавшего писателей в Москве — в Центральном доме литераторов. Густым (видимо, подражая) парикмахерским голосом тянул: «Это жалко, что у нас женщины не броеются». А Дед подыгрывал: «Как же не броеются?» Даже стучал палкой в пол: «А Юля Пастрана?»

Парикмахер (Чехов): «Кто такая?»

Дед: «Известно. Бородатая женщина».

Парикмахер: «Вот бы пришла».

Дед: «Больше не придет».

Парикмахер: «Не умерла часом?»

Дед: «Давно. А муж набальзамировал ее бородатое тело и возил по разным городам».

Парикмахер: «Вот настоящая любовь была!»

Дед: «Он за деньги ее показывал».

Парикмахер: «Ну не бесплатно же...»

Посмеялись.

Кто-то отправился курить.

А за окнами — облака, облака. Тонкие, невесомые, как над далекой таежной займой. Как над нашим далеким сибирским городком. Там, в нашем городке, сейчас маленькая Астерия — дочь титанов, и Бриседи-



да — неторопливая. Там Венилия — морская царица, и Галантила — служанка Алкмены, змея очковая. И дылда Дидона, и Елена — тортик-девочка, и Зоя, Кружевная Душа. Там, на заимке, сейчас Ио — рябая печальница, и Радаманта, вяжущая теплые свитерки.

Там, наконец, рыжая Лисидика.

Там Соня. Рыжая.

Толкуются в своем доме веселые фирстовские девки, как облачко божественной мошкары. «Сколько в мире брэнной твари, Богом замкнутых миров». Смеются, болтают, даже ссорятся. Не знают, что я (пусть пока только на бумаге) подарил им вторую жизнь.

Выйдет книга, узнают.

А Дед? Кому Дед даст вторую жизнь?

«В такое время... Цензура... Везде она...»

Какая цензура? При чем тут какая-то цензура?

Оказывается, я пропустил начало спора. Все забыли про Кочергина, а он вдруг снова проснулся и бубнил мрачно, дыша «Памиром» и перергаром от одноименного отечественного портвешка.

«Всех запрещали... Даже Маркса...»

Кто дурака тянет за язык? Это в советской-то стране?

Совсем опупел Кочергин. «Я называю кошку кошкой». Тоже мне — Буало!

У Твардовского учится, в Москве книжку издал. Ролик, пожалуй, прав: нельзя давать Кочергину в долг. Ни копейки. На пользу не пойдет, да и поэзия — не водопой, не ссудная касса.

«В такие дни...»

Не предавайся греху.

Зачем умирать не в свое время?

«Запрещали... Я сам читал... В вестнике историческом...»

«Успокойтесь, Кочергин», — вмешался Андрей Платонович.

Чувствовалось, что он утвердился на семинаре. Все было в его руках.

«Не Маркса запрещали, Кочергин. Это вы неверно выразились. Запрещали брошюру Маркса. Было такое. Но и брошюру запрещали только за то, что предисловие к ней написал небезызвестный Троцкий. Помните такое имя? В первые годы советской власти неразбериха была большая. Тогда могли запретить книжки комсомольского поэта Безыменского. И книжки комсомольца Иосифа Уткина запрещали. “Мальчишку шлепнули в Иркутске”. Помните? — На Игоря Чехов не смотрел, но обращался к нему. — Вы учтите, Кочергин, что даже эти книжки, пусть иногда и легковесные, запрещали все же не за сами стихи, а за предисловия к ним, написанные всякими оппозиционерами, оппортунистами, двуличными критиками. Учитесь правильно понимать каждый текущий исторический момент. А то заладили: “В такое время...” Да, мы не скрываем, суровые случались времена... Революция... Утверждение... Новой литературы еще нет, старая не совсем отвергнута. Отсюда просчеты, недопонимание. Гумилев — контрик, Артем Веселый — однокбок, Каверин — литературный гомункулус, крестьянский поэт Клычков — вообще бард кулацкой деревни. Вы про таких, наверное, и не слышали. Даже писатель Андрей



Платонов, читали? — Чехов наконец посмотрел на Кочергина. — Даже писатель Платонов, сам не раз битый, грубо одергивал других писателей. Почему это там капитан Грей, вопрошал, возит у Александра Грина под алыми (хорошо хоть, не под белыми) парусами не чугунные чушки и не цемент для победившего пролетариата, а всякий кофе-какао, всякую буржуазную ваниль? Были и такие, Кочергин, что требовали “Слово о полку Игореве” переименовать в “Слово о подразделении Игореве”, потому что, видите ли, в советской стране нет чинов».

«Это что же получается, — прорвался в рассуждения московского гостя неутомимый Коля Ниточкин. — Это что же получается? Вот, скажем, Игорь Кочергин напечатает новую талантливую книгу, а какой-нибудь придурок к ней дурацкое предисловие напишет — и все? запретят книжку?»

Чехов ответить не успел.

Поднялся Дмитрий Николаевич.

«Ваш вопрос, Ниточкин, не к месту. А вы, Кочергин, отчислены с семинара».

Все разом замолчали. Только Ролик попытался вмешаться: «Кто дал денег Кочергину?» И откликнулся на его слова Леша Невьянов. «Это не я. Я всю получку потерял, сами знаете».

«Подождите с деньгами, — остановил Суржикова Пудель. — Нам очень неприятно об этом говорить, но на семинаре чепэ. То есть, — уточнил он, — у нас с вами чрезвычайное происшествие».

И спросил Кочергина:

«Вы где провели ночь?»

«Пасся в лилиях».

«Не паясничайте».

Покачал головой осуждающе:

«В общем, вы, Кочергин, свободны».

«Как свободны? — не поняла Волкова. — Ну выпил человек...»

«Не выпил, — холодно произнес Дмитрий Николаевич. — Выпить — это дело бытовое, известное. Если без драк и хулиганства, даже простибельное. Но Кочергин не просто выпил, он напился так, что с городского телеграфа во все стороны, пока денег хватало, рассылал осуждающие телеграммы. Самым разным представителям литературного мира, даже не прогрессивным. — Посмотрел на нас. — Протестовал, видите ли, Кочергин против ввода в дружественную нам Прагу советских танков. Не по душе Кочергину пришлось действия варшавского блока. Пусть лучше стреляют в наших солдат из окон».

«Так вывели же наши танки!»

Ролик злобно уставился на Кочергина.

Бра дра бра. Это уже ввязался в беседу Хахлов.

«Это что же такое? Он что, даже не знал, что танки еще вчера вывели? — не поверила Волкова. — Да ну. Ты радио не слушаешь, Игорь? Какие телеграммы? Танки-то еще вчера вывели!»

Лицо Кочергина налилось нездоровой кровью.

Да он весь пылал. Похоже, он сильно облажался.

Даже Дед усмехнулся. Твою мать. Хорунжий Северцев в Харбине часто попадал в такие истории. Бил посуду, потом оказывалось — не ту. Твою мать. Танки вывели, а Кочергин не знал, видите ли, пасся в лилиях. Потому телеграфистки и не сдали его «куда надо». Пусть вкладывает деньги в почту, а не в алкоголь.

Игорь, тяжело дыша, поднялся.

Не глядя ни на кого, хлопнул дверью.

Дра бра фра. Хахлов (Благовещенск) тоже ничего не понимал. И Коля Ниточкин ничего не понимал. И Рожкова с Волковой не понимали. Как это так? Танки вывели, а человек беснуется. Это все алкоголь, распущенность. Даже бюст сталинского лауреата ничего не понимал. Лажанулся Кочергин крепко.

Все смотрели на Дмитрия Николаевича.

«За что же отчислять Кочергина?»

«За дело», — ответил Пудель.

«Он хорошие стихи пишет».

«Вот и дал бы телеграмму Твардовскому», — не удержался счастливчик Козлов (Ха Ё-пинь), он, конечно, ревновал Кочергина к поэзии и к известности, а Нина Рожкова, наоборот, жалостливо заплакала. Жалела Кочергина.

«Ну почему вы такие злые?»

Чехов негодуяюще поднял над собой палец.

«Объясняю. Тем, кто еще ничего не понял. Мы потому и проводим семинары с молодыми литераторами, что понимаем: слово — это грозное оружие. Где-то недоглядишь, вся страна рухнет. А мы — мирная страна, мы пользуемся только “бомбами времени”. — (“И танками”, — негромко шепнул поэт Леванович, но его не услышали.) — Мы посылали и впредь будем посылать в будущее только такие, как у Суржикова, мирные бомбы. Это наш стиль, это наше понимание истории. Так что думайте, не гоняйтесь за красивыми жестами. Телеграммы — это вовсе не литература. “У ветвистого дерева нет безветренных дней”, — вдруг посмотрел он на Люду Волкову. — Ну и ладно, пусть так. Все-таки Козлов жизнь лучше всех понимает, — дружески улыбнулся он Ха Ё-пиню. — Люди нуждаются в счастливых рассказах. Хватит драм, сколько можно? А хочется страдать — читайте Шекспира. Люди много работают. У людей нервы истощены. — Чехов так и сказал: нервы истощены. — Конечно, мы за свободу слова и печати, но мы против пустой демагогии. Сами знаете, там, — решительно указал он куда-то за снежный Хехцир в сторону Китая, — лозунги выдают заманчивые. “Пусть расцветают сто цветов, пусть соревнуются сто учений”. А на деле? На деле у них идет выкашивание всех цветов, вот что получается на самом деле. Никакого соревнования, один сплошной обман! И на Западе одна сплошная демагогия. А вы — советские писатели, — посмотрел он на нас так, будто мы, правда, были уже советскими писателями. — Рожкова, перестаньте рыдать! На что вам чувства, если не чувствуете яда? Мы за контроль. Мы за жесткий качественный контроль. Искусство должно принадлежать народу, это так. Но не всему же сразу! — он широко развел сильные руки. — Не каждый

читатель правильно понимает печатное слово. Так что повторяю, друзья. Телеграмма — это не жанр».

О чем думал Дед, слушая московского гостя?

Понятно, от новых писателей ждут нового искусства.

Очень ждали в тридцатые годы этого нового молодого писателя — дерзкого, с серпом и молотом в мускулистых руках, с зовущей песней о встречном, а под красным знаменем, как ни странно, теснились всё больше художочные, прокуренные, перхающие, нормально не переварившие ни Маркса, ни Бебеля, мучающиеся отрыжкой символизма и всего такого прочего. То же и сейчас. Какой-то чех в пражском метро отгалкивает от дверей советского солдата: а ты, дескать, на танке езжай! И Кочергин, твою мать, шлет телеграмму в защиту этого нашего союзника чеха.

«Я называю кошку кошкой».

В свое время опытный полковник МГБ Анатолий Барянов весело говорил Деду: не выгорело это ваше белое дело. Весело указывал: унесли вы свое горе в Китай, вот там его и оставьте, не тащите обратно. В нашей стране мы всех подвергнем жгучей прожарке. Душу каждого заблуждавшегося лизнет очистительный огонь. Помните, весело спрашивал Барянов, чем закончил ваш уверенный полковник Карпенко? Службой в красном Владивостокском ГПУ. Сумел перековаться. А генерал Брусилов? Спецом в Стране Советов. Они, спецы, бывшие белые офицеры, с помощью комиссаров из народа быстро покончили с анархией в рабоче-крестьянской Красной армии, научили людей грамотно воевать. Вот правильный поворот.

Груб был полковник Барянов.

В Перми, весело напоминал Деду, по Сенной площади в восемнадцатом году генерал Пепеляев скакал на белом коне в вихре клубящегося снега под своим бело-зеленым флагом, а за ним радугой — конвой в шапках с малиновыми верхами. Пермь плакала от умиления: слава герою! Генерал Пепеляев тогда был не прочь первым войти в Москву, тревожился, не дай бог, его обставит Деникин!

Напрасно тревожился. Не обставил.

Азиаты правы: прошлое недостоверно.

Что оглядываться? Что там увидишь в прошлом?

Ветреный сырой Петроград, туман, снег... Горящие пермские леса... Пыльный степной Омск... Стеклянные льды Байкала... На станции Мысовая — япсы, откровенно разглядывающие героев, вырвавшихся из ареала красной заразы.

Всех произвести в следующий чин!

Снег... Но почему снег?.. Почему он помнится?

Этот снег в декабре девятнадцатого медленно падал на желтые водонапорные башни, на запасные пути, на закрытые семафоры, на стрелки, на вагоны, вагоны, вагоны, на бело-зеленые ленточки на шапках-колчакках...

Все пути станции Тайга были забиты эшелонами.

Пулеметы на водонапорных башнях, за полосой отчуждения шумно фыркает паром черной броневой поезд генерала Пепеляева. Сам он с братом, Виктором Николаевичем, премьером Сибирского правительства, с утра в штабном вагоне Верховного.

Речь о главнокомандующем, о генерале Сахарове.

Сколько можно терпеть этого хлыща? Всем известно, еще в Неплюевском кадетском корпусе будущий генерал получил прозвище Бетонная Голова. Такой он и есть, хотя дело, конечно, не в прозвище, мало ли кого как называли, тут дело в принципе. Вспомните, кто провалил Челябинскую операцию. А кто сдал Омск красным? И не просто сдал, а оставил большевикам все запасы. Какому-то бывшему поручику Тухачевскому оставил, то ли грузину, то ли еврею (без этих кровей и бунта нет). Этого красного Тухачевского генерал Каппель Владимир Оскарович громил успешно, особенно под Симбирском.

А Сахаров?

Чего достиг Сахаров?

Ну оканчивал грузино-еврей Тухачевский Московский кадетский корпус и Александровское военное училище, ну неплохо служил в Семеновском полку, воевал с австрийцами и немцами, бегал из плена, — не поручику же нам уступать! Где школа? Да, известно, бывший поручик не то чтобы жесток, просто не имеет жалости, отсюда успехи. Где же ваша школа, генерал Сахаров? Получается, вы бывшему поручику Тухачевскому не просто Омск уступили, а как бы еще подарили ему (руками большевиков) революционный орден Красного Знамени. Тридцатитысячный гарнизон Омска без боя захвачен дивизией красных, только что совершившей изматывающий марш-бросок. А в придачу к ордену Красного Знамени еще и Почетное революционное оружие.

Генерал Сахаров как раз явился с докладом к Верховному.

Сутулую спину адмирала Колчака обтягивал серый защитный френч.

Говорил отрывисто, с кокаиновой одышкой, к тому же голос посажен бесконечным курением. Братьям Пепеляевым, крепким коренным сибирякам, заканчивая неприятную беседу, бросил: «Никого больше не неволю. Положение сложное. Томск рядом, вы вполне можете вернуться в родные места. Только учтите, оставив нас, рассчитывать сможете только на себя».

Кивнул Сахарову: «Докладывайте».

«В присутствии посторонних?» — удивился генерал.

Адмирал укоризненно покачал головой, оскорбленные братья вышли.

Наклонив голову, молча принял подготовленные к утверждению приказы.

Подписывал быстро, задержался только на самом последнем — о срочной реорганизации 1-й Сибирской армии (командующий — генерал-лейтенант А. Н. Пепеляев) в обыкновенный не отдельный корпус. Над этим приказом Верховный задумался. Закурил новую папиросу. Да, армия Пепеляева обескровлена в боях, дисциплина упала, оборона на линии Новониколаевск — Тайга — Томск так и не построена, но все же это

именно Анатолий Николаевич блистательно занял в свое время Пермь, захватив в плен сразу более двадцати тысяч красноармейцев. Щедрая сибирская душа — всех отпустил по домам. Освобождение Перми пришлось, кстати, на сто двадцать восьмую годовщину знаменитого взятия крепости Измаил Суворовым, поэтому и прозвище получил не «Бетонная Голова» (как некоторые), а «сибирский Суворов».

Пыхнул дымом: «Не торопитесь с приказом?»

Пояснил Сахарову: «Буквально десять минут назад Анатолий Николаевич вот здесь заявил мне, что армия и без того в сильной ажитации. — Нервно закурил очередную папиросу. — Как заявил Анатолий Николаевич, он нисколько не может гарантировать того, что, подписав подобный приказ, мы с вами, Константин Вячеславович, не будем незадолго арестованы».

«Тем более следует сменить руководство, — твердо повторил Сахаров. — Разбаловались. Предлагаю, Александр Васильевич, отдать 1-ю Сибирскую генералу Войцеховскому».

«А Пепеляев вас требует заменить».

«Это решать вам, главнокомандующему».

«Хорошо, Константин Вячеславович. Я поговорю с Пепеляевым».

Братьев, не отходивших от штабного вагона, вернули обратно.

Младший Пепеляев прочел (правда, еще не подписанный) приказ.

Реорганизовать 1-ю Сибирскую? Как? Что такое? «Моя армия этого не допустит!»

«Какая же это армия, если не подчиняется приказам главнокомандующего? — демонстративно удивился генерал Сахаров. — Помнится, однажды под Омском вы уже грозили нам солдатским бунтом, теперь что за новое дело?»

Пепеляев, Виктор Николаевич, министр-председатель, брат генерала, тяжело навалился грудью на стол. Сопел трудно, не смотрел на брата. Анатолий Николаевич — человек военный, таких иногда нужно сдерживать. А он, Виктор Николаевич, министр-председатель, суждения свои строит на другом опыте. Томский университет, юридическое образование, преподавание истории в Бийской женской гимназии. Увлечь умел. И не только ревностных учениц. В январе четырнадцатого года на первом учительском съезде в Санкт-Петербурге именно он, Виктор Николаевич Пепеляев, предложил наконец организовать для сибирских инородцев бесплатные начальные школы. Да, бесплатные! Да, на местных языках! И государству польза, и русские националисты очень скоро увидят пользу от такого обучения.

«Только культурные народы могут выйти целыми из случившейся европейской катастрофы».

А в семнадцатом году Временное правительство именно его, Виктора Николаевича Пепеляева, члена Госдумы, назначило (приказ за № 169) командиром неспокойного Кронштадта. Боялись, но результат налицо. Освобождение части арестованных внесло ожидаемое успокоение в матросские ряды. К несчастью, ненадолго. Слишком уж все

было запущено, никакой власти, никакой дисциплины. «Успокоенные» матросы в итоге самого Пепеляева отправили в каземат.

Что ж, политику важен личный опыт.

В августе восемнадцатого — Сибирь, милая родина.

В Омске в ноябре все того же горячего восемнадцатого года на кадетской партийной конференции именно Пепеляев-старший призвал к установлению военной диктатуры. Адмирал сразу выделил из всех Виктора Николаевича, отметил. Назначил сперва товарищем министра внутренних дел, затем министром. Случалось, Виктор Николаевич не соглашался с Верховным, и все-таки (а может, поэтому) Верховный именно Виктору Николаевичу благоволил. И министром-председателем был избран Виктор Николаевич. Собственно, иначе быть не могло. Тезис о единственно верном пути к возрождению (вооруженной борьбе против большевиков) разделяли оба.

Сейчас, в штабном вагоне, старший Пепеляев был хмур.

Тяжело супился, на брата не смотрел. Одышка. Короткие пальцы подрагивают.

«Считаю недопустимым...» Медленно цедил тяжелые, неприятные всем слова, сквозь толстые стекла очков сердито посверкивали глаза. «Считаю категорически недопустимым...» Не любил категорические решения. «Столь пренебрежительное отношение к героической армии...»

Поднял тяжелый взгляд на генерала Сахарова.

«Вы, Константин Вячеславович, и без того забрали в свои руки слишком много власти...»

«Так точно!» — подтвердил генерал.

Пока без насмешки, но достаточно резко.

«Моя армия, — тотчас грубо, не считаясь с чинами и положением, вмешался в разговор младший Пепеляев, генерал, каким-то особенно демонстративным образом подчеркнув определение *моя*. — Моя армия считает, что именно главнокомандующий, то есть вы, Константин Вячеславович, да, да, именно вы мешаете общему делу, идете против общест-венности, преследуете ее».

«Что вы подразумеваете под общественностью?»

«Земство, кооперативы, Закупсбыт, Центросоюз, все прочее».

«Но это же все эсерские организации, Анатолий Николаевич! Будто вы сами не знаете, что все эти “общественные” организации исклю-чительно бесполезны, даже вредны. Они — враги русского дела».

«Позвольте! Такие суждения не приличествуют главнокомандующе-му! — теперь вмешался Пепеляев-старший. Сверкнул толстыми стеклами, поправил очки, перевел взгляд на дымящего папиросой Верховного. — Разрешите напомнить, что я уже дважды докладывал. Именно вам до-кладывал. Широкая общественность категорически требует снятия с поста генерала Сахарова и замены его генералом Дитерихсом. Я как министр-председатель такое требование всецело поддерживаю. Также на-стаиваю при этом на незамедлительном расследовании слишком скорой, я бы сказал, преступной сдачи Омска. И поддерживаю предложение широ-кой общественности созвать наконец Сибирский земский собор».

Что ж, требования были озвучены.

Первый пункт ясен, хмурился Верховный. Замена генерала Сахарова генералом Дитерихсом. А почему нет? Много, конечно, мистики в голове Михаила Константиновича, но в этом пункте можно не торговаться, поскольку именно Дитерихс пока всех устраивает. Именно — пока. Пункт второй — незамедлительное расследование слишком поспешного оставления Омска. С этим тоже можно не спорить. Ответственность, ответственность. Про это никогда не стоит забывать. А вот пункт третий... Опять созыв собора... Опять созыв этого Всеобщего сибирского законодательного собрания, как будто только это и может снять наши проблемы. Но ведь собрать Всеобщий земский собор — это не просто украсить зал архангелами, а над трибуной повесить теплую лампаду. Это — каждому памятная медаль на черно-желто-белой романовской ленте. Это — всеобщее переименование полков в дружины, армии — в рать, командующего армией — в воеводу. Это, само собой, крестный ход.

Нет, нет, это отложим до Иркутска.

Теперь уже генерал Сахаров искренне возмущился.

«Никак не могу поверить! Никак не могу поверить, ваше высокопревосходительство, в то, что кто-то, да хотя бы и министр-председатель, вмешивается в дела армии. Как вообще такое возможно? Назначать или смещать главнокомандующего — это целиком ваша прерогатива, исключительно ваша».

«Что ж, если так... — совсем уже дерзко, вдруг почувствовав свою силу, блеснул очками Виктор Николаевич. — Если так, то прошу освободить меня от обязанностей министра-председателя! При подобном отношении генерала Сахарова к нашему общему делу выполнять обязанности не согласен».

Верховный вспыхнул, но сумел сдержаться. Всей спиной откинулся на неудобную спинку дивана, но сдержался, сдержался, кивнул Константину Вячеславовичу: «С приказом о реформировании Первой сибирской подождем».

Махнул рукой.

«Остальные — в дело».

Все это время Дед находился в стационарном ресторане.

Морозные прихотливые розы на окнах. Над станцией сквозь дымку, как сквозь мутноватое стекло, проглядывает желтое из-за пыли, принесенной из казахских степей, шаманское солнце. Белые, но уже с несмываемыми пятнами, скатерти. Круглые кафельные горячие печи до самого потолка, а под самым потолком (по периметру) — гипсовые гуси. Нет, скорее алебастровые. Раскинули крылья.

Дед спиной прижимался к горячему кафелю.

Все столики заняты, неровный гул голосов, звяканье приборов.

За дальним столиком у глухо зашторенного арочного окна, никого не замечая, расположился (контуженый, наверное) пьяный поручик, при нем трубач. Время от времени поручик поднимал наполненный стакан и коротко приказывал трубачу наступление. Медные сильные звуки, казалось,

вспугнут гипсовых (алебастровых) гусей, но (судя по пулевым отметкам) они и не такое выдывали.

Поручика звали Князцев.

Деду уже рассказали его историю.

Да, да, тот самый поручик, о котором много говорили.

Это его жена, схваченная на какой-то станции красными сибирскими партизанами (так они себя называли), все-таки доехала до мужа-поручика в мороз ниже тридцати градусов — в открытых розвальнях, в одной ночной рубашке.

«Мы верхнее все снимаем».

Об этих словах, сказанных каким-то партизаном, Дед тоже знал.

И рассказали Деду про записку на холодной мраморной груди несчастной: «Не стреляй, Витя!» Как бы крик души. Кто-кто, а она про несдержанность поручика знала. «Как громил он дома предместий из бронепоездных батарей». Вот была у поручика Князцева горячая молодая жена, а приехала в розвальнях ледяная статуя. А чуть в стороне от железнодорожных путей дымилось (после бомбардировки) большое село, остались от крепких домов горелые ямы и головешки.

Ничего не происходит. Только жизнь происходит.

Неужели такие бомбардировки — всего лишь очередная (бессчетная на самом деле) попытка навести хоть какой-то порядок под низким зимним сибирским небом? Но если даже Содом с Гоморрой человечеству не помогли, если даже Всемирный потоп и египетская тьма прошли побоку, забылись, то как может гражданская война сойти за инструмент корректировки?

Бунтовать — мало. Правильнее служить.

По-настоящему крупные бунтари всегда служили.

Примеры? Пожалуйста. Рязанский и тверской вице-губернатор Салтыков Михаил Евграфович (он же Щедрин) служил. Проклинал сущее, но служил. Цензор Гончаров Иван Александрович — служил. Некрасов Николай Алексеевич (поэт страдающего русского крестьянства) тоже не с вилами бегал по Петербургу, а руководил крупными журналами, то есть опять же служил. И так все. По крайней мере, те, кто понимал, что самое важное для страны — это все-таки сильное государство. Что непонятного? Только удовлетворительное состояние духа ведет к полезной и выдержанной умеренности.

За окнами сверкали, вспыхивали снежинки, колыхались бело-зеленые флаги.

На скатерти за обеденным прибором — несколько номеров свежего выпуска газеты «Сибирский стрелок». Ожидаяще пыхтит у входного семафора черный бронепоезд 1-й (расформировываемой) Сибирской армии. На перроне — егеря генерала Пепеляева, люди из его личного конвоя. В вагонах поезда, обозначенного литерой «В», — Верховный правитель, его штаб, канцелярия, охрана.

Газету в любой момент могли затребовать.

Дед знал, что Пепеляевы и генерал Сахаров все еще совещаются.

Им, посмеивался про себя, крайне интересно будет увидеть свежий номер «Сибирского стрелка». Именно в нем, в этом номере, откровенно рассказано о неуправляемости генерала Сахарова, о том, что столица Директории сдана им преждевременно, что (по мнению выдающихся военных) под Омском вполне можно было остановить большевиков. И тут же рассказано (по собственным надежным источникам), что совсем недавно в Томске на квартире присяжного поверенного Зеленского (кстати, в присутствии генерала Пепеляева, ничуть его не стесняясь) некоторые горячие головы шумно требовали передачи всей власти в Томске большевикам, да, да, именно большевикам, дескать, они самые организованные, они разберутся. Война все равно проиграна, хватит нам напрасных жертв, сколько можно терпеть, выдайте высшим чинам по сто тысяч наличными и распустите всех к чертовой матери, пусть катятся куда хотят, кто в Китай, кто в Монголию.

В Томске это звучало реально.

Там все еще русские и чешские полки.

Там Академия Генерального штаба, там военное пехотное училище, екатеринбургская инструкторская школа, унтер-офицерская школа, военно-инженерное училище. Там забиты военными все имеющиеся общежития, свободные квартиры, на рынке не найдешь ни свечей, ни керосина, сам хлеб кончается, обозы беженцев тянутся по Иркутскому тракту.

Там тоска, слухи.

А еще там медленный снег.

Над Томском, над Тайгой, Мариинском, Красноярском.

Чин чина почитай. Поручик Князцев выпил, и трубач тут же протрубил отбой.

На заснеженный перрон по железным ступенькам штабного вагона медленно спустился Верховный. За последние дни он похудел, даже как бы подурнел, даже как бы умерился в росте, взгляд рассеян, угрюм. Ступив на мерзлый перрон, хрипло закашлялся, сильно откинув голову назад. За ним спрыгнул на снег тяжелый министр-председатель, за ним — брат-генерал. Еще один генерал — Сахаров — пока задерживался в вагоне. Постукивая сапогами ногу об ногу, братья — румяные, щекастые, коренастые, плечистые — хозяйственно осмотрелись. Младший, не стесняясь присутствием адмирала, покрыл матом очередную внеплановую задержку с водой. Вот паровоз напоить не могут, будто мы не среди болот движемся!

Адмирал, премьер, генерал.

Чем не задачка из учебника арифметики?

«Лев съел овцу одним часом, а волк съел овцу в два часа, а пес съел овцу в три часа. Ино хочешь видеть, сколько бы они все трое, лев, волк и пес, овцу съели вместе вдруг и сколько бы они скоро съели; сочти ми».

Генерал Пепеляев был хорош в цепи, в атаке.

Впрочем, и на заснеженном перроне смотрелся уверенно.

Да и как держаться, если его бело-зеленые егеря уже выкатили на перрон пулеметы.

«Поручик Бронеvский!»

Дед вскочил, услышав знакомое имя.



Выкрикнул кто-то из дежурных, приоткрыв дверь ресторана.

Редактор «Сибирского стрелка» шумный, вечно пьяный поручик Борис Бронеvский отстал от поезда еще в Новониколаевске, кажется, пьяный (обычное, совсем обычное для него дело) уснул в конторе Русского бюро печати, будем верить, разбудили его не красные. Теперь приходится замещать.

На перроне Дед щелкнул каблуками.

Дежурный по перрону полковник Волков в начищенных до зеркального блеска сапогах со шпорами, в серой длиннополой кавалерийской шинели, в казачьей фуражке (уши красные), разрешающе кивнул Деду.

Генерал Пепеляев выхватил протянутую газету.

Усы гневно встопорщились.

«Коза продается... Что такое?»

Глазам своим не верил: «Какая коза в военной газете?»

«Коза — это объявление, — сдержанно объяснил Дед. — Значит, деньги».

Услышав такое, Верховный наконец чуть заметно улыбнулся. Впервые за последние три часа. Кивнул, на этот раз примиряюще: «Отложим, господа, все споры до Иркутска».

Но генерал Пепеляев горел.

Генерал Пепеляев шумно крыл матом.

Моя армия в сильнейшей агитации! Он, генерал Пепеляев, ни за что не ручается!

Господи, Господи, воля Твоя. Вокзал. Морозная тоска. Зловещая тень какой-то рекламной козы. Она, эта рекламная тень, как облако пыльной бури, вырвавшееся из Тургайских ворот, накрыла перрон станции Тайга. На слова Пепеляева-старшего, повторившего свою угрозу об отставке, Верховный ответил уже с нескрываемым, с каким-то уже оскорбленным раздражением: «Прошу вас, не торопитесь, Виктор Николаевич».

И добавил (долго, наверное, обдумывал): «Я сам готов подписать отречение в пользу Антона Ивановича Деникина».

В пользу Антона? В пользу Деникина?

Братья Пепеляевы изумленно переглянулись.

Верховный кивнул. И сам потянул газету. «Вы-то, полковник, что думаете о Земском собрании?»

Тень вечной козы над станцией Тайга моментально растаяла.

Дед щелкнул каблуками. Он был в курсе требований, выставленных братьями Пепеляевыми Верховному правителю. Ответ он сейчас: да, нужен, очень нужен, даже очень и очень необходим этот Сибирский земский собор, и что-то, возможно, изменится. Почему нет? Но какие, твою мать, бородатые бояре соберутся нынче на заброшенной железнодорожной станции Тайга? Какие крестьяне подтянутся сюда на еще не отобранных у них лошадях?

Какой собор? Это не пышные омские пироги.

Из металлической трубы вдруг звонко выехала округлая, как артиллерийский снаряд, ледяная глыба.

Выехала и пугливо замерла.



Ничего не происходит. Жизнь происходит.

Если сейчас, решил про себя Дед, в ресторане скамандует контуженый поручик Князцев наступление (трубу отлично слышно даже на холодном перроне), твердо ответчу Верховному: «Собор!» А прозвучит отбой, разведу руками: «Какой уж нынче собор...»

Крик паровоза. Шипение пара.

Вдоль перрона зажглись калильные лампы.

Оба Пепеляевых и Верховный смотрели на Деда.

Дернулся, звякнул буферами паровоз, опять дернулся и опять замер, распространяя горклый запах разогретого в буксах машинного масла.

Трубач в ресторане проиграл отбой.

Ничего не происходит. Жизнь происходит.

«Какой уж нынче собор, ваше высокопревосходительство».

Верховный закурил новую папиросу. «Вы нас слышали, господа?»

Премьер и генерал вытянулись.

Верховный спросил:

«Могу я вам доверять?»

Ответил Пепеляев-старший:

«Такой вопрос для нас обида».

«Тогда подождем с собором до Иркутска».

Верховный легким движением руки отпустил Деда.

В ресторане Дед сразу вернулся к своему столику. Всей спиной прижался к горячему кафелю печи. Твою мать. Ощущал странный подъем. Вот ничего не случилось, а он ощущал странный подъем, сердце стучало гулко. стакан с водкой. Дед был счастлив. Почти счастлив. Гипсовые (алебастровые) гуси летели над головой. Никуда не надо больше идти. Коза в военной газете. Какое прошлое, твою мать, если само будущее неясно? Водка, закуска, трубач поручика. Ничем не объяснимое чувство удивительного покоя охватило Деда. Вон как шумно и глубоко пышет, дышит, шипит на морозе наконец накормленный, напоенный паровоз.

А коза — она и есть коза.

И не коза она на самом деле, а живые деньги.

Медленный нежный снег падал за высоким арочным окном.

В сумке — новенькие подштанники, час назад выданные в поезде интендантом, свежие портянки, даже полотенце. На стене — часы. Впрочем, что нам время? Мы в своем времени — недостоверном. Азиаты правы. По перрону деловито бегают офицеры, у вагонов появились сцепщики. Венгерки защитного цвета с черными шнурами, с выпушкой по верхнему краю и вокруг воротника; погоны черные суконные с серебряными нашитыми просветами, в нижней части — вензель «П», на левом рукаве — черно-красный ударный шеврон (углом вниз), над ним умело вырублен из сукна черный череп.

Твою мать.

Дед счастливо плеснул водки в стакан.

И трубач сразу, будто ждал этого, протрубил наступление.

Крылья бабочки

Лестница с улицы.

Бюст поэта Комарова, стол под зеленым сукном.

Бра дра фра. Хахлов пытался выговориться, но его не слушали.

Все собрались, только Суржикова не было. Понятно, не было Кочергина (отчислен), но Ролик-то запить не мог. Мы ждали. Все же Суржиков — лучший. Он и выглядел лидером, почти лауреатом, победителем, его мнение всех интересовало, даже писателей. Присматривались, прикидывали, наверное, что меняется в среде, которую мы сами же (по утверждению Ролика) формируем. Ольга Юрьевна (задним числом) отметила: «Не стала бы утверждать, что повесть Суржикова по-настоящему революционная, но она зовет, она утверждает».

А куда зовет? Что утверждает?

Спросил, конечно, Коля Ниточкин, и злая железнозубая Волкова тотчас ущинула его за школьный бок, чисто личностная реакция. В конце концов, Ольга Юрьевна права. О солнечном комсомоле больше болтают, чем говорят. А если берутся писать, то хорошо получается у немногих.

А чем такое объяснить?

Вопросы Ниточкина старались не замечать.

Только Чехов сказал: «Наверно, деталей не знают».

А каких таких деталей?

«Жизненных».

«Нет, правда, каких?»

Чехов даже задумался.

«Ну вот взял тему, изучи ее, — наконец объяснил. — Собрался писать о ленинском комсомоле, войди в жизнь героя. Не оставайся сторонним наблюдателем. Над схваткой многие любят устраиваться, дескать, сверху все видно, а ты попробуй жить в схватке, внутри нее. Ты работай под свист пуль, не торопись, не на поминки едешь. Если ты настоящий писатель, если ты взялся писать о комсомоле, то все должен знать — от уплаты членских взносов до механизма творческих инициатив».

Слушая этот разговор, я задумался.

Перед сном читал в гостинице дедовскую «Императрицу».

Сперва не вникал, думал об Игоре Кочергине. А он — легкий на помине — явился. Вот у него денег даже на билет нет.

«Не пропьешь?»

«Не знаю».

Пришлось идти с ним в кассу.

Прощаясь, Игорь махнул рукой:

«Я в этом году долг вернуть тебе не смогу».

Я засмеялся: «Да ладно ты». Но по-настоящему удивила меня дедовская «Императрица». Если подходить по Чехову, деталей в романе было много. За год столько не насобираешь, всю жизнь надо этим интересоваться.

Вот улица Домштрассе под номером 761 — высокий дом темного камня. Вот командир 8-го Ангальт-Цербстского полка, имя — Хри-



стиан-Август. Дра бра фра. Это понятно, это в архиве можно найти. И с императрицей понятно. Пусть надевает поверх платья кирасу, ее дело. Пусть бледная луна скользит за тучами. Пусть у коновязей лошади деловито хрустят овсом, добывают его из торб, ревниво дергают головами. Найдутся верные сыны России, сделают для императрицы все, что пожелает. За ее ласку, за ее улыбку. За милость. Только прикажи.

Ничего не происходит. Жизнь происходит.

Дед, конечно, не жил во времена короля Фридриха Второго.

Зато досконально изучил давние времена, прошлое недостоверное время.

И сумел ведь нарисовать, написать, раскрасить, увлечь, только (думал я) кому сейчас нужны эти синие мундиры, эти красные отвороты, высокие меховые шапки и треуголки? Кому интересны эти проходимцы, в самых разных краях Европы на вербованные в прусскую армию? Может, Ролику Суржикову? Может, потому и тянет его в Ригу, что кровь зовет? Может, потому и прислушивается к советам не гнушаться архивами?

Конечно, я нервничал.

Где Ролик? Где эта европейская штучка?

Вчера мы с ним ужинали вдвоем, скромно, ничего горячительного.

Конечно, поругивал Ролик мою «Педагогику», но бережно, детали хвалил, детали ему нравились. «Фирстов смотрел на меня своими белыми вываренными глазами». Восхищался, дескать, он так не умеет. Мне и самому нравилось. А Ролик еще сказал, что и Деду нравится. Дед будто бы разговаривал с Чеховым про меня, а Ролик стоял шагах в трех от них. «Стиль... Далеко пойдет...» Это о тебе, старик. Понимаешь? Мы с тобой на этом семинаре как два мощных паровоза.

Я все время поглядывал на дверь.

Где застрял Ролик? Кто меня поддержит?

Вчера Ролик настраивал меня исключительно на победу.

«Наше место, старик, лучшее. Наше место — всегда лучшее. Вбей это себе в голову раз и навсегда. Мы все можем. Мы не только книги сейчас пишем (вот как увлекся), мы собственную творческую среду создаем. Старики — они и есть старики. Им — почет и уважение. Но они, старики, свое сделали, отработали, пора нам засучить рукава. Будущее — это мы. Понимаешь? Ты не нервничай. Мы же рядом. Я тоже побаивался за свою “Бомбу времени”, а смотри, как прошла!»

И уверенно повторял: «Мы тебя поддержим».

Уверенно, весело повторял: «Это же всем интересно — сибирская тайга, кедры, малинники, девки, гуманисты...»

«Какие гуманисты?»

«Это я о тенденции твоей повести».

И вот. Семинар начинается, а Ролика нет.

Зато вчера вечером Ролик был прямо сам огонь.

«Ты думай, старик! Ты внимательно думай. Ты присматривайся, анализируй. У Чехова подход, конечно, сугубо московский: добру учит по инструкции, но и в этом нет ничего плохого. Ты, главное, обещай».

«Что обещать? Кому?»



«Будто не знаешь».

«Да правда не знаю».

«Видишь, уже заносишься, — поджал Ролик недобрые губы. — А тебе рано заноситься, старик. Стиль ты выработал, бесспорно, никто не оспаривает, но ты не заносись. Если начнут говорить о доработке, не упирайся. Принципы никуда не убегут. Ты обещаешь! Ты же на свое будущее работаешь. Клянись хоть Александром Сергеевичем, хоть Львом Николаевичем, только Федора Михайловича не трожь, с этим всегда сложности, не любят его те, кто даже любит его. В конце концов, всех этих твоих фирстовских девок можно прямо на заимке всем скопом, по общему списку, принять в ленинский комсомол».

«Мои девки — платоники».

«Это карлик-горбун так думает. Он их папаша, имеет право. А ты — автор. Пора осознавать себя автором, старик. Создать девок — это одно, а вывести в мир — другое. Да и с рабами ты, старик, перебрал. Ну признайся. Не знаю, кто как, а Волкова точно зубами защелкает. Стиль стилем, старик, я уже говорил, но где ты видел рабов в нашем советском обществе? Мы революцию для чего делали? Ра-бы не мы. Мы не ра-бы. Хотя... Если вдуматься... — Он вдруг загорелся. — Ну рабы... Ну комсомольцы... — Похоже, Ролик всерьез собрался покорить Европу. — Мы коммунизм строим, каждого отдельно воспитываем, а у тебя целая семья оторвалась от нормального общества. Это как понимать? — Он даже схватил меня за руку. — Вот где кроется неожиданный поворот! Это как вагонетка в моей “Бомбе времени”. Думай, старик! Ты на Сахалине живешь, это остров, даже девку позвать некуда. Билет Союза писателей тебе нужен, толстая книга тебе срочно нужна, само собой, гонорар, квартира, уважение. Ты же не хочешь коптить всю жизнь в железнодорожной школе? Пусть эти твои Петр и Павел... Кстати, что за дурацкая символика?.. Пусть эти твои Петр и Павел играют себе в рабов, но тебе-то... Тебе жить надо... Не будет твоя Соня долго терпеть... Ну год, ну два, и все эти твои фирстовские девки, как блохи, начнут выпрыгивать замуж. Тут и конец утопии. А? — Ролик крепко держал меня за руку. — Вот находка! Уловил? Комсомольская утопия! Настоящая комсомольская авантюрная утопия! Ведь выпрыгнут твои девки замуж, детишек нарожают, горбуна своего сделают дедом. — Ролик весь горел. — Видишь, куда нас ведет творческая фантазия. Вон какие ловкие получаются у тебя комсомольцы! Ты с помощью этих Петра и Павла сразу всем скопом вернешь обществу отбившихся от него овец. Вот какая здоровая получится вещь, нравственная, без всех этих тупых идеалистических побрякушек».

«Но я же не о том пишу!»

«Мы, старик, всегда пишем не о том».

Ролик вдруг призадумался, даже загрузил.

«Ты вспомни про Деда, — напирал я. — О чем он пишет?»

«А ты Деда не трогай. Дед — это вопрос другой. Важно не то, что Дед пишет, — несколько даже назидательно произнес Суржиков, — важно, как Дед относится к тому, о чем пишет. У него — родина, у него пусть и черные, но светлые люди. Не забывай, что Дед всю свою жизнь стремился



на родину. Даже ушел с нее, чтобы вернуться. А ты? — он насмешливо сжал губы, и я вдруг подумал, что Ролик ведь и правда не только в Риге, но и в Лондоне приживется. — У Деда рабов нет, у Деда есть угнетенные и непонимающие. Петр у него — Петр, а Фридрих — Фридрих».

Беспощадно прикинул мои возможности.

«Вот ты, старик, Козлова хвалил. Это, в общем, правильно. Какие-никакие у Ха Ё-пиня рассказы, но по сути они, правда, счастливые. В любом журнале оторвут с руками. И над Колей Ниточкиным мы зря хихикаем, он не дурак. У него прямой путь в детские и в юношеские журналы, там хорошо платят. — О поэтах Ролик не упомянул, у них своя епархия, пусть рыдают, нюхают цветочки, слезы утирают батистовыми подбитыми платочками. — И с Лешки Невьянова наши старшие товарищи правильно требуют точных деталей. Взятся описывать жизнь князей и графов, Бенкендорфов и поваров-реформаторов, будь добр, изучи материал. В исторической литературе, тем более в исторических повествованиях, детали нужны. Умные люди ум ценят. — Я вдруг заподозрил, что под умными людьми Ролик, кажется, подразумевает себя и даже меня. — Думаешь, Лешка Невьянов просто так пять раз подряд перечитывал “Анну Каренину”? — Ролик покачал головой. — Нет, не так просто. Он учится. Это инстинкт подталкивает его. Ты каждого старайся оценить правильно уже сейчас. Мы же не просто так встречаемся. Я несколько не преувеличиваю. Мы свою среду создаем, старик! Нас не просто так собирают во всяких иркутских и хабаровских, люди наверху тоже думают о будущей литературной среде».

Красиво говорил Суржиков.

А где он сейчас? Куда, черт побери, пропал?

За окном голубые очертания Хехцира. Медный Петр Комаров смотрит.

«Азиатской волной Амура, криком зверя во мгле ночной...»

Облака над Хехциром...

Деду мой стиль нравится...

Я жадно чувствовал близость удачи...

А Дед... Ну что Дед?.. Он тоже, случалось, притормаживал...

«Речной трамвай бежит Москва-рекою. Мосты изогнуты между гранитных круч. Над стенами Кремля, у самых сизых туч, соборы светят свечкой золотую...»

А дальше просто.

«История идет своей тропой, прорыв наш все растет — научен и могуч. Колокола молчат, антенн высокий луч мир полнит новой музыкой святою...»

Концовку приводить не хочу. Она вам не понравится.

«Я называю кошку кошкой».

Да и не в этом дело.

Книга мне нужна. Не будет книги, не будет Сонечки. Не будет Сонечки, не будет будущего. Я просто не могу вернуться на Сахалин без договора. Где черт носит Суржикова? Без его поддержки я запросто могу сорваться, наговорю глупостей. Только Ролик умеет разрулить любую



ситуацию. Он даже Зою, Кружевную Душу, может произвести в комсорги. Она настырная, она справится, подумал я беззащитно. Она и свою красноухую запишет в комсомол, если надо. Ни у той, ни у другой нет никаких противоречий с генеральным курсом.

Дед сидел напротив меня, опустив глаза, листал рукопись.

Зато строго смотрел на меня бронзовый поэт-лауреат Петр Комаров.

«Ни церквей на холмах зеленых, ни плакучих берез в полях — только кедры на горных склонах, где за сободем шел гиляк...»

Полях — гиляк. Смелая рифма.

Чехов взглянул на часы: «Ну, довольно».

И правда, пора было начинать. Пусть расцветают сто цветов, пусть соревнуются сто учений. Хунхуз хмурился, Ольга Юрьевна куталась в свой цветастый платок. Дмитрий Николаевич Пудель смотрел на семинаристов строго. Волосы черные, лицо длинное, непроницаемое, все решения давно уже, наверное, уложены в умной голове. Он-то, Дмитрий Николаевич, уж точно загнал бы фирстовских девок в солнечный комсомол, вывез на большую комсомольскую стройку, где, кстати, свободных мужиков много. А если так называемые рабы (как подсказывал мне Роллик) правда являются сугубо засекреченными комсоргами, то...

«За окном все дождик тенькает: там ненастье во дворе. Но привычно пальцы тонкие прикоснулись к кобуре».

Дед посмотрел на меня с интересом.

Темный костюм, белая рубашка, галстук, запонки.

Московский гость рядом с ним смотрелся низшим офицером непрестижной дирижабельной службы.

«Пушкарёв, вы педагог?»

«Да, в старших классах».

«Литературу преподаете?»

«Нет-нет, естественные науки».

«Математику? Физику? Биологию?»

«Физическую географию, астрономию».

Отвечая Чехову, я чувствовал неясную тревогу.

«У нас, в советской литературе, нынче обыкновенных историй нет, — так несколько загадочно (после заданных им вопросов) начал выступление Андрей Платонович Чехов. Очки, правильный нос, длинные узкие щеки — все в нем было какое-то писательское. — Обыкновенные истории закончились где-то на Иване Александровиче Гончарове, в девятнадцатом веке, так что пишут нынче все больше про необыкновенное, дескать, литература — это вам не дрова пилить».

Не понравилось мне такое вступление.

«Вот вспомните, — строго посмотрел Чехов на Колю Ниточкина, но, наверное, испугался его неожиданных вопросов и перевел взгляд на Нину Рыжкову, которая сразу сердито накуксилась. — Вспомните, раньше как. К примеру, Кустодиев. “Чаепитие”. Купчиха. Сама дородность. Лиловая сирень, пышущий самовар. Мощь, тело, сила, Рембрандт позавидует. А в жизни Кустодиев был калека, много страдал, позвоночник у него никуда не годился, ходил в корсете...»



Чехов помолчал, и вдруг произнес: «Теодицея!»

Даже руки, будто извиняясь, поднял: «Богооправдание!»

Семинаристы непонимающе замерли, а Ольга Юрьевна так же непонимающе посмотрела на Пуделя, на Хунхуза. Но Хунхуз сидел, опустив глаза, а Дмитрий Николаевич деловито листал мою рукопись, дескать, он тут просто за компанию, ему интересно, но вообще-то он не литератор, он ни во что не вмешивается, хотя в жизни и не такие слова слыхивал. Теодицея, видите ли.

И Дед выглядел спокойно и непреклонно.

Сложив руки на резном набалдашнике своей палки, всматривался внимательно в семинаристов из-под мохнатых бровей, как всматривался когда-то в лица сотрудников своего Русского бюро в доисторическом белом Омске. Вот, мол, скоро придут красные. Вот, мол, скоро придут в Омск. Но не затем, конечно, чтобы вас, обывателей, освободить, а затем, чтобы забрать у вас хлеб и масло.

Я-то тут при чем? И при чем тут теодицея?

Но Чехов, похоже, остался доволен произведенным впечатлением.

«Да, да, теодицея, — уверенно повторил. — Никто не спорит, мир неспокоен, несправедлив, жесток, вы сами, — пробежал он взглядом по семинаристам, — подчеркиваете это в своих рассказах. Тогда вопрос к вам. Почему бог, если он существует, терпит такое? — Очки московского гостя торжествующе сверкнули. — Ну никак не может такого быть, правда? Он же велик, всемогущ. Вот и появляются доктрины, призванные оправдать справедливость его решений».

Чехов сделал паузу.

Хотел, чтобы мы подивились его открытости.

Вот, дескать, я с вами как с равными разговариваю.

Полюбовался собой. Помолчал довольно. И снова завелся.

«Вы вот, Пушкарёв, школьный учитель. Вы постоянно с детьми общаетесь, а создали чистую теодицею. Будто средневековый схоласт».

С этой минуты Чехов смотрел исключительно на меня.

«Какие-то рабы, какой-то семейный тиран, какой-то дурной кобель, носящийся по тайге вместе с конурой, эти чокнутые девки — и все для интереса, все только для того, чтобы никто не сомневался в великой, хотя и загадочной доброте неких непонятных высших сил, как бы предопределяющих наше бытие».

«А каких сил?» — спросил Чехов.

И сам себе ответил: «Надуманых!»

Понимающе полюбовался произведенным эффектом.

«А мы — атеисты. Мы с вами — строгие атеисты. У нас такого быть не может. Мы строим не чье-то, а свое собственное будущее. Более красивой идеи, чем коммунизм, Пушкарёв, люди на Земле еще не придумали. — Чехов явно хотел сказать “товарищ Пушкарёв”, но почему-то сдержался. — Если так называемый бог или какая-то другая высшая сила все-таки существует, то какого черта она, эта сила, Пушкарёв, не сочувствует вашей скрытой доброй идее?»

«Может, не понимает?» — с места догадался Ниточкин.



Но Чехов смотрел только на меня. Мнением Ниточкина он не интересовался. Он не сводил с меня строгого взгляда, и я опять, как когда-то на заимке карлика-горбуна философа Фирстова, почувствовал себя голым, беспомощным под припершими меня к стене железными вилами, почувствовал кровь, каплями сбегаящую по груди на мой живот, увидел девок в ночных рубашках и квохчущих кур.

В самом деле, куда смотрит этот так называемый бог?

«Найти бога, — знающе пояснил нам Андрей Платонович, — это значит самому в каком-то смысле стать богом. Только зачем все это нам, уверенным атеистам? Почему советскому человеку не жить счастливо, не ломая голову над всякой несущественной чепухой? Разве не за это боролись наши герои? — Я в этот момент подумал, что вот сейчас-то, наконец, Чехов врежет мне за Радищева, Чернышевского и всех прочих, но Андрей Платонович опять мужественно сдержался. — Если душу, как кислота, как едкая соль, разъедает агрессивная, только на вид гуманная идея, это уже болезнь, никак не иначе, что бы вы там ни придумывали, Пушкирём. — Хотел, ох, хотел он назвать меня “товарищем Пушкирём”, но еще не пришло время. — Да, да, это я говорю о вашем доморощенном платонизме, о праве на рабство».

На Деда московский гость не смотрел.

Совершенно не замечали они друг друга.

«Кто среди нас здоров, а? Неужели неясно? — Семинаристы виновато опускали головы, отводили глаза в стороны. — Да тот здоров, кто не болен. Если бы нам удалось, — (товарищ Пушкирём, слышалось мне), — создать существо, которое мыслило бы, скажем так, с бесконечной скоростью, это, наверное, и был бы бог. Только не надейтесь, не надейтесь, такие идеалистические штучки у нас не проходят. С гордостью могу повторить: мы — строгие атеисты. Мы строим свой выстрадавший в борьбе с внешними и внутренними врагами коммунистический рай. Да, коммунистический! — Андрей Платонович еще строже оглядел нас. — Суржииков в своей талантливой повести говорил о будущем. О чудесном труде. О камне с планеты Марс. О новых атомных станциях. О последней снесенной трудовыми руками церквенке. Вот наш неминуемый путь. Никаких убийств. Это у нас отменяется, товарищ Пшонкин-Родин, — наконец употребил он мучившее его слово и посмотрел на смущенного сказочника. — Только полная нравственная победа. Сами создадим все нужное, даже мясо будем из нефти производить, никакой крови больше. Пусть чомон-гулы рядом живут. Скоро вообще никого убивать не будем. В недалеком коммунистическом будущем не будем бить ни чомон-гулов, ни людей. Вот наше послание будущему!»

Чехов перевел дыхание.

«А у вас, Пушкирём? — прозвучало наконец как “товарищ Пушкирём”. — А у вас, Пушкирём, одиннадцать девок, одна другой меньше, с ними карлик-создатель и мать, тихая, как бледное тепличное растение, не слишком мало для будущего? А главное, — Чехов доверительно понизил голос. — Главное — рабы! — опять оглядел он семинаристов, с некоторой даже паникой в голосе. — Это что же получается, Пушкирём? — (Нет,

не считал, не считал он меня товарищем.) — Это как понимать? Неужели настоящая свобода возможна только в рабовладельческом обществе?»

И выдержал идеальную паузу.

«Все-таки подведу итог. Наш семинар себя оправдал. Кто-то отпал, да. — (Кочергин, видимо, и на свою фамилию потерял право.) — Зато приобрели мы талантливую “Бомбу времени” и в копилке лежат “Счастливые рассказы”. Конечно, хотелось большего. Но разве мало — сразу два новых талантливых автора? — Строго посмотрел на меня. — Вам, Пушкарёв, еще предстоит работать. Так сказать, надо вам брать пример с товарищей. Способности у вас есть. Я сейчас не о таланте, талант есть у каждого советского человека. Я сейчас о ваших способностях — тон, краски, кисть. Учитесь рембрандтовскому подходу, кому нужна безнравственная мазня? Ну в самом деле. Ну посмеялись. Ну перевели дух. Вы же, Пушкарёв, должны понимать, что чем веселей текст, тем быстрее забывается».

Обвел взглядом семинаристов, дескать, ну а вы что думаете?

Дед молчал. Хунхуз молчал. Ольга Юрьевна любовно поворачивала колючку с камешком (настоящим) на пальчике. Я так понял их молчание, что действительно всех дел-то — скопом принять всех этих дурных фирстовских девок в комсомол, пока не привыкли к своей божественности, и отправить их в самую комариную часть тайги — готовить обеды на кострах, разведенных отчаянными лесорубами.

А семинаристы упорно молчали.

«Нет уж, это вы бросьте, давайте высказываться!»

Нина Рожкова жалобно посмотрела на строгую Ольгу Юрьевну и пробно тронула платочком глаза. Но на этот раз не прошло. «Это вы, Нина, бросьте, — жестко заявила Ольга Юрьевна. — Нам сейчас не до ваших слез».

«А чего тут такого? — спросил неунывающий и неутомимый Коля Ниточкин. — Я эту Лёвкину рукопись, эту “Гуманную педагогику” прочитал с первого захода. “Нагая, ты идешь, и целый мир в смятенье, широкобедрая, тебе принадлежит”. Конечно, не Лёвкины стихи, но к месту. Мне нравятся. Там много такого. А еще — помните? “Мы мертвых не воскрешаем”. Как сказано!»

Потом поднялся Козлов (Ха Ё-пинь).

Минуть пять блял о светлом будущем.

«Нам подвиг нужен. Нам некуда двигаться без подвига. Суржиков свою “Бомбу” доходчиво написал, нам на такое надо ориентироваться. — Слов от волнения Ха Ё-пиню явно не хватало, но он искал, не сдавался. — Никак нельзя нам без подвигов. — (Интересно, про себя подумал я, а как это ты раньше без подвигов обходился?) — Мы даже на свет должны являться с предощущением подвига. — Трудное умное слово “предощущение” Козлов выговорил чисто, правда, с третьей попытки. — Лёвкины герои, в общем, на все готовы, но только так получается, что нужных условий нет. Вон оно как получается. Шел герой к одной девке, а вернулся с другой».

«Подумаешь, — снова вскочил Ниточкин. — С девками всегда так. Это же все знают, каждый знает, — глаза у Коли сияли. — Любовь —

это как карта ляжет. Плохо тут совсем другое. Не нашел Лёвкин герой главного слова».

«Мамонт, что ли?» — догадалась злая Волкова.

Ниточкин растерялся, и этим воспользовался Невьянов.

«Лёвка, — твердо спросил он, — тебе-то зачем по архивам лазать?»

Я обалдел. По каким архивам? О чем они говорят? Я свою жизнь описывал.

Где этот чертов Ролик, где эта европейская штучка? Вот когда мне нужна была поддержка. Обещаниями Ролик отделался. Я прямо чувствовал, как замерзаю от услышанных слов.

«За Лёвкой никакая девка не пойдет, — уверенно вещал Леша Невьянов, не зря он пять раз подряд перечитал “Анну Каренину”. — Я за Лёвкой наблюдаю, он слабохарактерный».

Я его не слушал, но он прямо в душу лез.

Дескать, девки у Пушкарёва любят уверенных и умных.

Где, наконец, эта скотина Суржииков, где Ролик? Ведь обещал подержать.

И Кочергина нет, и Ролика. Даже Дед, последняя моя надежда, рассеянно смотрел в окно, куда-то на далекий снежный гребень далекого Хехцира. Думал, наверное, о своем Китае. Дескать, не мы должны вас учить. Не к Китаю он обращался, а к семинаристам. Это вы нас, стариков, должны учить. Это вы — из будущего. И вообще. «Пусть расцветают сто цветов, пусть соревнуются сто учений».

Дед весь был сейчас в своем далеком недостоверном прошлом.

И правда, он был в этот момент там. В прошлом. Хотя узнал я об этом позже.

Где-то месяца через два после семинара Дед написал мне на Сахалин, что в ночь перед обсуждением «Гуманной педагогики» видел странный сон. Будто вошел он в большую комнату, а там Зоя. Не Кружевная Душа, конечно, а замечательная харбинская артистка Зоя Казакова, Хайма, Вредная Лошадь, красивая, как сунамитянка. Он окликает ее, а Зоя уставилась на него, будто не узнает. «Ну, ступай». У Деда рубашка на груди расстегнулась, нательный крест виден, в комнате еще какие-то люди, много молодых незнакомых людей, все шумные, горячие комсомольцы, наверное, и даже товарищ Тяжельников с ними, только что пережил ротацию. Понятно, Дед пытается застегнуть пуговички рубашки, но пальцы непослушные, нательный крест виден...

У Деда был колючий китайский почерк.

Описал мне, как в сорок девятом побывал в мавзолее Ленина.

На Красной площади терпеливо отстоял длинную молчаливую очередь.

Вот, думал, такая же длинная молчаливая очередь тянулась когда-то к ковчегу, выстроенному Ноем — этим крошечным пьющим старичком. Ною в момент, когда он объявил погрузку на ковчег, исполнилось ровно пятьсот лет, но это ничего, он был крепкий, мало что алкоголь любил, после чудесной швартовки у горы Арарат он жил еще триста пятьдесят



лет. И поддавал. И не надорвался. Интересно, строили ковчег все-таки нанятые работники? Если так, то почему старик не взял их на борт?

Странно думать о таком в мавзолее.

Ну а разве не странно было видеть огромную молчаливую очередь, тянувшуюся по древнему пустынному берегу, — жирафов, бегемотов, волков, лис, обезьян, медведей, куниц, ленивцев, свиней, тарантулов, кур, пингвинов, варанов, нежных барсучих и строгих бобров, даже утконосов, а ведь это были только те, кого на ковчег пригласили официально. Белки, барсы, хомяки, слоны, змеи, жабы, птички колибри и птички снегири, пауки, бабочки, даже микробы, даже энцефалитные клещи, и ехидны, и гадюки, и кобры, и попугаи — всякой твари по паре. Все жаждали спасения. Не зря старик Ламех в час рождения сына своего Ноя так провидчески заметил: «Это Ной. Он утешит нас в работе нашей».

И вот спасение — гора Арарат впереди.

«А зачем нам туда?» — наверное, слышались и такие вздохи.

И правда, что делать африканскому льву или индийской саламандре на заснеженной каменистой вершине? Чем питаться выдре среди мерзлых скал? Где укрываться от непогоды боязливой тропической гаттерии или даже более неприхотливого североамериканскому вонючему скунсу?

Никто избранным не отвечал.

Старичок занят. Сыновья заняты.

А вы призваны, вот вам всем хорошо.

Попали в живую очередь, вот и помалкивайте.

Вот о чем думал Дед, отстаивая молчаливую очередь в Москве — в мавзолее.

Коровы, бизоны, лошади, коты, собаки, крысы, саранча, полуслепые кроты, юркие ящерицы, дождевые черви и улитки и прочая, прочая, все они не знали своего будущего, как не знали своего будущего пассажиры долгого колчаковского ковчега — солдаты, офицеры, чиновники, генералы, члены правительства, санитары, кочегары и машинисты, смазчики, сцепщики, стрелочники, санитарки, секретарши и прочая, прочая, усталые, трясущиеся в тифозных вагонах через всю Азию.

Наконец Дед вошел в черно-красное полированное пространство.

Лестница вниз, потом направо вверх, наконец, обход вокруг хрустального гроба. Ленин лежал хорошо, свет был настроен так, что казалось, руки и голова как бы светятся. Дед смотрел на бледное лицо вождя, на его выразительные руки. Смотрел на Ленина, а видел Ваську Казанцева, приятеля своего — в эшелоне среди метелей упорно пробивавшегося на восток.

С Васькой Дед под телятину выпил не одну бутылку спирту.

«Василий Васильич Казанцев. И огненно вспомнились мне — усивцев протуберанцы, кожанка и цейс на ремне. Ведь это же бесповоротно, и образ тот, время, не тронь. Василий Васильевич, ротный: “За мной — перебежка — огонь!” Василий Васильевич — прямо, вот, видите, стол у окна. Над счетами согнут упрямо, и лысина, точно луна. Почтенный бухгалтер. Бессильно шагнул и мгновенно остыл. Поручик Казанцев? Василий? Но где же твой цейс и усы? Какая-то шутка, насмешка, с ума посходили вы все! Казанцев под пулями мешкал со мной на Ирбитском шоссе.

Нас дерзкие дни не скосили, забуду ли пули ожог? — и вдруг шевиотовый, синий, наполненный скукой мешок. Грознейшей из всех революций мы пулей ответили: нет! И вдруг этот куцый, кургузый, уже располневший субъект. Года революции, где вы? Кому ваш грядущий сигнал? “Вам в счетный? Так это налево”. Он тоже меня не узнал! Смешно! Постарели и вымерем в безлюдье осеннем, нагом. Но все же, конторская мымра, — сам Ленин был нашим врагом!»

Арсений Несмелов написал.

А я не написал, думал в очереди Дед.

И уже никогда ничего не напишу, наверное.

Хотя мог бы. О многом мог бы. О Колчаковне, о художественных салонах Омска, о перестрелках на заброшенных сибирских полустанках, о воющих, плюющихся паром в снегах поездах, о лошадях, замерзающих на стеклянном льду Байкала, о зимнем перроне станции Тайга, окруженном плечистыми егерями генерала Пепеляева, о дымящейся полынье на реке Кан, отнявшей ноги у генерала Каппеля, даже о контуженом поручике Князцеве мог написать, командовавшем своему трубачу в уютном ресторанном зале отбой и вновь наступление...

Следующей выступила Волкова.

Она щелкала удобными железными зубами, сетовала, что не все поняла.

Вот какая-то в рукописи Пушкарёва заимка в тайге, в лесу, значит, кричит кукушка, бурундуки, о цветах даже не упоминается. А цветы, спрашивается, где? Куда цветы подевались? За такими, как Лев, девушки точно не пойдут. Зачем им бесхарактерные мужчины? Да самих этих девок, безжалостно щелкала Волкова железными зубами, этих тунейдок фирстовских, в суржиковское вагонное депо отослать, пусть послушают письмо в будущее!

Круглое катать, плоское таскать.

И Хахлов (Николай Николаевич) предъявил претензии.

Хра дра фра, признался, живет на свете уже почти сорок лет.

Вот, признался, пишет фельетоны, рассказы, даже поэма в прозе есть, как у Гоголя.

И все равно, признался, о чем бы он, Хахлов (Николай Николаевич, тридцать девять, Благовещенск) ни писал, как бы ни надкусывал слова, к женщинам он всегда — со всей душой. Какого бы возраста женщины ни были, он к ним — с полным уважением. Хра дра фра. А тут. Голос Хахлова сорвался. Это надо же! Девки фирстовские беспощадно бьют мальчишек, так что мать успокаивает: не искалечьте, не прибеите мальчишек, все равно, дескать, она умрет скоро. Хра фра дра.

Интересно, что Хахлов хотел сказать этим?

«А мне нравится! Так смешно не писал даже Пушкин».

Ольга Юрьевна напряглась: «Вы это о чем, Пшонкин-Родин?»

«Ой, ну о сетях, которые притащили мертвеца».

Ага. Сильно смешно.

Я тосковал: где Суржиков?

Конечно, и впечатлительная Нина Рожкова прибавила печали.

Поднялась, хотела что-то сказать. Платье цветастое, руки тонкие. Взметнула эти тоненькие руки над собой, как картофельные ростки. Интересно, что бы лагерные подруги в «индии» накололи на ее узкой цыганской заднице?

«Нина, тебе понравилось?»

А в ответ одни всхлипывания.

Илья Стах и Леня Виноградский говорить ничего не стали, а вот Леванович, поправляя очки, проговорил целых десять минут (хотя время наших выступлений ограничивали) — обстоятельно, сложно проговорил, все в том смысле, что если уж, Пушкарёв, любовь тебе выпала настоящая, то не отступай, как мерзкий паук, не пьтаться в свою паутину, а царапайся, хватай девку!

Только Дед молчал.

Сидел, опустив глаза.

Что видел он, слушая нас, зажав палку в коленях?

Опять лес под Омском, где два чеха-союзника громко и деловито убивали из револьверов полураздетую русскую девушку-машинистку? Или Мамонова, омского актера из «Аполло», которого местный летун поднял на своем аэроплане, а Мамонов с безумной высоты полета вдруг ясно увидел, что никакого Бога нет, и ангелов тоже нет, одна кругом пустота, твою мать, и пил Мамонов с того дня так беспробудно, что на поезд не попал, остался у красных. Или видел Дед в этот момент похожего на евангелиста Луку внимательного сотрудника Осведверха Валериана Верховского? Перчатка на левой руке. Он напишет свою историю. В некрологах.

Потом все же поднялся Дед.

Провел ладонью по квадратному подбородку.

Говорил неторопливо. Давал время понять им сказанное.

«Вот философ Платон, — начал. — Настоящее его имя — Аристокл, родился в Афинах. А вот школьный завхоз Фирстов, настоящее его имя — Платон, и родился на сибирской железнодорожной станции. К сожалению, таких карликов-горбунов у нас сейчас меньше, чем филистимлян в Египте. Мне пришлось бывать на станции Тайга. — Голос Деда выровнялся. — Помню вокзал, гипсовую лепнину, горячие кафельные печи до самого потолка. Философ Платон был учеником знаменитого Сократа, а школьный завхоз ни у кого не учился. В России вообще никто ни у кого не учится, — краем глаза я отметил удивленно взметнувшиеся брови московского гостя. — В России все только учат друг друга. — На Чехова Дед ни разу не посмотрел, зато смотрел на меня. — Ваш завхоз, Лев, он вовсе не сумасшедший, как тут подумали. “Не геометр да не войдет!” Ученики великого грека, философа, постигали законы геометрии и астрономии, высокой политики и художеств, морали, гимнастикой занимались, а у вас, Пушкарёв, нечто иное, у вас — мир иной. У вас — карлик, у вас — кукушка и прирученный бурндук. Не хочешь, а удивишься. Карлик. Как такое может быть в стране, победившей многих врагов? Давно и всем известно, что даже самые малые карлики, победив, резко прибавляют в росте».

Дед жил в словах, как рыба в воде.



Я почувствовал некоторое облегчение.

Бог с ним, с Дедом, пусть ругается, по глазам видно, что моя рукопись его зацепила.

Пусть ругается. Пусть.

Подумаешь, карлик. Какая разница? Главное — тоже философ. Дед сам говорит, что рост — не проблема. Победив, даже самые маленькие карлики, если что, запросто прибавляют в росте.

«Конечно, Лев, будь ваш карлик-горбун умнее, он использовал бы в вопросах воспитания бич, а не железные вилы. Прав Андрей Платонович, — наконец вспомнил он про московского гостя. — Неталантливых у нас нет. Ночные кедры, далекая кукушка, барышни в ночных рубашках, греческий хор. “Не геометр да не войдет!” — Дед остановил взгляд на раскрасневшейся Люде Волковой, потом перевел взгляд на бледное заплаканное лицо Нины Рожковой. — Можно не соглашаться с вашим завхозом, Лев, можно упрекать ваших барышень в некоторой рассеянности, но нельзя не признать, что мы отчетливо видим и самих этих барышень, и всех прочих бурундуков. Вот карлик-горбун на высоком деревянном стульчике. Вот рабы заняты поеданием картошки. — Он так и сказал: *поеданием картошки*. — Вот пес Колчак, или Кербер, таскается по тайге с конурой на цепи. Вот Бесхитростная Елена. Вот Астерия — дочь титанов. И Брисеида. И далекая кукушка вдали. Прислушиваются к неутомимой служанка Алкмены, дылда Дидона, тортик-девочка, рябая печальница. “Не геометр да не войдет!” Я всех до одной вижу. Они по-настоящему нарисованы. Вяжут свитера, кокетничают с рабами. Я сам видел места, о которых вы пишете, Лев, правда, в зимнюю пору. На обочинах валялись мерзлые трупы, оружие, в тупиках — сожженные тифозные вагоны. Метель, выстрелы, пепельные завихрения над сторевшими домами. Ничего там не было, никаких займок, никаких барышень, только трупы и желание обратиться подальше...»

Произнося это, Дед уже не смотрел на Чехова.

Но что-то между ними происходило.

Жизнь, наверное.

«А вы пишете — кедры, проселки, все омыто теплым дождем, просушено нежным солнцем. Значит, трупы давно захоронены, брошенное оружие утилизировано. Значит, пришла пора говорить о прекрасной Елене. Не о союзниках, изгадивших весь Великий сибирский путь от Перми до Владивостока, а о Кружевной Душе. Пусть поляк нас не поймет, пусть британец презрительно отвернется, нам-то что?»

Кажется, Дед любовался моими (фирстовскими) девками.

«Мы все замешаны на березовом соку, на тихих монастырях, на протопе Аввакуме. В этом Андрей Платонович тоже прав, — кивнул Дед в сторону Чехова, но голову не повернул. — Мы строим совсем новый мир. Мы не подвиги совершаем, мы просто строим новый мир. Высаживаем зерно горчичное. Да, пашня. Да, стройка. Не смотрите на назем и на щепки под ногами, без них не обходятся ни пашня, ни строительство. Главное — не верить тем, кто всего боится. Кто не умеет работать и охотиться. Помните сказку Пшонкина-Родина? “О, Чомон-гул! О!” — на-

помнил Дед. — Сухой снег девушка смела рукой с головы убитого лося, в мохнатое лицо зверя долго смотрела. Совсем умер зверь. Вот отсюда и мысль: больше не будем есть никакого зверя, больше не будем никого убивать, лучше письма в будущее будем отправлять с напоминаниями. Но кому-то ведь надо строить будущее! Кому-то надо поддерживать нужные для дел силы! Вот и получается, что все равно снова и снова будем охотиться, снова и снова будем бить зверя, иначе мы и камня не поднимем. А значит...»

Помолчав, сказал:

«Значит, снова убивать будем».

И добавил негромко: «О любви пишете».

Сидел в торце длинного стола перед рукописями, карандашами, блокнотами — грузный, сложив тяжелые руки на тяжелой палке, вывышался над всеми нами, как большой темный чомон-гул, бровастый, во всем избыточный, живой... ну скажем так, пока еще живой... мохнатый — в моем представлении... никем не убитый, но знающий, лучше всех знающий, что убивать будут. Все равно убивать будут. Какая тут, к черту, гуманная педагогика? Прекрасно понимал, знал даже, что нельзя учить молодых тому, что ты сам уже давно прожил. Нельзя, твою мать, тыкать молодых в давно недостоверное прошлое.

P. S.

Всех жалко.

Снежинки на стекле.

Как радиолярии в океане.

Время идет. Иногда снится Суржиков.

«Всё — лады. Цин цин. Мы поможем тебе, старик!»

Иногда снится Сонечка, холод зимний. Ну и что, принимал ее за овцу? Ну и что, она ни разу не пропустила занятий литературного кружка? Своих-то стихов больше не читает, не пишет. Зима за окном, островная метель гудит. Зову, окликаю во сне: «Соня! Соня!» — а откликается Зоя, Кружевная Душа.

Гладит красноухую, подмигивает.

Растет, наверное.

Южно-Сахалинск, Хабаровск, Новосибирск,
1971, 1989, 2019

От автора

Иванов Всеволод Никанорович — русский философ, культуролог, талантливый писатель и журналист. Родился 7 ноября 1888 года в городе Волковыске Гродненской губернии (Российская империя). Окончил историко-филологический факультет Санкт-Петербургского университета, стажировался в университетах Гейдельберга и Фрейбурга. Научной работе помешала Первая мировая война. После Фев-

ральской революции Иванов — ассистент на кафедре философии права (Пермское отделение Петербургского университета). Оттуда призван в январе 1918 года на службу в военную газету «Сибирские стрелки», выходящую в частях белого генерала А. Н. Пепеляева. С мая 1919 года Иванов в Омске, он — вице-директор Русского бюро печати, колчаковского пропагандистского центра. С белыми войсками ушел на Дальний Восток, оттуда в Мукден. С 1922 по 1945 годы жил в Китае, Корее, Маньчжурии. Прекрасное знание восточных языков открыло перед ним огромные возможности. Он активно занимался журналистикой, писал и издавал книги, вел переписку с Н. К. Рерихом. Сотрудничество с советской разведкой (понятно, скрываемое) позволило Всеволоду Никаноровичу в 1945 году вернуться в Советский Союз, куда он действительно хотел вернуться.

В Хабаровске он жил до 1971 года — года своей смерти.

Основной философский труд В. Н. Иванова — «Дело человека. Опыт философии культуры» (1933). На культуру Всеволод Никанорович смотрел как на мир законов инвентивных (от лат. *inventio* — изобретение), в отличие от природы, мира законов конститутивных. То есть вершину мира инвентивных законов (мира культуры) образуют идеи морали и религии. Нередко Иванова относили (и относят) к представителям евразийства, но сам он не считал себя ни евразийцем, ни антиевразийцем, вполне справедливо полагая, что самобытная русская культура будет вызревать не как простая равнодействующая двух культур (европейского Запада и азиатского Востока), а именно как своя, оригинальная культура.

Когда мы познакомились (1968), мне было двадцать семь лет, Всеволоду Никаноровичу почти восемьдесят. Нас связывал интерес именно к языку, к живой культуре. Мы даже собирались с ним написать совместную книжку о современном Китае, в то время относившемуся к СССР откровенно недружественно. К сожалению, времени не хватило. Всеволод Никанорович любил развивать всяческие легенды, связанные с его необычной жизнью, думаю, иногда он вполне сознательно запутывал свое прошлое. Почему нет? Многие годы я вдумывался в это его туманное прошлое, изучал связанные с ним материалы. Отсюда и даты, проставленные под моим романом. Это годы, когда я пытался написать нечто о самом Деде — так называли Всеволода Никаноровича в близком кругу. По тем или иным (не всегда зависевшим от меня) обстоятельствам эту работу я закончил только в 2019 году.

Поистине, русский писатель должен жить долго.

И последнее. Стихи в тексте — необходимость. Жесткие времена полны поэзии, не обязательно жестокой. Этот парадокс многие историки отмечали. Если какая-то приведенная мною строка не совсем точна, приношу свои извинения, ведь мои герои цитировали их исключительно по памяти, иначе быть не могло.

Алена БАБАНСКАЯ

СНЫ БАБОЧКИ

* * *

Вечереет. Роняют подсолнухи головы,
Будто в них темноты наливается олово.
Или золото. Не разберу.
Но подсолнечник будто кого-то сторонится,
Из-под шляпы своей никому не поклонится,
Не колыхнется на ветру.
А к нему подлетают
Варвары и Сенечки
Воровато ползгать незрелые семечки,
Покачаться в закатных лучах.
И пока не сомкнулся туман над пенатами,
Здесь пирует незваная банда пернатая,
У подсолнухов лица луца.

* * *

Холодно папе к восьмидесяти трем годам.
Раньше-то было жарко.
Теплую шкуру свою отдам —
Мне для него не жалко
Шкуры. А может, и целых двух,
Чтобы он мог согреться.
Папа легонький стал, как пух.
И золотой, как детство.

* * *

Когда я бабочкой была,
 Легка, крылата и мила,
 Невзгоды и печали
 Меня не замечали.
 Они летают тяжелей,
 Они как вязкое желе.
 Но ласковы к летунье
 Ромашки и петунии.
 И жизнь была длиною в миг.
 А ты, двуногий мой двойник,
 Ждешь смерти как побрякки.
 И где, скажи, ромашки?

* * *

Зависнешь на обшарпанном вокзале,
 Где женщины с горящими глазами
 С авоськами, с мужьями и т. п.,
 Превратности дороги претерпев,
 Ругаются у кассы, точно чайки.
 Но царственный кассир не отвечает,
 Не шевелит надменной губой,
 Как будто бы он шарик голубой.
 Похоже, не выходит он из транса
 И зрит миры, куда не ходит транспорт,
 Билетов нет, не надобен транзит.
 И вечностью из форточки разит.

* * *

Положишь девочку в огонь,
 А ей не больно.
 Положишь девочку нагой,
 А ей забава.
 Такое время вспомянет, такие войны,
 Такие песни пропоет про бой кровавый,
 Что будет корчиться земля
 В родильных схватках,
 Что может кончиться земля,
 Начаться воздух.



Ах, сколько девочек горит,
Красивых, сладких,
В чернильной ночи ноября,
И меркнут звезды.

* * *

Трудно круглому быть квадратным.
Проще котиком, птичкой, зай.
Мама, как я хочу обратно!
Мама знает.
В силовое поле войду пшеницы,
Как во внеземное пространство,
Звуковой волной, корпускулою, зегзицей,
Катериной, Ольгой, Настасьей.

* * *

Лес прибрежный охрой тронут.
Облака в заливе тонут.
И по самые бока
Входит стадо в облака.
Вьются оводы и слепни.
Рябь воды блестит и слепит,
Все на свой иная лад.
И жара идет на спад.

Сны бабочки

Сны бабочки наполнены мельканием:
Стрекозами, жуками, мотыльками.
Она во сне порхает над цветами,
Где разнотравье запахи сплетает.
Там с жеребенком рыжая лошадка,
И горестно, и радостно, и сладко.
Там, (г)розового облака помимо,
Все трепетно, изменчиво, ранимо,
И на растениях — капли перламутра.
Сны бабочки сбываются наутро,
Сливаются в единую картину,
Где смерти нет. И жизнь неотвратима.

Август

А то, что Август-дурачок
И пары слов не свяжет,
Зато целует горячо
Да нежится на пляже.
С котом затеет чехарду,
Вопя на всю округу.
Он знает: я его найду,
Поставлю в пятый угол.
Блаженный этот Августин
То плачет, то — напротив.
Вот потому и мы грустим
При каше и компоте,
При огородных чудесах,
При плачущем ребенке,
Покуда бронзовки в часах
Вращают шестеренки.

* * *

Обнимите каменного льва!
У него усталые глаза.
У него седая голова.
Он совсем не против и не за.
Вот и ходят разных мест насельцы
В праздники и солнечные дни.
У него же каменное сердце —
Ничего не чувствует, извини.

* * *


Все, что раньше мне мешало,
Стало легким, точно шалость:
Умещается в горсти,
Уменьшается в «прости».
Будто вовсе и не бремя.
Будто август льнет и греет.
Лижет влажным языком,
Притворяется щенком.
Будто это только выбор —
Из колоды взять и выпасть
В пожелтевшую листву
Под хозяйскую метлу.

Неизбежное

Улиты тело нежное
В коробке костяной
Почует неизбежное
Спиральной спиной.
Тугие втянет усики,
Хоть взгляд беспечно пуст.
Ах, платье, ах, бусики,
Ах, виноградный куст.

Неспящие в Торонто

Все мы, неспящие в Торонто,
В зудящей звуковой воронке:
Жучки, цикады и т. п.,
Цветочной музыки вертеп.
Она булавкой английской
Вонзилась где-то к сердцу близко
Сквозь лакированный хитин,
И вдруг — летим!
Пускай нас били и ломали,
Чтоб каждый с виду был нормален,
Мы запирали в сундучок:
Ты — скрипочку, а я — смычок.
Но если вытащить иголку,
То будет тихо и не больно.
Такая будет благодать,
Что можно скрипочку продать.



Роман СЕНЧИН

ПОЛЧАСА

Р а с с к а з

За занавеской, в подсобке, однокурсницы резали подарочные члены и ржали. Посетители, молодая красивая пара, подозрительно косились в ту сторону — наверняка думали, что за ними подсматривают. Татьяна отогнула занавеску:

— Девки, хорош беситься. Всех мне распугаете.

Женька и Славка подавились смехом, закивали: да-да, больше не будем. Но глянули на тарелку с сочно-фиолетовыми кружочками и заржали снова. И снова подавились.

— Выгоню ведь.

— Все, молчим, Тань, прости.

Ну не выгонит она их, конечно. Куда им — в общагу? Пусть лучше здесь. Напьются чаю, наедятся...

Еще до того, как Татьяна сюда устроилась, хозяин привез несколько коробок мармеладных пенисов и велел раздавать их бесплатно. И тем, кто сделает покупку, и тем, кто пойдет к выходу пустым. «Дарите, ничего страшного. Может, потом появится желание еще заглянуть. Глядишь, и завсегдаем станем».

Но от подарочных членов почти все отшатывались как от заразы. Вот-вот срок годности кончится. И Татьяна скармливает их общаговским однокурсницам. Те вечно голодные.

С собой брать запрещает. Только здесь. У них ума хватит бегать с ними по институту. Поймают: это Татьяна дала? И без этого неудобно, что здесь работает. С радостью бы уволилась, но где возьмут студентку на четыре часа трижды в неделю...

Наблюдала за парой. Да, красивые, будто кем-то специально подобранные друг к другу. По одному стандарту.

Обычно ведь как: он плотный, квадратный лысун, а она тощая, патлатая, или же она коренастая, низкополая, с короткой стрижкой, он, наоборот, поджарый, высокий, вихрастый. Да, природа почему-то соединяет таких, прилепляет друг к другу. И лишь иногда попадаются вот такие

двое — он и она, — на которых просто любишься, не завидуя, не раздражаясь, а тихо удивляясь, как произведению искусства.

Лет слегка за двадцать, обручальных колец нет на пальцах. Это сейчас ни о чем не говорит, но, кажется, они действительно не женаты. Но живут наверняка вместе. Встречающиеся на несколько часов вот так уверенно-спокойно друг друга не обнимают — он ее за талию, вернее, чуть ниже, где крестец, а она его за плечо: длинную пухлую руку выше локтя прижала к спине, кисть лежит на его плече. Пальцы слегка смяли рубашку.

Одеты в таком слегка ретро-стиле: на ней приталенное, в крупную розу, платье с пышным подолом, туфли с ремешками, на нем бежевая рубашка с коротким рукавом, черные брюки со стрелками, черные лакированные туфли.

Медленно двигаются вдоль стены-витрины. Там игрушки, аксессуары, приспособления, предназначенные для так называемого разнообразия интимной жизни. За некоторые Татьяне стыдно, и будь ее воля — выбросила бы их на свалку или лучше сожгла. Но кое-что наверняка полезно, когда просто тело партнера уже стало... Нет, не надоедать, а... У Татьяны было мало парней, самые длительные отношения уместились в полтора месяца, поэтому сформулировать для себя, зачем люди приобретают трусы из коззама или хлыстики, наручники, прозрачные туфли на высоченных подошве и каблуках, в которых ходить невозможно, она пока не могла. Но зачем-то им это нужно.

Куда понятней потребности одиноких гастарбайтеров, прибегающих сюда за определенным фрагментом женского тела. Точнее, его имитацией, сделанной из резины разной плотности.

А чулки и колготки здесь, кстати, хорошие, крепкие. Татьяна иногда покупает себе...

То он, то она без смешков что-то друг другу шепотом говорят, кивают. Она чуть смущенно улыбается, он серьезен, глаза иногда вспыхивают, и ему приходится скорее гасить этот огонь... Наверняка у них появились первые признаки пресыщения, точнее, возникло желание попробовать что-то новое. И они зашли сюда.

Татьяна не спрашивает: «Я могу чем-то помочь?» Знает по опыту — людей это всегда смущает, они начинают нервничать и обыкновенно уходят ни с чем. Приставучий продавец в любом магазине вреден, а у них он просто губит всю торговлю.

Эти и так не то чтобы смущены, но стеснены. Кроме Татьяны в зале еще две девушки в белых халатах и шапочках с красным крестиком. Их можно принять за кукол для эротических игр, но они живые — они делают экспресс-тесты на ВИЧ.

Акция в эти дни проходит по всему городу. Хозяйина их магазина эта новость застала здесь — позвонили по телефону. Сначала он испугался и возмутился: «Никакого СПИДа у меня тут! У меня радость, а не болезни». Но ему что-то долго говорили в трубку, и он сдался: «Социально значимо... гражданская ответственность... Ну хорошо. Только пускай сразу не бросаются со шприцами своими. У меня покупатель пугливый».

— Славка, блин, да не суй ты мне эту залупь! — слышится из подсобки.

Татьяна отгибает занавеску, сверкает глазами на девок. Те корчатся от сдавленного хохота. Угорают прямо. На тарелке лежат два полукруглых куска мармелада — концы пенисов.

— Выгоню! — шипит Татьяна и оборачивается в зал.

Пара перешептывается активнее; Татьяна пугается, что выкрики и смех достали девушку и молодого человека и они сейчас уйдут.

Но те подходят к кассе. Говорит молодой человек; девушка блуждает взглядом по сторонам, не желая встречаться с Татьяной глазами.

— Нам, пожалуйста, презервативы «Ситабелла», что ли... которые с усиками. И еще смазку ту, вон там.

Татьяна кивает. Никакой улыбки, все должно быть сдержанно, корректно. Выходит из-за прилавка, открывает сначала одну витрину, берет презервативы, потом другую — где пузырьки со смазкой.

— Простите, эту?

— Левее...

Конечно, мелочи, копейки. Но хоть что-то. Будем надеяться, это пробный шар, разведка боем. Сейчас поймут, что все нормально, никто их не покусал, и зачастят.

Возвращаются к кассе, Татьяна сканирует товары, называет цену и спрашивает:

— По безналу?

— Да.

— Прикладывается?

— Да. — Молодой человек кладет карту на дисплей терминала.

Выползает с пощелкиванием чек. Татьяна отрывает и подает его молодому человеку. Теперь можно и улыбнуться:

— Спасибо за покупку! Ждем вас еще.

— Непременно. — Его не радует ее гостеприимство — наверняка он был бы рад, если б вместо живого человека здесь торчал робот.

Впрочем, многие сейчас предпочитают таким вот магазинам Интернет. Выбрал, заказал, получил на почте. И адреса не надо, достаточно абонентского ящика. Никакого личного общения... Скоро магазины наверняка позакрываются. И так их осталось наперечет.

— Господа, — произносит одна из куколок, — провериться не желаете?

Пара притормозила.

— На что?

— По всему городу проходит акция экспресс-анализа на ВИЧ. Десять минут вашего времени — и вы обретаете уверенность.

— Нет, спасибо.

— Очень жаль. У нашего города сложилась репутация столицы ВИЧ в России. Мы пытаемся ее разрушить. В прошлые выходные анализ сдали мэр, популярные рок-музыканты, артисты...

— А это бесплатно?



Куколка воодушевилась:

— Совершенно! Более того — за участие в акции вы получите значки «Я свободен от ВИЧ» и приглашение на субботнюю пробежку с мэром.

Мэра в городе уважали, побегать с ним собиралось по несколько сот человек.

— Что, Мариш, проверимся? — усмехнулся молодой человек.

— А больно?

— Вы что! При нынешних технологиях боль совершенно исключена.

Мы проводим анализ по слюне.

— В смысле — по слюне?

— Да, теперь необязательно сдавать кровь, — распаковывая коробочку цвета морской волны, стала объяснять куколка; другая готовила второй тест.

Татьяна зашла в подсобку — в зале она теперь бесполезна, а если кто-то войдет, услышит: над дверью висят колокольчики фэншуй.

Женька и Славка съито отвалились на спинки стульев. Тарелка пуста — и концами в итоге не брезгнули...

— Спасибо, Танюш.

— Да не за что. Берегите себя.

— В смысле?

— Ох, разнесет ведь с такого количества...

Девки, конечно, мысленно тут же добавили к ее словам неприличное название того, что они сейчас съели, и заржали.

— Тихо! — Татьяна присела на стул, глянула в телефон. — Еще два часа до смены. Спать хочу...

Славка предложила:

— А пойдете в «Марусю».

— И что там делать без денег? — отозвалась Женька.

— Ну, стопудово кто-то знакомый тусит. Угостят.

Татьяна укоризненно покивала:

— Поели — захотелось бухнуть...

Хоть и ровесница, она действительно ощущала себя старше их. Может, из-за того, что родилась и выросла здесь, в столице области, они же приехали из своих городочков и резвились, как щенята на воле, а может — да скорее всего, — что училась на режиссерском отделении, а они — на актерском. Уже сейчас, в начале второго курса, это выражалось в мелочах: одни играли, другая следила, чтоб не заигрывались.

— Почему сразу выпить? — Славка сделала вид, что обиделась; распустила пухлые губы. — Поговорить, людей послушать, потом в этюде использовать.

И Татьяна дребезжаще ответила:

— Не верю-у.

Девки с готовностью покатались со смеху.

— Да ну! Чего вы парите?! — послышалось из торгового зала. Голос молодого человека, но какой-то другой, без вежливо-ироничных нот — недоуменно-возмущенный.

«Еще скандала не хватало». Татьяна вскочила, вышла к прилавку.

Молодой человек и девушка рассматривали пластиковые палочки тестов, а куколки испуганно хлопали глазами.

— Вообще-то ложноположительная реакция допустима, — тоненько произнесла одна, — но, извините, маловероятна.

— Да это чушь, понимаете! — Молодой человек бросил палочку на стол. — По слюне они СПИД определяют.

— ВИЧ...

— Вам вообще бы лучше молчать. Ясно? Мариш, — он взял девушку за локоть, — пошли отсюда.

— Если хотите, — куколка не сдавалась, — можно сделать повторный анализ. Взять кровь... Это не больно. — Вынула из-под стола две коробочки; на сей раз они были фиолетово-белые. — Чтоб развеять сомнения.

Татьяну удивило ее самообладание: наверняка ведь впервые столкнулась с такой ситуацией и вот — продолжает работать.

— Пошли, — тянул девушку молодой человек. А та оторопела, не могла оторваться от палочки.

Он тянул, она стояла. Длинные крупные икры напряглись, появились бугорки мышц — такую действительно не так просто сдвинуть с места.

— Мари-иш!

Она трудно, тягуче отлепила взгляд, но посмотрела не на молодого человека, а на куколок.

— Давайте сделаем.

— Да я говорю — чушь! В секс-шопе они тут будут клинику устраивать. Не надо. Пошли, мы же в «Пиццу-мию» хотели...

— Сережа, перестань. — И, высвободив руку, она протянула ее куколкам.

А в тех уже проснулись медсестры — ловко открывали коробочки, разрывали упаковки.

— Я не буду, — сказал молодой человек. — Еще реально заразиться тут не хватало.

— Сергей!

И он послушно положил ладонь на стол.

Татьяну толкнули сзади. Оглянулась: девки. Выбрались из подсобки. Загонять обратно не стала — теперь никому до них нет дела, а хихикать они вряд ли станут. Не совсем же дуры.

Молчат, не спрашивают. Значит, поняли.

— Нагоняем кровь, — приговаривала куколка с тонким голосом, хотя теперь он уже был не тонкий, а успокаивающе-мягкий и одновременно тревожный. — Так, пальчик покраснел. Теперь... — Щелчок, напоминающий звук степлера, следом второй. — Вот и все. Смачиваем индикатор...

— Какой-то тест на беременность, — хмыкнул молодой человек, но голос дрожал, негодование и сарказм в нем словно выгорели, осталась лишь показная веселость, скрывающая страх.



— Хороший тест. Почти стопроцентная точность.

— Да уж...

Стояли, ждали. Пара, куколки, Татьяна, девки. Даже разноцветные аксессуары, приспособления, игрушки, казалось, наблюдали за людьми.

Татьяна сейчас хотела одного — чтоб никто не вошел в магазин. Не нужны лишние. Чем меньше... И вообще-то, не надо здесь стоять, ни ей, ни девкам. Уйти в подсобку. Спрятаться.

Но не уходила. Смотрела на широкую спину девушки, на розоватые ноги без колготок — начало октября, а тепло, почти лето... Туфельки хорошие, Татьяне такие нравятся: сзади ромбик блестящей кожи, стопа почти вся открыта, а пальцы под остреньким кожаным колпачком. Голень обхватывает тонкий ремешок; каблук небольшой, напоминающий ножку коньячного фужера. Или бокала. Как правильно?.. Да, каблук небольшой, поэтому между пальцами и ступней нет излома. Ей неприятно, когда слишком высоко, а эти — как раз... В «Успенском» видела подобные. Дороговаты... Но если подкопить... Хоть бы скорей кончилось... И разошлись...

Одна из куколок то и дело поглядывала на часы. Потом слегка наклонилась, придерживая шапочку с крестиком, и отшатнулась. На какой-то сантиметр, но все заметили. И одновременно вздрогнули. А она продолжала стоять так, полусогнувшись, не поднимая лица.

— Что там? — спросила девушка.

И куколка, будто только ждала вопроса, как разрешения, резко выпрямилась. И сказала не горлом, не связками, а грудью:

— Две полоски.

— Х-хо! — вымученно-насмешливый выдох молодого человека.

Девушка взяла один тест. Посмотрела. Положила обратно. Второй. Тоже посмотрела и положила. И обернулась к молодому человеку. Взгляд у нее был... У Бергмана в одном фильме, а может, и не у Бергмана, герой убивает подругу. Вонзает нож в грудь. И она так на него смотрит: вопрошительно, беззащитно... нет, с каким-то таким сначала детским доверием, а потом детской обидой: я была вся твоя, а ты... И взгляд затухает, затухает...

Так затухал взгляд и у этой. Глаз молодого человека Татьяна не видела, но по спине — спина сгибалась, обвисала, жухла — понимала: жизнь уходит и из него. Или как там? — дух выходит, душа...

— Ты ведь первый, — сказала девушка тихо, но так отчетливо и чисто, пронзительно, что Татьяна содрогнулась и во рту стало горько. — Первый и единственный... Как же...

— И ты у меня одна, Мариш. Правда, одна. Честно.

— Как же...

— Это ошибка. Надо еще...

— Сережа...

— Если было, до тебя только. Клянусь.

Она словно не слышала, повторяла:

— Как же... Сережа... Как же теперь...

Он взял ее за руки. Она не отдернула. Тихонько потянул. Она медленно, как падающее дерево, привалилась к его груди. Он ее обнял. А сам продолжал уменьшаться, вянуть. И она.

Постояли так. И он повел ее к двери.

— Извините, — позвала куколка. — Нужно выписать направление. Пойдите...

Они продолжали медленно уходить. Нет, не шли, а плыли. Их больше не окликали, не останавливали. Не решались.

Татьяна чувствовала: необходимо задержать, поставить на учет — такие должны быть под наблюдением... Но как это сделать? Обежать, встать в двери? Не пускать? Это ужас какой-то будет.

Он с видимым усилием потянул на себя дверь. Нежно запели колокольчики. Цепляясь руками, ногами, они пропихнулись на улицу. Дверь поползла обратно, снова колокольчики. Закрылась...

Полчаса назад сюда вошли сильные, полные жизни самец и самка, а вышли сгорбленные, немощные старики. Поддерживающие друг друга, чтоб не упасть.



Дана КУРСКАЯ

ИЕРОГЛИФ ЮНОСТИ

* * *

закон сохранения энергии, сил и массы
все это писала на парте в десятом классе
все это читала, как будто не в этом веке
звучит отголоском музыки с дискотеки

об этом сегодня писать почему-то модно
как мы пережили возраст свой переходный
провинция, тьма, алкоголь и вокруг дебилы
а я это правда люблю и тогда любила

апрель, группа крови, контрольная по глаголу
я помню себя такой по дороге в школу
подъездный угар, а наутро — hello, английский
и боженька пишет мне в третий ряд записки

случится инфаркт, если мама теперь услышит
как мы поднимались все этажом повыше
как мы целовались в десны и реже — в губы
как мы уходили ночью гулять на трубы

и я не узнаю, что завтра случится с ними
их лица куда-то плывут в сигаретном дыме
и я не забуду, что завтра случится с нами
мы станем засвеченной пленкой, известкой, снами

все то, что хранилось верхними этажами
все то, что осело пеплом за гаражами
все то, что застыло трубами теплотрассы
все то, что проходят люди в десятых классах

* * *

не реки меня пеплом, реки рекой
я из тех, кто выпросит здесь покой
для себя и для всех, у кого беда
вслед за мной приходят белые города

иероглиф юности, посмотри
освещает смятые пустыри
я пришла однажды и на века
вслед за мной — серебристые облака

в мезосфере чувств, где не страшен ад
где эйнштейн пророчил полураспад
закалилась сталь, архимед утоп
где зарыт в песочнице изотоп

там мои молекулы — высший сорт
утверждали содди и резерфорд
но когда за дверью дышит ночной конвой
у подъезда утром собачий вой

здесь трущобы шестнадцати с лишним лет
не ступайте громко, ступайте в пед
и захлопнулась гулко земная клеть
мне не стоило бы взрослеть

на лице проступают черты отца
потому что водку не пить с лица
значит, город будет оставлен мной
электричеством раненный, но родной

* * *

Мне снилось, что тебя как будто нет.
Что ты лежишь, а сверху льется свет,
нездешний свет хрустально-голубой,
над тем, что я всегда звала тобой.

Мерцают в этом свете зеркала,
но ткань на них тяжелая легла.
Мне снилось, что ты умер. Я воскресла
и свечи бесфитильные зажгла.





И осветила все свои углы,
 в которых прежде было много мглы.
 Но постепенно растопилась мгла.
 И ты смотрел из каждого угла.

* * *

там, на кладбище, — не они вообще
 а они теперь — возле пастбища
 очень светлый луг — посох стук да стук
 и растет полынь или дикий лук

и большой пастух — он такой большой
 разливает всем молока ковшом
 и такой большой этот общий ковш
 им до слез смешно, как ты слезы льешь

в этот мой рассказ не поверить здесь
 доказательств нет, ожиданье есть
 но всегда вон тем не хватает тех
 не ищи в земле, посмотри наверх

* * *

Дмитрию Федосову

Если верить легендам, то мы не умрем,
 просто выпьем штрафные ноль три.
 Остается от каждого свой медальон
 с пожелтевшей запиской внутри.
 Но пройдет двадцать лет, а потом двадцать пять,
 и кому-то придется его прочитать,
 чтобы сразу все стало понятно.
 Уповая на это и веря судьбе,
 я надеюсь, что мой предназначен тебе, —
 то есть ты доставай аккуратно,
 помещай мое имя в прозрачный раствор,
 проступает рисунок — челябинский двор,
 проступает рисунок — ночная Москва,
 и слова мои все, и слова, и слова.
 Столько глупых событий и призрачных дат,
 потому что я так себе, скажем, солдат, —

за кустом переждавший решительный бой.
Я хочу пить с тобой.
Если верить кому-то, то верить сейчас,
медальоны читаются лишь один раз —
знает каждый профессионал.
Если хочешь со мною потом говорить,
чур, у этих качелей останусь курить.
Я хочу, чтоб ты знал.

* * *

Говоря про рай, представляю так:
это длинный путь, бесконечный шлях.
Я бы шла и шла мимо старых дач,
и цвела бы рожь, и алел бы мак.

Все, что столь неясным казалось нам,
мне бы стало ясным со всех сторон.
Я бы шла вперед, а по сторонам —
никаких роддомов и похорон.

Никаких потерь, никаких даров.
Только ветер в лоб, только шорох трав.
Только дымный запах его костров
овевал бы путь без земных канав.

Я бы шла и пела: «Ла-лай-ла-ла»,
а навстречу с горки спускался он.
Из церкви звонили б колокола.
И не прекращался бы этот звон.



Анатолий КИРИЛИН

ВО САДУ ЛИ, В ОГОРОДЕ

Р а с с к а з

Воскресный вечер выдался тихим и теплым. До этого три дня дул тугой, не стихающий ветер — редкость для середины лета.

— Леса повырубали — вот и гуляет батушка, — сощурившись на северо-запад, ворчливо заметил сосед.

Он только что вернулся с работы, загоняет свой внедорожник в ворота.

Соседу пятьдесят шесть лет, возраст я запомнил с того дня, когда он, напившись, блажил, оглашая садоводство матюками:

— Я, мать-перемать, готовился идти на пенсию через четыре года. В три креста и душу праведника! А теперь девять лет ждать! Девять! Ты слышишь, курица моя хохлатая? Девять-то протянем?

Курица — жена соседа, Людмила, а его самого зовут Валера. Людмила успела «высочить» (словечко мужа) на пенсию за год до известного указа, повысившего пенсионный порог населения на пятилетку, и этого, похоже, Валера простить ей не может. Во всяком случае, ругая президента и премьера, он обязательно присовокупляет ее.

У Валеры своя небольшая пекарня. Нынче заболел водитель, и ему самому приходится развозить хлеб по торговым точкам. Вот уже неделю возвращается под вечер, уставший и злой: вечерять приходится без выпивки, вставать в пять утра.

— Вот скажи мне, какого дьявола они не спят в такую пору? — Это он про гибэдэдэшников спрашивает меня, понимая, что ответа не получит. — Вот еду один-одинешенек на дороге — стоят!

— А вдруг ты не сдержался и выпил? Наказание-то нехилое, есть смысл караулить.

— Ну да, ну да. — Он закрывает за собой створки, облокачивается на воротину. — Все, отработал, завтра шофер выходит. Вечерком посидим?

Наши садовые владения аккурат одно напротив другого, и домики через дорожку смотрят окно в окно. Валера в свое время купил два соседних участка, так что у него земли вдвое больше. А еще баня, теплица,

полторы сотки под картошку и что-то наподобие английского газона перед домом. У меня нет ни того, ни другого, ни третьего, и вообще участок мало пригоден для возделывания на нем огородных культур: большая его часть имеет уклоны в разных плоскостях. Во время дождя ходить по нему опасно: можно, поскользнувшись, уехать на пятой точке в соседский огород или в своем сломать шею. Есть домик — крепкий, сложенный из силикатного кирпича, с дощатой верандой-пристройкой, есть три чахлые яблони и огромная груша, приносящая терпкие, но вполне съедобные плоды. Деревья достались мне от прежних хозяев. Куст крыжовника, два — смородины, рядок малины — это уже мои посадки.

Несколько лет тому назад умер мой хороший знакомый. Вдова не захотела оставаться в нашем городе, заодно решила поменять и страну проживания. Продала все имущество, остатки мужнина бизнеса и купила квартиру в Турции. Перед отъездом попросила меня свозить ее в их сад. Походила по участку, потрогала лилии, в великом множестве разросшиеся по всей территории. Протянула мне ключи:

— Делай с ним что хочешь, можешь даже продать. Я не буду.

Так стал я владельцем участка в садоводстве «Дорожник».

Сажу на скамеечке перед домом, разглядываю первый цветочек клематиса. Не обманула пьяная торговка, продавшая мне корешок в пластиковом стаканчике. «Фиол-летний», — с трудом выговорила она.

Оглядываю свое небогатое хозяйство. Садик! Украденные (или одолженные?) у природы пять соток. Кто-то распахивал здесь пустошь, строил дом, огораживал участок, облагораживал землю. Скорее всего, это было во времена всеобщей боязни остаться голодными. Война людей напугала, разруха, голод. Да и большинство городского населения той поры были не такими уж далекими потомками крестьян, память о земле тревожила, звала к ней, родимой.

Главная достопримечательность моего участка — огромный кедр высотой с четырехэтажный дом, ствол на уровне глаз в поперечнике около полуметра. Здоровый, чистый, ветки от самой земли, и никаких просветов между ними. Наверняка посажен он был первыми здешними поселенцами, то есть годов ему под пятьдесят. Растет он недалеко от забора, перед домиком, оставляя узкий проход между стволом и верандой. Несколько раз я поднимался по стремянке и спиливал ветки, которые налезали на крышу. А еще постоянно вынужден убирать нападавшую хвою, высохший ковер из нее представляет серьезную пожарную угрозу: небольшая искорка — и пыхнет как порох. Дерево, оказавшееся здесь, вдали от родной тайги, по милости человеческого честолюбия, мстит, обильно поливая смолой из раны от среза мой жигуленок. Попробуй ототри! Кедр приносит урожай, правда, воспользоваться им никак не удастся. Во-первых, шишки до того смолистые, что дольше будешь руки отмывать, чем орехи щелкать. Во-вторых, первой к урожаю поспевают белка, важная седая матрона, — по всему, тоже ветеран. Прикормилась. Мы с ней регулярно встречаемся, не радуемся друг другу, но и не огорчаемся.

Мы сидели за столом на просторной веранде у Валеры: хозяин, приятель его с соседней улицы Александр, невысокого роста, худощавый, с быстрыми и умными глазами, и я.

Валера поглаживал живот и жмурился от удовольствия:

— Ни жен, ни внуков — красота!

Двумя часами раньше отбыли в город дочь Ольга и Людмила с трехлетней внучкой. Уехали и садоводы, кому с утра в понедельник на работу, с одной трудовой вахты на другую. Стихли напившие друг на друга эстрадные шлягеры, слезливые блатные песни, тяжелый рок... Мир воцарился в эфире, и вся округа притихла, замерла в ожидании вечера. Вот и ветер улегся...

Кухонное хозяйство, как я понял, здесь делили на двоих: за Валерой был мангал, установленный прямо на веранде. Дым уходит через вытяжку, в помещение не попадает. Валера, не сходя с места, переворачивал решетку с большими кусками мяса. С запахом жаркого вытяжка не справлялась, он плыл по веранде, настойчиво предлагая: наливай!

Александр был задумчив, молчалив, Валера рассказал его историю. По всей видимости, не в первый раз. Новые уши — за три года своего пребывания в садоводстве я за этим столом в узкой мужской компании впервые.

— Он у деда рос, в деревне. Дядька его, дедов сын, работал на машине и подворовывал из колхоза. Попался на комбикорме. Так, Сань, на комбикорме? — Тот молча кивнул. — Смыться-то смылся, а машина колхозная, увидели, чего тут гадать? Он к Сане: возьми, говорит, на себя — мол, машину угнал, ну и на склад заехал. Тебе по малолетке много не дадут, скорее всего отпустят, а мне семью кормить надо... Короче, дали Саньке полтора года в колонии для малолетних.

Валера замолчал и с минуту сидел, уставившись в никуда. Затем перевел взгляд на Александра, и в глазах его блеснула искра детского узнавания, открытия нового, непознанного. Я давно заметил: глаза Валеры ничего из происходящего в нем не умеют прятать — распахнутая душа!

Герой повествования присутствовал с отрешенным видом, будто рассказ не имел к нему никакого отношения.

Не умолкая, вещал маленький телевизор, установленный на кронштейнах под самым потолком. Наверно, для того, чтобы смотреть его лежа. Впрочем, насколько мне известно, большинство садоводов возлежит перед телевизором только в мечтах. Разговору он не мешал, звук был убавлен. В случившейся за столом паузе прислушались. Передавали новости, и среди прочих озабоченная (или сыгравшая озабоченность?) ведущая сообщила, что на пчел во всем мире напал страшный мор. И вот, кстати! Прорицательница Ванга в свое время предупреждала о грядущем бедствии, а ученые предрекли вслед за исчезновением пчел гибель всего человечества, потому что некому будет опылять жизненно важные для хозяина природы растения... Да что ученые, вспомнилось мне, несколько лет назад мой друг из Горной Колывани егерь и пчеловод Павел Шишов, ставя на стол чашку с только что откачанным янтарным медом, сказал:



— Скоро пчела покинет Землю.

— С чего ты взял?

— Так, — уклонился он от ответа. — По всему видать...

Валера скривился, обозначая свое отношение и к тому, что мы сейчас услышали, и к телевизионной болтовне вообще. Он использует телевизор с единственной целью — засыпает под него. Потому в саду у него их целых три. Захочет вздремнуть на свежем воздухе — пожалуйста, захочет в спальне под одеялом — и тут аппарат наготове.

— А ведь сегодня ровно середина лета! — воскликнул Александр таким тоном, что можно было подумать: мы едва не прозевали важнейшее событие.

— О! — встrepенулcя Валера. — Давайте-ка за это выпьем! — Он расплескал водку по стопкам. — Чтоб оно не кончалось! — Хрустнул огурцом — и к Александру: — У тебя свояк дом-то достроил?

— Куда там! Он как китаец — тысячелетия зрит впереди. Да он не один такой, у меня сосед подо мной тоже пенсионер и тоже наладился строить. — Александр отрезал от огурца тоненький кружочек, пожевал. — Как несовершенен мир! Остатки сил и малого времени, которое вроде бы надо расходовать на беседы с Богом, с лесом, с водой, люди тратят на возведение жилья. Казалось бы, так: построил — живи; а на самом деле: построил — помер. Хотя кто знает, может, здесь как раз и заложена вера в долгую жизнь. Вон сколько случаев — в преклонные лета рожают детей, свято веря, что успеют поднять их на ноги. А живут-то у нас до каких лет, кого там поднимешь! Вот и получается глупость и там и тут. Силы не рассчитали? — Он поднял указательный палец, как только что поднимал хозяин дома. — Время! Когда и чему быть! — Обвел взглядом застолье, легонько подтолкнул уронившего голову на грудь Валеру: — Не скучай, брательник! Как там у Виктора Петровича Астафьева: «Говорите! Я уже сказать не успею...»

С этими словами он откланялся и пошел к себе.

— Теперь до ночи кроликов своих будет собирать по соседям. Вроде все дырки заделает — нос не просунуть, а они все равно найдут лазейку.

— Кролики? — удивился я. — Хлопотно.

— Так у них и куры есть. Два сада здесь да на горе еще один. Нынче, говорит, жена приставала: давай поросенка возьмем. Насилу отбилcя.

— Грамотный мужик, читает, рассуждает...

— Здесь все грамотные: вон желтая крыша — хирург известный, у меня полтора высших образования. А у Саньки свои школы. Он же еще сидел. — Валера поискал глазами зажигалку, закурил. — В Заринске водителем работал, ребятишек на автобусе возил. Какая-то лахудра подрезала его — улетел с дороги, перевернулся. Пятеро ребятишек погибли. — Валера покрутил головой, очевидно в который уже раз переживая ужас происшедшего: пятеро ребятишек! — Сердце у него никуда не годится, сколько уж раз с того света доставали! Сейчас клапан искусственный поставили, вроде ничего, прижился.

А я представил Александра в эту минуту сидящим передо мной. Тщедушным не назовешь, но и в здоровяки не запишешь — так, сере-

динка на половинку. Седые короткие волосы, лицо... Я всегда думал, что у бывших зэков, сколько бы лет ни прошло, отпечаток неволи остается навсегда. У Александра ничего похожего не наблюдалось: чистое круглое лицо без характерных морщин, без шрамов. Глаза... Я уже говорил про глаза. Если подвести итог, облику его не хватало мужественности, той самой выразительности, которая выдает человека бывалого.

Утро началось с визита ворон. Совершая ежедневный обряд, с пяти до шести утра они кружат над моим садом-огородом и орут не умолкая. То ли плачут, то ли ругаются, не поймешь. А причина у них есть и для того и для другого. В самом начале лета ко мне через ограду заглянул садовод — тоже, можно сказать, сосед, но не ближний.

— У вас на кедре вороны гнездо соорудили. Это значит, птичек нам нынче не слышать, все гнезда в округе разорят. Да и вообще — дурная птица. Вы уж как-нибудь прогоните их, уберите.

Первая реакция — я удивился: как-то про гнездо раньше в голову не приходило, ну орут с утра до вечера, так они и в городе орут не переставая, привык уже. Следом пришло раздражение: легко сказать — убери! Я, что ли, туда полезу? Сам моложе меня лет на пятнадцать, вот и лезь! Отойдя вглубь участка, я с трудом обнаружил гнездо. Хорошо спрятали умные птицы, едва различишь в развилке веток на самой верхушке. Прикинул расстояние, подумал, что ветки у кедра хрупкие, сахарные, ступать на них надо с осторожностью. Лазил за орехом, знаю. Когда это было!.. Нет, не полезу.

В эту пору у меня случилась поездка в Москву, оттуда заехал к родственникам в Псков, несколько дней провел на Валдае — друг позвал с собой. В общей сложности отсутствовал я около месяца. Вернувшись, вспомнил про ворон, порылся в сетях, отыскивая лучший способ, как избавиться от них. Оказалось, не так просто и эффективный способ, пожалуй, один: убить ворону и подвесить для острастки других. Тогда, скорее всего, уйдут. Вот на сколько — вопрос полностью не изучен.

Убить! Я сроду не охотник, ружье в руках держал несколько десятилетий назад, когда с дедом уток стреляли. Рассказал про ворон Валере. Тот озадаченно поскреб затылок:

— Ружье-то у меня есть, даже три, но не станешь ведь здесь стрелять — сразу урядник примчится, стволы отберет. Лезть туда, — он вскинул голову, — с моими-то ста пятнадцатью! Вот мелкашку бы...

А вороны словно почувствовали неладное, забеспокоились, давай орать пуще прежнего. Может, и не замечал бы, жил себе, как раньше, но ведь подсказали же!

Прошло несколько дней, и тут — случай. Воронье потомство подросло, и однажды я увидел двух птенцов, сидящих рядышком на толстой ветке метрах в четырех-пяти у меня над головой. Что удивило — каждый был размером с добрую кошку (придет же сравнение!), а обликом они были точь-в-точь взрослые особи. Я кидал в них полешками для мангала — бесполезно! И полешек уже не осталось, все застряли в кроне дерева.



Тогда я смастерил шест из палок, которыми поддерживают помидорные кусты, скрепил их изолентой. Длина показалась мне достаточной, и я попытался столкнуть воронят с ветки. Крепко держатся, даром что молодняк! А взрослые вороны надо мной кружат, вопят, будто не пара их там, а целая стая. Оно понятно: на детей посягают! Одна попытка, другая — и вот наконец добыча у моих ног. Лопатой убил, рядом валялась. Дальше — на автомате, к тому самому шесту привязал, шест в землю воткнул — бойтесь!

Присел на скамеечку, руки трясутся, взмок, будто на тяжелой работе. Добился своего, победил, а на душе погано сделалось. Кого победил-то, птенца! «Ну не было другой возможности, пойми! — успокаивал себя. — Сколько бы они птичьих душ загубили, останься здесь всем семейством, сколько помидорин издырявили!..»

Вороны плакали несколько часов кряду; ну я уже говорил: у них едино — что плач, что ругань. Изгадили мой жигуленок, выпростав себя, насколько смогли. Надоело их слушать, тошнехонько, и я уехал в город.

Вернулся через пару дней, завершив городские дела. Ворон не было, шест с вороненком на месте. Тишина? Нет же, птички поют, на разные голоса! Раньше не обращал внимания или вороны слышать не давали? Эта последняя мысль могла бы примирить меня с тяжелым осадком в душе.

Тут Валера вышел из-за своей ограды:

— Слышишь, птички поют! Тебе благодарность от всей улицы, я их на экскурсии вожу — вот, говорю, спасибо соседу. Теперь нету ворон, не слышно.

Где-то во второй половине дня появился сосед с другой улицы, наши с ним участки сходятся задами.

— Это ты ворону убил?

— Ну, я.

— Зачем, что она тебе сделала?

Я начал было про птичек, но он не дал досказать:

— Ты негодяй, подлец! Убери немедленно — выставил!

— Какое твое дело, старый дурак! — не сдержался я.

— Ты в Афгане не был, иначе знал бы... Убери, говорю!

— У себя в огороде командуй, что убирать, что выставлять!

Сосед плюнул себе под ноги, отвернулся, а я подумал про него: «Когда наши войска уводили из Афганистана, тебе было под шестьдесят или около того, какого хрена ты там делал в преклонные-то лета? Чего ради приплел?» Ему девяносто на подходе, это я узнал от его сына, пенсионера уже, изредка наезжающего помогать отцу. Он же рассказал, что дед в свое время оставил этот сад невестке, жене старшего сына, но та, покопавшись год-другой, бросила участок, тот зарос, задурнел. Пришлось старому возвращаться, наводить порядок в запущенном хозяйстве.

Сижу на своей скамеечке перед домом, слушаю птичек. Вороны, завершив утренний облет, улетели: очевидно, встречаться со мной не входило в их планы. Страх. Неспроста гонители ворон выделили его как самое

эффективное средство в борьбе с ними. Страх смерти. Ведь то же самое и человек — нет для него ничего страшнее этого страха. Считается, ворона — одна из самых умных тварей из окружения людей. Опять же, с чьим разумом сравнивать? Конечно, с человеческим. Говорят, эта крикливая птица даже будущее видит. Интересно, каким образом удалось это выяснить?

Мой участок расположен на середине большого подъема-тягуна, — как здешние говорят, «на полгоры». Выше обе стороны улицы заселены, участки ухожены, а вниз по моей стороне — один, два, три, четыре... — да все пять до самой главной дороги брошены. Жуткое это зрелище — некогда обихоженная человеком, а затем оставленная им же земля, будь то сад, усадьба или целое поселение.

Вечером позвал Валера.

— Разве что чаю с тобой выпить, — ответил я на приглашение.

На мангале жарилось мясо, на столе — полторашка пива и початая бутылка водки. Хозяин, очевидно, довольный прошедшим днем, вдохновенно крошил огурцы и другую зелень для салата. «А бывает ли когда он в унынии?» — задал я себе вопрос. Нет, пожалуй, не тот человек. Ростом под сто девяносто, крупный, с мощной шеей, крепкими плечами, с кулаками-гирями, он напоминает медведя. Выпьет — маленького, забавного медвежонка, трезвый, когда на работу собирается, к примеру, — взрослого, серьезного. Но никогда (я, во всяком случае, не видел) — свирепого, грозного.

— Вот! — со счастливой улыбкой показал он небольшую помидорку. — Саня придет — пробу снимать будем, первая!

Тут и Александр явился, легок на помине.

— Это не тебя ли ночью я видел? — спросил его хозяин. — Вышел по нужде, гляжу, кто-то в кустах твоих мельтешит. А уж времени — луна светить устала.

— Кого ж еще! — Александр озабоченно потер подбородок. — Как там у Расина: «То было в ужасе глубокой ночи...»

— Опять кролики?

Вопрос остался без ответа.

Выпили за помидорку. Валера с сожалением посмотрел на бутылку.

— Сегодня лишку не буду, утром на работу ехать, ментов приветствовать. — Он вздохнул, перевернул решетку с мясом. — И ведь не на кого оставить. Димка, зять, толковый, обязательный, мог бы, — так нет, на севера подался, на заработки. Это муж Ольги. Она у Людмилы от первого брака, и еще одна есть, оттуда же. Выросли они обе при мне, так что мои и есть. У меня-то от прежней сын, а общий у нас вот этот здоровый, вы его видели — Артем. У меня работает. Мешки с мукой, говорю, вот так, рядами составь. Показал. Приезжаю — мешки как попало разбросаны. Сменная мне — и хихикает, зараза! — «так у него же силенки нет один на другой поставить». Во как! В качалке железо ворочать сил хватает, а тут... Зову. Смотри. Подсаживаешься, берешь мешок за края и ногами выгалкиваешь наверх. Ногами, не спиной, спину беречь надо, потом скажется.

Перед входом на веранду важно прошествовал откормленный бело-серый котяра.

— Откуда? — удивился я. — У тебя вроде не было.

— Да хоть откуда, им тут воля вольная, заборы-то нарощечные или вообще нет.

— О! — Александр привлек наше внимание к телевизору.

— Сегодня в Париже столбик термометра поднялся до сорока шести градусов, — сообщила ведущая.

— Угу! Пусть пожарятся! Европа, твою мать!

Скорее всего, таким образом Валера отнесся ко всему европейскому сообществу, которое вместе с Америкой, по его мнению, достало уже Россию.

— Сегодня днем в городе тридцать три было, — вспомнил я. — И завтра обещают столько же, и на последующие три дня. Сгорит все, земля как камень. На той неделе, правда, дожди обещают.

— Ну вот! — оживился Александр. — Бояться нечего. Как указывал Гераклит: «Солнце не перейдет своей меры».

— Книжная твоя душа! Представляешь, — обратился Валера ко мне, — у него здесь библиотека, дома все стены в книгах. И у детей то же самое, те давно бы уж все книги на помойку снесли — не дает!

Сад. Одиночество. Зачем я здесь? Зачем это все? Городские земледельцы, каждый второй — садовод. В этом есть что-то помимо простых, очевидных объяснений — древней тяги к земле, желания создать продовольственные запасы, неудовлетворенного чувства собственника... Возможно, здесь присутствует некий фетиш полезности, ведь большинство не удовлетворено своей деятельностью на работе, службе, многие заняты не своим делом. А на садовом участке всякое дело кажется своим. Еще — лень в постижении смысла жизни, она дает самую легкую подсказку: бери лопату! Редкий человек устроен иначе, а обычно так: взял лопату — и думаешь о лопате. Отвлечение от непомерных нагрузок, от необходимости заняться чем-то по-настоящему серьезным. А может быть, отчасти и так: пыл преобразователя — смертоносное влечение человека, вот что он, не сознавая толком, остужает в себе, вгрызаясь в этот крохотный клочок земли. Парадокс? Дело в том, что в природе парадоксов нет, они появляются только в процессе познания, когда логика исследователей вступает в противоречие с логикой мира.

Кедр запустил свои ветки в провода, это опасно. Мы с Валерой (у меня две руки, а Валерины заменят четыре) решили обрезать нижние ветки с запасом — куда достанем. Сосед притащил бензопилу, стремянка у меня своя. Надо со стремянки взобраться на крышу — а уж тяжелы оба, неповоротливы! А что делать? Валера, по статусу молодого, полез, я страхую. Предварительно я отогнал машину со двора, ветки будут падать на ее место. Работа оказалась недолгой, обкорнали мы лесину до той самой ветки, где сидели воронята, высоко.

— Прямо под полубокс, — оценил Валера.

Потом он распилил толстые ветки на дрова для бани, а я расчистил двор от хвои.

Оглядел пространство возле кедра и обнаружил, что корневой отросток толщиной в ногу взрослого мужика, набирая силу, приподнял плитку, которой вымощена дорожка к дому. Надо же, раньше не замечал. Снял плитку, очистил корневище от земли и начал рубить его могучее тело. Тут мне пришлось повозиться, тугая корневая плоть поддавалась с трудом. Наконец вырубил столько, что смог уложить плитку вровень с другими. На том закончил.

Вечером сидели за легким вином. Валера неудовлетворенно крутил головой, поглядывал на Людмилу. Та выдержала паузу, вздохнула и ушла в дом. Вынесла рюмку, наполненную прозрачной жидкостью.

— Самогонка! — воскликнул Валера, и тут же: — И где это у тебя заначка?

— Ага, так я тебе и сказала! Вон вино с мужиками пей.

Сама она попивала настой из мелиссы, листьев малины, смородины, лимонника... Все это перечислил Валера с гордостью, ибо названная зелень произрастает у них в саду.

— Чучело! — рассмеялась Людмила. — Лимонник возбуждает, все остальное успокаивает, стала бы я их смешивать!

Александр разглядывал этикетки на бутылках:

— Краснодарский край, станица Старотитаровская. С юга, виноградники рядом, — стало быть, пить можно.

— А то б вы оставили, если б с севера! — усмехнулась Людмила. — Да и это не факт, что настоящее. Сейчас, говорят, все из порошка готовят.

— Точно! — оживился Валера. — Свое надо делать, правда, Людочка?

— Правда, но ты не мылься.

Как бы там ни было, хозяйская гордость взяла верх, и Людмила вынесла маленький графинчик с домашней вишнежкой. Она оказалась ароматной, сладкой и не очень крепкой — типичный дамский напиток. Валера снова протяжно вздохнул и отправился в дом.

— Не шарь там! Все равно не найдешь! — напуговала его жена.

В образовавшейся паузе пробился голос телевизора. Показывали заманчивую жизнь на далеких райских островах. Белые пляжи, белые яхты, белые острова, стройные загорелые женщины... Смотрим, замороженные этой красотой, а тут она и кончилась. Оказалось — реклама.

— Я в журнале «Москва» прочитал, — Александр отвернулся от экрана, — статья называется «О простоте», автор Жутиков. Там не столько урок нового, сколько подсказка, что мы не усваиваем ни старое, ни новое, ничто нам не наука, а природосообразность — метафора, не более того. Как раз простого не понимая, все усложняем путь в небытие. Важность второстепенного — это зачастую непосильно для нашего разума...

— Саня, — обратился к другу Валера, — вот скажи мне, ты все подряд читаешь или по выбору?

— По настроению, — коротко ответил тот.



Спал я плохо, спина донимала. Но под утро — как провалился. И снилось мне... Нет, это был не сон — какая-то отсроченная, отложенная, может былая и забытая, или каким-то таинственным образом встроенная в сознание, в самую мою суть — явь. Я видел себя, слышал себя, все было наяву — запахи, звуки, цвета, слова... Да, слова, я помню их до единого. Семинский перевал. Я иду по дорожке, набитой снегоходами. Миновав ослепительно белые холмы, вхожу в кедрач, помня, что надо обнять взрослое дерево и оно поделится с тобой энергией. Я выбрал кедр, который в полутора метрах от корня разошелся в два ствола, да так неохотно раздвоился, так тесно прижались эти стволы друг к другу, что можно подумать: когда-то молния ударила в дерево и расщепила его. Но выше — выше, так и не разойдясь далеко, они росли уже самостоятельными стволами. Я обнял дерево. На высоте моего обхвата ствол был еще один, и я обратился к нему:

— Брат мой! Не хочу передавать тебе мои недуги, но прошу поделиться со мной твоей силой. Я много не возьму, зачем? К тому же и тебе самому нелегко, вот и корень один на двоих, и вышел ты к самому краю леса, на ветер, на секущую непогоду, заедает тебя, отнимает силы этот назойливый, неистребимый мох, лишайник уснея. Брат, а давай я буду третьим? Понимаю, в братья мне, самозваному, может и не быть дороги: я вдвое младше, чужак, ни статью, ни здоровьем не вышел. Но я буду любить тебя, уже люблю, а в братьях это необходимо, как без этого? Общее? Общее найти можно, если подумать. Тут тебе и одиночество на миру, и жизнь на ветрах и переменах, и болячки... Вон, понадобилась кому-то из людей растопка, вонзили жало топора в тело, в смоляной потек, и не спросили, отчего он тут, почему выкатилась твоя янтарная слеза. О чем ты плакал, брат? О чем ты плачешь?.. Я тебя обнимаю. А многие ли из проходящих притронулись к тебе? Разве что взглядом проводят. Нет, я понимаю, слишком мало исходит от меня, чтобы братом назваться...

Но — чу! Зашелестела ткань на плече, ветка пригнулась и тронула мою куртку. И с чего бы — ни ветерка, ни легкого вздоха в застывшем воздухе!

— Это ты! Ты заговорил со мной! Ты простил мою навязчивость и бесцеремонность. Ты добр и великодушен, потому что велик. Знаю, сейчас скажешь: «Ты же уйдешь сию минуту, отправишься в свои далека, исчезаешь в пространстве, а нам тут доле вековать. Но возвращайся, приходи, положи мне руку на плечо, и я протяну тебе свою. Брат!..»

Меня вытолкнуло из сна, как пробку из бутылки с шипучим вином. Что это было? Как это? Долго не мог я опомниться, прийти в себя, а придя, так и не понял, как *такое* возможно?

А солнце уже высоко, никогда так поздно я не поднимался.

До полудня не хотелось выходить на свет божий, что-то не пускало из домика. А когда вышел, увидел, что весь ствол кедра залит смолой. Она натекла из больших и малых срезов в таком обилии, что казалось, кто-то сторонний взял и пролил из огромного ведра эту тягучую прозрачную жидкость. Кедр лечил свои раны. И плакал.



После недельного отсутствия появился сосед, отругавший меня за ворону.

— Вы извините меня, пожалуйста, я слишком грубо тогда...

— Да чего там, я уже забыл. — Честно сказать, я был удивлен.

— Нехорошо, извините, — повторил он. — В Афганистане их мало, ворон этих, мы их разведчиками называли. Увидим, где выются, — ага, там, значит, поблизости духи, — обходим это место. Считай, жизнь нам спасали.

Дед потоптался еще немного у забора, словно добавить что-то хотел. Но смолчал и отправился вглубь сада. А я не решился спросить, что же он делал на афганской войне в столь преклонные годы? Так до сих пор и не знаю ответа.

Пошли дожди. Как и положено по старому природному календарю, которым давно уже пренебрегла наша земная действительность. Раньше — как закон: вторая половина июля — дождь. Старики так его и называли — сеногной. Время косить, трава в колос начинает идти, а тут тебе и небо прохудилось. От обилия воды земля набухла, потяжелела. Мой огород «поехал» к соседям, на брошенный участок. Тут у меня самое уклонистое место, надо как-то закреплять, а как?

Позвал Валеру. Он глянул и, ничего не сказав, пошел к себе. Появился минут через десять, волоча металлический борт от грузовика, видно — тяжеленный.

— Ты хорошо подумал? — подхватил я край ноши. — Таким добром не разбрасываются.

— Да лежат без дела уж который год, все собирался...

Он не стал досказывать, что же собирался делать с этим бортом, пошел за следующим. И так семь ходок, семь бортов, аккуратно всю аварийную часть периметра загородили. Быстро как-то у нас все получилось, ловко.

— Вот это голова! Вот это руки! — не сдержал я восхищения.

— Так кто на что учился, — скромно подтвердил свои достоинства Валера.

А учился он, как мне было известно из наших разговоров, в политехническом на факультете «Машины и аппараты пищевой промышленности». Поработав, стал разбираться в мельницах самых разных конструкций, начал ездить по всему краю: где монтаж нового оборудования, где ремонт старого. За делом рассказал мне, как приехал в село, где наладкой занимался немецкий специалист. «За валюту наняли», — шепнули ему на ухо. «Ты, валютный, отойди-ка», — потеснил его Валера, понаблюдав за тщетными усилиями иностранца. Тот — ругаться: половина немецких слов, половина наших. Оказалось, при комплектации оборудования кто-то или специально, или нечаянно перепутал на шильдиках порядковые номера. Ну откуда немцу догадаться, такое разгильдяйство только русский разберет!

Много чего рассказал в тот день Валера. Как обидели его, такого большого и сильного. Работал он главным специалистом на крупном зерноперерабатывающем комбинате. Пришло время квартиру получать, очередь

подросла, и дом готов к сдаче. И тут понадобился ему день среди рабочей недели для домашних дел. Позвонил своему начальнику: мол, так и так. Тот отпустил вроде бы с легким сердцем. И надо же, как на грех, директор Валеру спрашивает. Как — нет на работе? Значит, поступим следующим образом: ты ему прогул, понижение в должности — и вон из очереди!

— Шибко им эта квартира нужна была, — усмехнулся Валера

— Так это ж подлость!

— А кто сказал другое?

— И что — обиделся, ушел, в суд подал?

— Не, в партию не стал вступать. Они же все партийные, и мне сказали: надо, иначе вверх по службе не пойти. А у меня уже и заявление дома лежало. Порвал.

Валера глянул напоследок на итог нашего трудового подвига, перевел взгляд на посадки.

— Видишь вот, — смутился я, — трава...

— Э! Ты у других не видел! Разве это трава?! Хотя, если сравнивать с Санькиным огородом, у нас с тобой натуральное запустение. У того ни травиночки, морковочка к морковочке, луковка к луковке, все прорежено, все подстрижено — выставка! Он вообще, скажу тебе... Он... редкий, понимаешь?

Взгляд, обращенный в сторону участка Александра, потеплел, зажегся, и Валера в эту минуту превратился в медвежонок. Только что был медведь, вораочающий неподъемное железо, а теперь — медвежонок.

Надо как-то расплачиваться за помощь, за металл. Сдать его скупщикам — на пару ящиков водки потянет, не меньше. Денег Валера не возьмет, значит, все та же водка. Только подумал, что Людмила не одобрит подобный расчет, как от их домика донесся ее крик. Валера рыкнул в ответ — и понеслось. Ругались долго, истоиво, раньше такого на моей памяти не было. В итоге Людмила подхватила и умчалась в город на своей машине.

Я долго не решался пойти к Валере: пусть остынет. А когда заглянул на веранду, застал его пьяным с малым отступом от крайней границы. На столе пустая бутылка из-под водки и еще одна, чуть недопитая. Глаза красные, вразбег. Медведь тяжело ранен. На нем сорочка с короткими рукавами, тесная, она расходится на груди и животе, оголяя тело. Тесно ему, подумал я, инженеру, классному специалисту по серьезному оборудованию. Все его мастерство понадобилось для маленькой пекарни, из которой развозят хлеб по таким же маленьким магазинчикам, а в сезон еще и по садам.

— Садись, — пригласил он. Правда, получилось: «Аись!»

— Нет, Валера, и тебе бы посоветовал пойти прилечь. Хватит на сегодня.

— Угу, — быстро согласился он. — Щас.

И не тронулся с места.

— Ты меня слышал? Точно, пойдешь спать? Помочь?

— Не, сам, спокойной ночи! — «О-о-очи», — прозвучало.

Я ушел, сел на свою скамеечку лицом к розам, моей любви и гордости, цветам, которые, кстати, не требуют к себе особого внимания, зато цветут до глубокой осени. Розы приносил я той, далекой. Розы были на нашей свадьбе. Последний букет тоже был из роз, желтых, как она любила. Вспоминая, просидел до темноты и, уже собираясь пойти в домик, услышал из-за Валериного забора мощный его голос. Странно, вещал он вполне разборчиво:

— Хочу жить как весь мой народ! Жизнью народа жить хочу! Смотреть по телевизору Аллу с этим ее... с «Арлекином», Виталину и «Спокойной ночи, малыши»!

Живой, подумал я, побузует — спать ляжет. Народ!..

Следующим номером был вокал.

— На-а горе колхоз, по-од горой колхоз, — старательно выводил он. Ночь опустилась, все вокруг стихло. Вскоре затих и Валера.

Назавтра с утра он собирал смородину — выполнял, по его словам, самую ненавистную работу.

— Людка наказала, — буркнул.

А потом отправился к Александру обшивать баню. Обо всех своих перемещениях с некоторых пор он зачем-то стал сообщать мне.

Тем временем я собрал малину и сварил из нее варенье. Очередное нарушение традиции. Или еще один сигнал старости? До сей поры я варил варенье исключительно из дикой малины, лесной, а нынче вряд ли в лес попаду: нога едва ходит.

Управились Валера с Александром быстро. И весь оставшийся день я из своего огорода слышал их голоса. Наверно, баню обмывают, подумал. Вечером пошел занести кастрюлю, которую брал для варенья.

Мои соседи сидели за столом и пили чай.

— Присаживайся! Хочешь — с мелиссой, хочешь — с лимонником, есть обычный вот, цейлонский.

За чаем я рассказал им про деда, про Афган и про ворон.

— Так то каждый охотник знает: где вороны — там живое, движение, — подтвердил слова деда Валера. — А что-то я шеста с вороной у тебя не вижу.

— Да убрал я его, еще третьего дня убрал.

— А я читал у Валентина Распутина рассказ, называется «Что передать вороне?», — подключился к разговору Александр. — Там герой подзревал, что если и существует связь между этим миром и не-этим, так в тот и другой залетает только ворона... Кто его знает, писателю видней. Кстати, его герой говорит о вороне, что она добрая и разговорчивая, с задатками того, что мы называем ясновидением. Там в конце рассказа ворона ему сообщает, что дочь, от которой он уехал в свой домик на Байкале, заболела.

Он помолчал, повертел в пальцах чашку из-под чая, поднялся:

— Пойду я, засиделся.

— Посидел бы еще, сейчас свежего заварим, поговорим, время-то еще детское, — принялся уговаривать его Валера.

— Время, — задумчиво повторил Александр. — Времени слишком много, чтобы говорить о жизни, и слишком мало, чтобы жить. Знаете, Энгельгардту подарили на день рождения табличку с надписью: «Сегодня первый день твоей оставшейся жизни».

С тем он и отбыл.

Утро выдалось спокойным, тихим, даже вороны пропустили свой утренний облет. Впрочем, проснулся я поздновато, мог и не слышать. Днем они так и не появляются.

Розы мои в цвету, а вот помидоры никак не хотят поспевать. Ботва выдурила — лес непроглядный, а толку-то... Там, гляди, и осень не за горами, а дальше... Опустеет, обезлюдеет этот цветущий и плодоносящий уголок на четыре, а то и все пять месяцев. Виноград выращивать в Сибири научились, а вот лето продлить — не получается.

И вдруг до меня донеслись какие-то странные звуки. Вот еще, еще... Не то зовут кого-то, не то завывают, — странные звуки, незнакомые. Шли они со стороны Валериного участка. Я подошел к забору и увидел Валеру, бредущего по грядкам, по кустам, сминающего проволочные ограждения. Он выл, скорее рычал раненым медведем. Увидев меня, с трудом вытолкнул из себя:

— Саня помер! Друг мой лучший, брат! Представляешь, Анатолий?.. А я не представляю! Вот вчера, здесь... И не жаловался в последнее время...

Он беспрестанно повторял одно и то же, говорил и плакал, плакал и говорил.

— Утро — нету Сани, десять часов — тишина. Так-то давно уж объявился бы. Я до одиннадцати дотерпел, пошел... А он лежит... лицом в подушку... Не дышит.

Ночью меня разбудили крики, долетавшие через открытое окно. Я узнал Валерин голос, хотя тональность для него была необычная, кричал он призывно и как-то высоко, по-бабьи. Он звал и звал, повторяя:

— Саня! Анатолий! Саня!..

И было в этом крике что-то знакомое и далекое, из тех времен, когда мы ходили по ягоду и теряли друг друга в лесу, пугались.

Валера уехал хоронить своего друга, нашего с ним соседа по саду. Смерть не выбирает места. Все утопает в яркой зелени, в цветах, овощи созревают, яблоки наливаются... Умер человек. Его учила жизнь, учили книги, он стал умным, мудрым. Стал ли? Какое теперь это имеет значение! Ровные чистые грядки, морковка к морковке...

Вся земля под кедром усыпана шишками. На вид вполне созревшие, и все, как одна, в смоле, будто специально окунал их кто-то в нее. Шишки упали в июле? Где это видано! Пришло в голову, что кедр каким-то невероятным усилием сбросил их разом, как опостылевший тяжкий груз. На!!!

Беспрестанно лаяла и выла собака, потерявшая хозяина.

Откуда-то издали доносился вороний гай.

Константин ГРИШИН

ДЫМОК НАД ГОРОДОМ

* * *

Еще недавно — косы, банты,
Печаль, понятная уму,
Но над собой растут инфанты —
Приобретают шаурму.
У них метания и кризис,
Спецкурс, коллоквиум, зачет.
Так скука праздничная жизни
На стульях «Грильницы» течет.

* * *

Если я возвращаюсь к истокам
И в прозрениях время сквозит —
Приседает на хвост белобочка,
Предлагает отличный кредит.
Кто ты, птица? Откуда примчалась?
Объясни мне рыдающий вой.
Не дави, как девчонка, на жалость,
Не крути озорной головой.

* * *

Пиши отдельно «не» с глаголами
И на плакаты не глазей.
Рассолом, каплями, уколами
Лечись, кудрявый ротозей.
Тебя чему учили киники?
Что подходящий есть налог.
Любить по-русски — это клиника.
Вот «Беленькая», вот «Исток».
Сынок, налить еще компотику?
Сынок, наелся или нет?
Кругом развалины и готика.
Уральский университет.

* * *

Как первое бесхитростное эхо,
Бессовестная утренняя весть:
Ты полюбила парня с политеха.
Не ожидал, что это будет месть.
Я сочинял изящные куплеты,
Когда меня ударили под дых,
Из камня высек томный лик Джульетты
И головой страдающей поник.
Но сердце греет слабая надежда —
Листок, соломинка и светлая печаль, —
Что продавщица вин мои прикроет вежды
И увезет меня в Электросталь.

* * *

В мирах все призрачно и тленно,
Но не окончена игра.
Ты изучаешь постепенно
Ассортимент «Марии-Ра».
Здесь нет дешевого ликера,
Здесь нет дешевых сигарет.
Как говорил Сергей Майоров,
Здесь ничего почти что нет.

* * *

Бессонница тихо ласкает виски,
В полях наливаются ржи колоски,
Уснул губернатор в холодном поту,
Коты на окне, пароходы в порту.
Венера мерцает над снулой страной.
Парит на земле и парит перегной.
Не спят поэтессы, и девы не спят:
Смакуют коньяк и шинкуют салат.

* * *

Алтайский край. Дожди и грозы.
Висит над городом дымок.
На круизерах единороссы
Поедут в отпуск, в Манжерок.
А мы останемся в столице
Гулять по набережной, петь.
И дефилируют девицы
С ногами, скрытыми на треть.

Виктор ТЕН

ПУШКИН В ОДЕССЕ

Р а с с к а з

Весной Нэлли полюбовно рассталась с мужем. Странно звучит, означая «полюбовно перестали любить»; я иронизировал, она спорила: а как иначе?

Оставшись в однушке на пятом этаже, она продолжила свои художества. Незадолго до разрыва со своим теплотехником Нэлли увлеклась образом арлекина и начала заполнять им бесчисленные картоны, складывая их в бездонные тубусы, набитые пейзажами, портретами, натюрмортами, эскизами, — обычный багаж вечно начинающего художника. Нарисовав первого арлекина, которому попыталась придать трагическое выражение лица, Нэлли поняла, что нашла наконец-то свою тему.

— Горький пьяница какой-то, — оценил судьбоносную вещь Андрей, — и вообще: что это за мужик? Водишься с кем попало.

Теплотехника выводили из себя черные дыры тубусов, в пустоту которых проваливалась совместная жизнь, злило прекраснодушие жены, и он ушел.

Она работала во Дворце пионеров, вела изостудию. Однажды, говоря о динамике в древнегреческой скульптуре, Нэлли так увлеклась, что изобразила Миронова дискобола: как он стоит, прекрасный и неподвижный, и никогда не тронется с места, потому что Мирон скрупулезно рассчитал центр тяжести, и в этом, согласно ее мнению, заключался большой недостаток данной скульптуры. Иное дело менада Скопаса, представляющая собой не столько творение из камня, сколько запечатленный момент движения. Если менада не двинется, то упадет, потому что центр тяжести непредсказуемо смещен... И в этот самый момент Нэлли вдруг поняла, что у нее самой непредсказуемо смещен центр тяжести и что она упадет, если не сделает немедленно какое-то неизвестное ей самой движение. Она затеяла обмен жилплощади.

Появилось новое занятие: читать приходящие письма с предложениями, перерабатывать информацию, разыскивать на карте города, о которых до сих пор не слышала, вникать в бытовые детали — целый океан странной и неведомой ей жизни. Послания приходили разные, иногда

скучные, чисто деловые, лаконичные, а иногда даже очень забавные, как, например, от одного чудака из Мурманска, приславшего белую почтовую открытку, исписанную с двух сторон микроскопическим почерком.

«Чрезвычайно рад познакомиться с вами заочно, — говорилось там, — прошу написать подробно, каково местоположение Вашей квартиры, которую Вы хотите разменять, достаточно ли она теплая и насколько далеко расположены торговые точки, а именно: продуктовый магазин, а также не забудьте про “Фрукты-овощи”. Кроме того, нас с Омфалой интересует “Кулинария”. О “Промтоварах” можете ничего не сообщать. Баня!!! Обязательно: режим работы, часто ли закрывается на ремонт и какой пар: сухой или влажный. Вода!!! А именно: хлорируется или очищается более прогрессивными методами? Это архиважно. Самое главное (в открытке было подчеркнуто): во-первых, содержатся ли в городском зоопарке узконосые мартышки? Во-вторых, проживают ли в одном подьезде с Вами добренькие старушки?..»

Послание на этом не кончалось, в нем был по крайней мере объем небольшой газеты, но вопрос насчет старушек и мартышек повторялся как рефрен. Нэлли запуталась в конце концов, продираясь к смыслу с отбитым куском увеличительного стекла в руке: то ли ехать в зоопарк — выяснять, не содержатся ли там в клетках добренькие старушки, то ли бежать к соседкам — узнавать, нет ли среди них узконосых мартышек. Она, конечно, побывала не только в зоопарке, но также и в ближней бане, где честно испытала на себе пар, который оказался мокрым.

В свою очередь, она назадала любителю узконосых старушек кучу вопросов, на которые тот так же основательно ответил. Выяснилось, что любопытный северянин был отставным корабельным врачом. Причем юг нужен был не ему, а его обезьяне, которая, кроме всего прочего, нуждалась еще в хорошей бане с мокрым русским паром, доброй старушке для присмотра во время отлучек хозяина и в самцах для случек.

Нэлли уже совсем сидела, что называется, на чемоданах, готовясь к отъезду на край земли, когда ее Brieffreund вдруг написал, что нашел вариант непосредственно в Сухуми. Там, в Сухуми, просто обезьяний рай. (Каково ему пришлось в том эдеме, вскоре охваченном войной?! Жив ли? Обезьяна жива ли?) Так без толку пролетела весна, в школе наступили каникулы. Все дни напролет Нэлли проводила за мольбертом, рисовала все менее и менее похожих на самих себя арлекинов, со сладострастным ужасом наблюдая за неуклонной деградацией своего творческого начала.

Однажды она обнаружила дискотеку в парке и там ее захватил ритм — в моде тогда был стиль механической игрушки, эстетика нарочито неловких, угловатых телодвижений, которой ей даже не надо было учиться, настолько она была, что называется, «в материале», создавая свою арлекинаду. Прошло достаточно много времени, прежде чем Нэлли поняла, что танцует, и танцует хорошо, привлекая внимание бездарно топчущей деревянный помост молодежи, самые старшие представители которой были моложе ее как минимум на пятилетку качества, что в условиях ускорения и перестройки выросло в целую пропасть... Осознав это, Нэлли



выскользнула из плотного круга, в который ее уже успели затанцевать неизвестно откуда взявшиеся малолетние поклонники, и побежала домой, не отвечая на вопросы.

— Подождите, не бегите так быстро, — вдруг окликнул ее мужской голос. — Разве вы не понимаете, что в толпе мы можем потерять друг друга?

Нэлли резко обернулась, чтобы раздраженно бросить «Отстаньте!», но, увидев показавшегося знакомым человека, передумала. Человеком этим был я, немедленно воспользовавшийся ее растерянностью для того, чтобы наконец-то представиться.

Мы были знакомы заочно уже не один месяц, а иногда даже виделись. Я снимал комнату в частном секторе у ее бабушки и дедушки, которых Нэлли при мне пару раз навещала. Старики почему-то нас не знали, полагая, наверное, что замужней женщине не к чему знакомиться с холостыми мужчинами.

Старики... Какие такие старики, когда энергия из них была ключом! Они были знатные охотники, Диана и Пан.

Каждую ночь они неизменно вставали, зажигали в кухне и в своей комнате свет и занимались самым неблагоприятным из всех занятий: гоняли тараканов, вооруженные: она — веником, он — сложенной газетой. Тараканы — огромные, как майские жуки, прусаки, под громкое шуршание которых я настолько научился засыпать, что без тараканов сон не приходил, — начинали носиться по всему дому с веселым топотом и зачастую даже забегали в мою комнату, но тут же выскакивали, ошпаренные холодом; иногда мне казалось, что слышу их озорной смех.

Добыча старухи за ночь состояла из трех-четырех насекомых. Дед, как правило, не побивал никого, хотя много суетился, хрипло матюкая лихих усачей, чьи крепкие бурки-надкрылья легко переносили удары сложенным «Трудом». Трупы павших старики выметали в сени подальше от глаз жильца.

Диана под утро ложилась спать на кухне у печки. Пан, возбужденный охотой, гордящийся ловкостью боготворимой супруги, долго еще шаркал валенками по полу, шепеляво произнося ее имя, как христословие:

— Маш, а, Маш?.. Спишь, нет ли?.. А? — или нет? Кака ж ты у меня, а!.. Ох, Маш, Маш... Ничего ты не знаш, Маш!.. Ничего ты не знаш, Маш, как я тебя люблю!

Диана знала и слышала сквозь чуткий сон охотницы, но привычно не реагировала. Нисколько не возбуждали ее также фетишистские проявления страсти Пана, который начинал уцеловывать ее старушечьи исподники, разложенные на печной плите. Там баба Маша регулярно оставляла на ночь: теплые трусы с начесом, шерстяные колготы, которые называла «гамашами», натянутые на них самовязанные толстые шерстяные носки. Все это аккуратно, чтобы не разрушить продуманный ансамбль, снималось на ночь и строго послойно располагалось на плите двумя выразительными кольцами, с перетяжкой в виде мотни, для равномерного и надежного прогрева, чтобы утром можно было надеть теплое и сразу браться



за дела: за дрова, кур, кошку, маленькую шавку, ибо дом, несмотря на хозяйские замашки старика, держался на старухе.

Факт, что ее пустосуетный муж за всю жизнь не утратил чувства хозяина и мужской гордости, говорил о великом женском уме бабы Маши. Я не встречал более умного человека, чем эта безграмотная женщина.

Иногда разгоряченный ночной охотой Пан долго не мог успокоиться. Он тихонько, как казалось ему, давно уже не слышавшему даже шарканья собственных валенок, — самый невыносимый, между прочим, звук — подбирался к спящей жене...

— У-у, бесстыжий! Чтоб тебе повылазило! Вот дурак так дурак! Сгинь, а то я щас веник возьму! — бранилась неосторожно разбуженная старуха. — Щас я тебя, как таракана того!

Охальник смущенно и одновременно по-мужски нагло хихикал, прерывисто дыша и заходясь в приступах кашля:

— Кака ты, Маш, скаженна! Кхэ-кхэ-кхэ... А помнишь, Маш, как у нас бывало?! Э-э-х!.. Спи, золото мое. Спишь, нет? А? — или нет? Ты ж со мной за жизнь ни разу не выпалась, скажи, Маш, а — или нет? Хе-хе-хе!.. Разве ж я тебе спать давал когда? Э-э-эх! И что ты не встанешь хотя б разок перед смертью, подлый?! Уж я-то тебя как в жизни баловал! За десять верст по бабам бегал, когда тебя прихватывало! — по-детски непосредственно менял дед собеседника.

— Кобель чертов, — беззубо шепелявила старуха сквозь сон, — всех баб перепортил в округе. Честных баб не осталось через тебя, ирода.

Дед, давась приступами циничного мужского смеха, переходил на всхлипы кашля.

Хозяйка была высокая, седая как лунь, и при этом чернобровая, гордящаяся вставными челюстями, которыми, к моему восторгу, разгрызала два грецких ореха одновременно; дед — маленький, щупленький, суетливый хозяйчик, исполненный самодовольства, что у него такая бравая жена, прокатавшаяся за ним, как блин в масле, всю жизнь и потому не утратившая привлекательности до сих пор. В доме имелись две печки, но топилась лишь одна, и я закалился за холодную весну, как кембриджский студент. Когда я открывал дверь своей комнаты, дед кричал:

— Мальй, ты зачем сквозняк устраиваш?!

Я пытался объяснить, что сквозняк происходит от слишком большой разницы температур между двумя половинами дома. Дед этого не понимал настолько искренно, что безоруживал всю требовательность жильца, покладистого еще и потому, что старики в меру сил о нем, то есть обо мне, заботились и вообще не выглядели в быту жлобами. Иногда наливали супа и почти насильно усаживали за стол. Если б я легко давал себя уговорить, наверно, наливали б чаще; было трогательно, лежа в своей комнате на кровати, слушать их перешептывания: «будет — не будет?»

Добрые старики вплоть до самого расставания так и не поняли, что я знаю о существовании тараканов и ночных тараканьих ристалищах, и пребывали в уверенности, что умело содержали жильца в холе и чистоте.



Их убежденность была прекрасна в своей наивности, как сокращения, применяемые в надписях древнерусских икон.

Прусаки у хозяев были настолько тучные, что, наверное, превосходили египетских священных скарабеев. Когда они однажды в мое отсутствие добрались до сахарницы, кусковой сахар стоял от их мочи и одно чудовище с метровыми усами увязло в сладкой жиже, дав возможность испытать азарт охотника также и мне.

— Попался, негодяй! — хрипло воскликнул я, как старик ночью, когда небожно попадал по умирающему от смеха таракану. — Ишь усищи отпустил, поручик Ржевский!

Он был абсолютно спокоен, этот парень, сделавший, что хотел, а дальше будь что будет. Стоический таракан. Я взял его за усы и отпустил восвояси. Будь он маленький, я б его раздавил, маленьких рыжих я раздавил в своей жизни армады, но он был большой, а это уже убийство. В этом деле размер имеет значение. Уподобляться мясокомбинатовским убойцам не было никакого желания. Да и зачем? Не станет тараканов — не станет у стариков ночной жизни, и что им делать, особенно старику?

Об убойцах с мясокомбината мне рассказывал Петя Оптать, мой одноклассник, с которым мы нечаянно повстречались на улице. Было время, когда я помогал ему в математике, а потом его мать, тетя Маруся Климова, была лишена родительских прав и Петю отправили в детдом. После выпуска он оказался на улице, квартир тогда сиротам не давали, жил в подземном коллекторе и работал на мясокомбинате. Рабочие убойного цеха в белых халатах, густо забрызганных кровью, наводили на него ужас. Они почему-то всегда орали в столовой, а не разговаривали. Петя был тихий и поэт.

Когда в кромешной тьме звонарь
Ступает лестницей убогой,
Не светоч для него фонарь.
С тупым усердьем ставя ноги,
Как тяжелы его шаги,
Звонарь не слышит: слава Бога,
Оглох. Темна его дорога.
Той лестницы крутой круги
Преодолев, едва не умер.
Пал ниц — загадочен, нелеп...
Он видел Бога — и ослеп.
Он знал его — и обезумел.
Затишье, мрак и вот — динь-дон!.. —
Собой веревье тронул он...
...Разбудит все мои печали
Судьбой обиженный урод,
Который и во мне живет,
А вы душой его назвали.

Петя начитанный был по гуманитарке, а математика ему плохо давалась. В спорах меня за пояс затыкивал и, что интересно, в карты обыгрывал всегда. Стихи по журналам рассылал и не терял надежды. На мясокомбинате за ним закрепилось погоняло Оптать, потому что он вставлял это слово в конце каждого предложения.

...В отличие от своей бабушки, готовить Нэлли не умела, что доказала в первый же вечер, пожарив кальмаров на майонезе, который, разложившись на составляющие, сделал блюдо на вид малосъедобным, но это не помешало нам с аппетитом и есть, и любить. Я увлек ее танцевать, но после нескольких па она отстранилась:

— Я никогда не танцевала голая!

— Муж партийный был, что ли? — спросил я.

— Не ругайся, — сказала она.

На другой день Нэлли решила на демонстрацию кулинарных способностей, разыскала в кухонном шкафу пачку полуфабриката кекса, разбодяжила, сунула в духовку и сожгла.

Я прокомментировал:

— Кекс «Туссен Лувертюр, черный консул»!

Она хмыкнула.

— Он себя консулом называл, — продолжал я, — потому что на Наполеона хотел быть похожим. Сейчас сделаем наполеон. Где у тебя рашпиль?

Рашпиля не оказалось, пришлось обойтись мелкой теркой. Соскреб пригар, разрезал на слои, смазал сгущенкой, сложил друг на друга — и на столе оказался аппетитный слоеный пирог.

— Торт «Наполеон, белый консул»! — торжественно возгласил я.

Нэлли расхохоталась, да так, что — женщины, конечно, не поверят, такого не бывает никогда, потому что никогда не может быть, — легонько пукнула, потом ойкнула, потом — тут никто не поверит, ибо действие было бессмысленно — зажала рукой рот, который был не при делах совершенно.

— А здесь мне поддержать? — спросил я, потянувшись к ее ягодицам, тут мы оба расхохотались и переместились в постель.

На третий день она рассказала о своем горе: что за три года супружеской жизни не смогла забеременеть, и ни одна девчонка с их курса еще не родила, потому что в университетские годы девчат возили убирать картошку. Дело, разумеется, не в картошке, а в закрытом объекте на станции Зюрзя, вблизи которой они ежегодно в сентябре ползали по полю.

В то время наблюдательный Гена Шнайдер из Севастополя, человек в годах, который поступил в универ почти в тридцать, обращал их внимание на странность охраняемого объекта, где не было ни одного строения, только высокий бетонный забор и вышки для часовых. Рыжий долговязый неформал Гена погиб в автомобильной аварии в Севастополе, на каникулах.

Спустя годы из перестроечной передачи Нэлли узнала, что это за объект: первое в СССР хранилище радиоактивных отходов, организо-



ванное Берией. В передаче показали пять ее однокурсниц, которые плакали и говорили, что они бесплодны. Что мне оставалось делать, кроме как делом доказывать свое участие в ее судьбе?

Этот интенсив, напоминавший гон диких животных по весне, продолжался несколько суток, в течение которых мы забыли, что они делятся на день и ночь. Однажды ночью, приустав от любви и сильно проголодавшись, она отправилась на кухню с намерением сварить суп. Надо ли объяснять, что все эти дни мы питались всухомятку за неимением времени, хотя однажды я выскочил на полчаса к Пете за мясом. Он доброго мяса дал, филе говяжье. Нэлли достала его из холодильника, поставила вариться, а сама тем временем скользнула в ванную в облаке полотенец.

Нэлли нежилась в теплой воде, блаженно прикрыв глаза, вся во власти грез, содержанием которых была — как она потом рассказала — искусственная тоска по мне, как будто я ушел навсегда, заставив ее страдать... и как вдруг, выйдя из ванной, она находит меня в комнате лежащим на диване и точно так же грезящем о ней. И мы вновь обретаем друг друга, сливаемся в одно нераздельное существо, в андрогина, образ которого она обожала, все ее арлекины были андрогинными созданиями. Так она сама себя сладко обманывала, то замирая от ужаса потери, то балдея от умопомрачительного ощущения близости любви. Подобные фантазии были для прекрасной души Нэлли чем-то вроде настоящей жизни, она пересказывала их как *события*, а подлинная сторона жизни ее, наоборот, интересовала мало. Это нас даже сблизило, хотя мое мироощущение, что все вокруг — ненастоящее, что настоящая жизнь гораздо проще, не столь фантастична и замысловата, — было принципиально иным, прекраснотушия в нем не было, скорее стоицизм ранней Стои, не столь умной, но конструктивной. Позднюю Стою я никогда не любил за ее угрюмую мнительность, напоминающую философию ослика Иа-Иа.

Она нежилась и наслаждалась страхами, порождающими щемящее чувство потери, пока не надоело. Выйдя из ванной, Нэлли вспомнила о вареве, вернее, вспомнила, что она о нем, как всегда, забыла и побежала на кухню, где увидела, что в кастрюле, как птеродактили в первобытном океане, истерично мечутся рваные хлопья — заварившаяся накипь.

Вооружившись шумовкой, она подступилась к кипящему бульону, намереваясь переловить всех птеродактилей по одному, — ее бабка птеродактилей отцедила бы или вообще не стала бы с ними связываться, — но Нэлли не была похожа на бабушку, скорее на деда, в том числе пристрастием к сексу. Любила, чтоб неотвязно, подолгу, но без особых фантазий. Она провела над кастрюлей за занятием, напоминающим прихлопывание тараканов «Трудом», минут десять, пока ее не осенила гениальная мысль. Нэлли прибежала к дивану, растолкала меня и спросила:

— Ты был когда-нибудь в Одессе?

— Нет, — ответил я, с удовольствием осознавая, к чему она клонит.

Всю жизнь любил неожиданные отъезды. Еще будучи студентом и сидя в лаборатории над черепками, мог неожиданно встать, выйти из

универа и уехать в другой город, снять там койку в дешевой гостинице и пожить два-три дня.

Уже на другой день мы были в Одессе, совершив стремительный перелет через Москву.

Одесса — это не место, а шоу. Настоящий одессит прежде всего сообщит вам, что в Одессе много евреев, все евреи, кроме него, и поэтому только у него можно так снять квартиру дешево... пять с полтиной в сутки — и спать на общей кровати с другими постояльцами. Весь дом представляет собой кровать под крышей, зато евреев среди сокоешников нет. Перебрав несколько антисемитских пристанищ, мы остановились у носатой старухи, убежденной не-еврейки, что было ее единственным достоинством, сомнительным весьма. Она достала нас разговорами, какие у нее чистые простыни. Разве у евреев такие бывают? А тарелки? Она ходила за нами с большим кухонным ножом, демонстрируя, какой он чистый. Смеялись мы только в первый день, уже во второй сбежали на экскурсию, ибо с погодой не повезло, солнца почти не было, о пляже можно было только мечтать.

Над привокзальной площадью висел, не падая, мелкий дождь типа «морок тривиальный». У края площади, где на тротуаре сгрудились ветхие сооружения экскурсбюро, мок экскурсионный троллейбус, благодаря погоде полный. Жертвы массового советского туризма с отчаянием глядели в грязные окна, проклиная непогоду и экскурсовода, заставляющего себя ждать. Наконец, в безбожно хрипящий микрофон объявился экскурсовод, обратив на себя дружные взоры, — женщина среднего возраста, среднего роста, средней полноты с далеко не средним носом, не-еврейка, разумеется (это она подсутилась сообщить как бы между прочим). В одной руке у нее была огромная хозяйственная сумка.

— Здравствуйте! Вы все, конечно, из провинции...

Многообещающее начало, которое не обмануло. Мы с Нэлли животы надорвали на той экскурсии.

— Я познакомлю вас с замечательным городом Одессой, — продолжала экскурсовод, — в котором неоднократно бывали великие люди, включая самого Пушкина. Александр Сергеевич Пушкин — великий русский поэт, который воспел Одессу.

Чего не знали, того не знали. И Пушкин не знал, как вырваться из объятий прекраснородного новороссийского генерал-губернатора. Нарочно устраивал эпатаж. Железную трость таскал, извозчиков ею бил. Корешился с контрабандистами, а одному из них, мавру Али, запрыгивал на колени и дергал того за усы — к ужасу придворных воронцовских дам, сообщавших наместнику о недостойном дворянина поведении поднадзорного Пушкина, которого граф неосторожно взял под опеку и защиту. Пушкин в ответ сочинял на дам такие эпиграммы, что чопорного Воронцова, воспитанного в Англии, столбняк хватал. Никак не хотел Пушкин быть хорошим парнем, воспевать Одессу и генерал-губернатора, не думал о последствиях. Его за это все в псковскую глухомань загнали без права печататься.



— Наша экскурсия начинается с лучшего в мире железнодорожного вокзала, — продолжала экскурсовод в хрипящий микрофон, отвернувшись от подопечных. — Сейчас мы проезжаем по бульвару Тараса Шевченко. Тарас Шевченко — это украинский поэт, который ни разу в Одессе не бывал. Его именем названы бульвар и площадь. Бульвар — это улица, на которой много зелени. Что? Ну знаете, я не виновата, что троллейбус... Повернуться к вам?! Этого еще не хватало! Итак, бульвар это... Это я уже говорила. По озеленению Одесса занимает первое место в Союзе среди... При чем здесь Киев? Я сказала: среди крупных городов: Одесса, Москва, Ленинград. Особенно красив наш город летом...

Она извлекла из необъятной сумки смятую бумажку:

«Червонное золото светящихся лучей ярко просвечивает сквозь изумрудную зелень бриллиантовых листьев, и их ажурные сочетания складываются в причудливое кружево, а над лазурной гладью моря парят белоснежные чайки, и алмазные россыпи брызг волшебным образом трансформируются в нежную радугу, перламутровые переливы которой жемчужно сияют над головами».

Пока она читала, троллейбус подкатил к «лучшему в мире пляжу Аркадия», которому в тот день хотелось, видимо, казаться наихудшим местом на земле. При одной мысли, чтобы здесь выйти, из глубин организма вырывалось: «Бр-р!..»

— Все видели?! — торжественно пропела экскурсовод, как будто демонстрировала величайшее в мире сокровище, к которому, на наше счастье, предпочла приобщаться из троллейбуса. — Водитель, разворачивайтесь. Мы снова проезжаем по бульвару Тараса Шевченко, который ни разу в Одессе не был. Александр Сергеевич Пушкин, который неоднократно бывал в Одессе, говорил, что вежливость украшает человека. Обращаясь ко мне, пользуйтесь словами вежливости, а именно «извините», «спасибо», «пожалуйста» и так далее. Червонное золото светящихся лучей, ах да, это я уже говорила. Что вас интересует? Надо же, и волшебное слово знает. Раиса Анатольевна меня зовут. Что еще? Ничего? Ну и молчите себе. Итак, мы проезжаем по бульвару Тараса... Слава богу, проехали этот замечательный бульвар и приближаемся к центру города. Справа вы видите лучший в мире университет, слева — лучшую в мире станцию прививок от бешенства. А теперь смотрим прямо. Что мы видим? Правильно, ничего. А когда-то здесь стоял кафедральный собор. Пушкин, который неоднократно бывал в Одессе, говорил: уровень развития общества измеряется отношением к памятникам культуры. Женщина, поправьте сережку, она у вас сейчас сорвется, я в зеркале вижу, потом не найдете, подберут и скажут, что так и было... Да не вы, в пятом ряду, что вы за свою бижутерию схватились? Женщина в третьем ряду с золотой сережкой, а ваша пусть падает, выметут и все. В Одессе такое не носят. Ладно, успокойтесь, что я вам сказала, что вы хамите? Я женщина, в конце концов. Пушкин, который неоднократно бывал в Одессе, говорил, что уровень развития общества измеряется отношением к женщине.

Мы приехали на Приморский бульвар, начинается пешая часть экскурсии, поблагодарим водителя и покинем салон.

Первой вышла сама Раиса Анатольевна, волоча сумку, в которой теснились буханок пять хлеба. Давая пояснения на ходу, экскурсовод крошила хлеб для голубей, которые сизой тучей следовали за нашей живописной группой.

— Вот здесь, — остановилась экскурсовод у мемориала, рассыпая крошки, — лежат герои войны, а там... Впрочем, там я уже покормила.

Далее мы узнали за лучший в мире памятник дюку Ришелье, потом обратились в сторону моря.

— Это лучший морвокзал в мире, — сообщила Раиса Анатольевна. — В настоящее время у его причала стоят наши лучшие в мире суда науки: «Космонавт Комаров», «Космонавт Титов» и... Еще какой-то космонавт... Этот самый!..

Она наморщила лоб и даже приставила к нему палец той самой руки, которой держала авоську с голубиным кормом. Другой рукой она заботливо держала над собой зонтик, что было далеко не лишним, так как дождь передумал висеть в воздухе и начал падать на наши головы, прикрытые далеко не у всех. Прошло минут пять, среди тридцати человек начали выявляться малодушные, которые были не согласны стоять под дождем до тех пор, пока экскурсовода не осенит космонавтом.

— Да бог с ним! Все равно забудем!

— Не положено! — отрубил экскурсовод. — Название корабля науки я обязана сообщить!

Начались подсказки: Леонов, Хрунов, Севастьянов... Елисейев, Гречко... Николаева-мать-Терешкова... Гагарин, наконец, хотя на него надежда была слабая. Кто-то припомнил даже Феокистова.

Непонятно почему, но этот космонавт пробил плотные слои забвения.

— Черт знает кого подсовываете! — возмутилась Раиса Анатольевна. — «Академик Королев» — вот название третьего корабля науки! Эй, вы! Я к кому обращаюсь? Да, я к вам обращаюсь! Что это вы там смеесть все время, прямо покатываете со смеху?

Она обращалась к нам с Нэлли, стыдила. Добила, разумеется, Пушкиным.

— Пушкин, который неоднократно бывал в Одессе, говорил: смех без причины — признак дурачины!

— Однократно, — сказал я.

— Что?!

— Пушкин был в Одессе один раз, не по своей воле и мечтал отсюда вырваться.

— Да что вы говорите?! — воскликнула экскурсовод и, не утруждая себя возражениями провинциалу, скрылась в сувенирном киоске, увешанном яркими открытками с видами не похожей на себя Одессы. Оттуда послышалось:



— Фаня, шибко выставляй неликвид, я таки тридцать лохов привела!..

...На другой день червонное золото светящихся лучей начало ярко просвечивать сквозь изумрудную зелень бриллиантовых листьев и их ажурные сочетания... словом, Одесса, умывшись, пришла в себя. Мы с Нэлли неделю провели на пляже, подобные чайкам, то ныряющим в море, то роющимся в куче отбросов, каковой — и богатой кучей! — стала для нас незабываемая экскурсия. Мы разыскивали жемчужные зерна одесского юмора Раисы Анатольевны и угощали ими друг друга, покатываясь со смеху по песку Аркадии, а я при этом держал в голове мысль, что обязательно расскажу Пете Оптатю, повеселю и его.

Возвратившись в Целиноград, я поехал к нему на улицу Танковую, пятый колодец, но не нашел своего друга в его убежище. Даже убежища не нашел: лежали рваные картонки на трубах и стоял какой-то смрад, похожий на трупный, но застарелый, с плесенью. Я поехал на мясокомбинат, где грузчики сообщили, что Петю арестовали. Потом мы разобрались, что арестовали Петю-мастера, а что касается Пети Оптатя, то...

— А, этот! Черт его знает... Давно не появлялся.

Никто не знал, связаны эти события-несобытия между собой или нет. Возвратившись к Нэлли, я застал ее за прослушиванием большого диска Людмилы Сенчиной, который вышел недавно, а она тогда увлекалась Сенчиной, особенно одной песней, которую ставила на повтор раз за разом.

— В му-у-узыке только га-ар-амония е-е-есть... — звучало в квартире, в то время как я рассказывал Нэлли об исчезновении моего подземного друга.

— Его сварили, — сказала Нэлли.

— Как? Ты в своем уме?

— Мне муж сказал.

— С которым ты полюбовно рассталась?

— Ну да, он же на ТЭЦ работает.

— Когда?

— По телефону перед нашим отъездом. Ты в ванной брился.

— ?!

— Ну ты же зна-а-ешь, — протянула Нэлли под музыку, ее раздражали мои вопросы, отвлекающие от Сенчиной. — Ты же зна-а-ешь, что Горбачев проводил в Целинограде большое сельскохозяйственное совещание...

Знаю. Это было главное событие года. Присутствовал весь ЦК, все регионы, и даже глухого деда Терентия Мальцева подвезли на какой-то телеге, чтоб посоветовал, как решить проблему мяса, подобно тому как еще молодой Терентий решал проблему хлеба, а мы в то время с четырех утра занимали очередь всей семьей, по одной буханке в руки давали, зато Терентий-хлебороб гремел на всю страну.

— Вот в обкоме задумались: сам генсек приедет, а вдруг по улице пойдет. И пойдет, и пойдет, и пойдет...

— Прекрати напевать! — крикнул я и грубо оборвал Сенчину, шваркнув иглой по диску.

— Ой! — воскликнула Нэлли. — Что ты наделал?

— Ничего, — сказал я, снимая и ломая пластинку.

— Я за ней три часа стояла! — крикнула Нэлли.

— Горбачев идет по улице! И что?

— А то! Вдруг из люка прямо ему под ноги какой-нибудь...

Она подняла с ворсового покрытия осколки Сенчиной и зарыдала.

Я начал догадываться. Горбачев пойдет по улице, или даже не Горбачев, другой член чего-нибудь с горы какой-никакой, или журналист иностранный, а ведь пойдет, и не один пойдет. Пойдет, а тут из люка бомж вылезает, оптать. Что делать? Менты отказались ползать по разветвленному подземелью среди крыс, цеплять вшей и ловить бомжей. Местные власти решили проблему просто: велели открыть заслонки ночью, пустить кипяток в коллектор. Так обком сварил большой суп, достойный царя преисподней.

Нэлли знала об этом в то время, как мы покатывались со смеху по песку Аркадии. Запомнявала рассказать, ведь это была жизнь, а не ее фантазии.

На другой день я встретился с Андреем, теплотехником, он мне много чего наговорил о целиноградском «большом супе».

До сих пор не знаю точно, что случилось с Петей Оптатем. Говорят, загнали санитаров под землю, трупы извлекли и зарыли в общей яме.



Вячеслав ЯДАГАНОВ

В ОДНОМ СЕЛЕ ДАЛЕКОМ...

Р а с с к а з ы

Аппендицит

— О, Николай Петрович, заходите, заходите!

Человек чуть выше среднего роста, в клетчатой рубашке и почему-то в кепке, вскочил из-за стола и бросился навстречу вошедшему. На его лице, которого уже несколько дней не касался бритвенный станок, сияла радость. Он засуетился, помогая гостю раздеться.

Гостем был хирург, приехавший из районного центра.

— Ну, здравствуй, Кузьма Иванович! Как поживаешь?

— Привет, привет, Николай Петрович, дорогой! Я что, я ничего... А вы-то какими судьбами к нам?

— Да позвонили, сказали, мальчик у вас в селе заболел. Вот я и приехал, осмотрел. Пока непонятно что. Надо в район везти, анализы взять, обследовать хорошенько. Сейчас они с матерью в дорогу собираются. К дому твоему подъедут — посигналят. Я же помню, что живешь ты недалеко от медпункта. Вот и решил к тебе заглянуть, узнать, как ты после операции.

— Ой, Николай Петрович, спаситель вы мой! Уже полгода прошло, все хорошо. Поправился, дай вам бог здоровья!

— Да, вот ведь была операция... В избе, при свете керосиновых ламп! Ну да, узнаю и этот стол, и потолок. Вон там лампы висели... Я вижу, ты гвозди после этого так и не вытащил?

— Да пусть торчат, черт с ними. А вы от Бога врач, хирург каких поискать!.. Садитесь, чай будем пить.

Кузьма стал разливать чай, выложил на стол хлеб, сахар. Николай Петрович достал из своей сумки бутылку водки, колбасу, консервы.

— Да вы что, зачем? Я же вам до конца жизни должен. Бываю в райцентре, все хочу к вам зайти спасибо сказать, спаситель мой. Вы, можно сказать, из лап смерти меня вырвали.

— Работа у нас такая, Кузьма, профессиональный долг. А ты так и не женился?

— Нет, Николай Петрович, не женился. Не идут за меня. Уже привок один. Да и работа бригадира — она беспокойная: то туда нужно ехать, то сюда. Дома-то редко бываю.

Они пили чай, вспоминали тот зимний день, когда хирург делал операцию хозяину дома — вырезал аппендицит.

— Я зашел еще и вот по какому делу, Кузьма. Меня коллектив больницы выдвинул в депутаты по вашему округу. Так вот, нужна твоя поддержка. Поможешь?

— Какой разговор, Николай Петрович! Да я всю деревню за вас подыму! Меня все знают. Сагитирую, не волнуйтесь.

— Понимаешь, мой основной конкурент — крупный местный коммерсант. Ты его знаешь: Сергиков его фамилия...

— Уж как не знать. Он часто приезжает, водкой торгует, спиртом... Да кто за него станет голосовать! Всех уже потравил своей самопалкой. Будьте спокойны — все будет как надо. Вот в прошлый раз...

На улице посигналила машина.

— Это меня. — Хирург встал из-за стола. — Поеду. В общем, договорились? Надеяться на тебя?

— Обижаете! Вот увидите, вся деревня за вас будет. Это я вам говорю. Все сделаю в лучшем виде.

Машина ехала через все село. Здесь проживало человек триста. Был свой медпункт, изредка, когда требовалось, приезжали врачи из района, в том числе и Николай Петрович. Сейчас он вез в уазике очередного больного. Мальчик и его мама сидели на заднем сиденье, хирург — на переднем, около водителя.

Врач ехал и вспоминал Кузьму — или, вернее сказать, операцию, сделанную Кузьме.

...Это было примерно полгода назад. Из села позвонили в районную больницу: захворал мужчина, жалуется на острую боль в животе, ходить не может, температура высокая. Николай Петрович поговорил с фельдшером, уточнил симптомы. Предположили, что это, скорее всего, аппендицит.

Был уже вечер. Хирург распорядился, чтобы вызвали шофера, срочно готовили машину, а сам сбегал домой, перекусил, предупредил супругу, что едет к больному в село и вернется поздно, а то и вообще утром.

Ехать было недалеко, километров сорок. Но стояла зима, погода была ветреная, а впереди лежал перевал, который то и дело заносило снегом. До перевала добрались быстро, но опасения подтвердились: дорогу местами замело. Первые снежные преграды автомобиль легко преодолел: подъем еще был пологим, а скорость — большой. Но когда подъехали к повороту, где дорога уходила круто вверх, машина забуксовала. Шофер, которого звали Виктор, сдал назад, с разгона попробовал еще раз. Не получилось. Снова назад, снова разгон. Здесь проскочили. Но на следующем повороте — та же история, и после нескольких рывков машина встала. Водитель и хирург принялись по очереди отгрести снег лопатой.

Проезжали несколько метров — и снова расчищали путь, еще несколько метров — опять остановка...

Силы таяли, а до вершины перевала было еще далеко. Наконец, в очередной раз отъезжая назад для разгона, машина сползла в кювет. Нужно было ее вытаскивать, но как?

Обессиленные, водитель с хирургом стояли, не зная, что делать.

— Надо возвращаться за помощью в райцентр, — сказал Виктор.

— А сколько отсюда километров до него?

— Чуть больше тридцати...

— Это только к утру дойти можно. А до села?

— От перевала — километров семь. До перевала осталось метров триста.

Николай Петрович подумал и сказал:

— Вот что, Витя. Сливай воду, забирай из машины все ценное и документы, я возьму сумку с инструментами, и пойдем дальше пешком. Ждать нельзя. Там человек при смерти.

Несмотря на то что до перевала было недалеко, к вершине по сутробам дошли нескоро. На несколько минут присели передохнуть, попили чаю из термоса, пожевали бутерброды и двинулись дальше. Сумка с медицинскими инструментами, которая поначалу казалась довольно легкой, теперь тяжелела с каждым шагом.

После перевала идти стало проще. Дорога пошла вниз, ветра здесь практически не было, и заносов почти не встречалось. Путники двигались молча. Под ногами скрипел снег, в лесу по обеим сторонам дороги было темно и тихо. Наконец впереди появились редкие, тусклые огни.

Деревня встречала чужих молча. Только тьякнула лениво полусонная собака в чьей-то ограде, в конуре, да успокоилась, когда они прошли мимо. А чего вылезать — холодно.

Дверь медпункта была на замке. Виктор пошел за женщиной-фельдшером, он знал, где она живет.

Прибежала фельдшер:

— А мы уже и не ждали сегодня никого!

— Вам же позвонили, что мы выехали. Как — не ждали?

— Но уже поздно, мы думали...

— Так, где больной? Открывайте медпункт!

Фельдшер забренчала ключами, отперла дверь.

— А больной дома...

— Как — дома? Вы же должны следить за его состоянием!

— Я была у него примерно час назад.

— И как он?

— Температура тридцать девять. Весь в поту.

— Плохо. А почему в медпункте холодно?

— Да я топила утром. Но целый день ветер, выдувает...

— Виктор знает, где живет больной? Кстати, как его зовут-то?

— Знает, конечно. Кузьма это Турбеков, наш бригадир.

— Мы с Виктором сейчас пойдем к этому Кузьме. А вы будите моториста, пусть даст свет.

Постоянного электричества в этом селе не было, его подавали утром и вечером, когда заводили дизельный генератор.

— Ладно. Кстати, он сегодня вообще свет не давал, не знаю почему.

Николай Петрович тщательно осмотрел больного, задал ему несколько вопросов. Тот едва мог говорить, еле двигался, на лбу у него выступила испарина. Хирург замолчал и нахмурился. Требовалась срочная операция, а для нее — свет, теплое помещение. Но в медпункте очень холодно. И электричества по-прежнему нет...

Пришла фельдшер, с плохой новостью. Дизель не завести: последнее горячее моторист залил еще вчера. Сегодня генератор уже не работал. Солярку обещали привезти на днях.

Врач громко выругался, нервно заходил по избе. Потом остановился и обратился к фельдшеру и к родственникам больного — двум женщинам и одному мужчине:

— Увезти мы вашего Кузьму не можем — транспорта нет, путь замело... Да и есть риск, что он дорогу не вынесет. У него острый аппендицит. Если отросток внутри лопнет — надеюсь, что еще не лопнул, — то будет заражение. Нужна операция, срочно, это вопрос жизни и смерти. А в медпункте ни тепла, ни света. Никаких условий, одним словом...

Он оглядел присутствующих. Те слушали молча, понуриив головы. Да и что они могли сказать?

Николай Петрович снова заговорил, на этот раз твердо и решительно:

— Значит, так. Стучитесь к соседям, собирайте у них керосиновые лампы. Нужно штук пять-шесть. Грейте на печке воду. Уберите все со стола, сегодня он будет операционным. Поторопитесь, времени у нас уже, можно сказать, нет!

Хирург с Виктором и женщиной-фельдшером сходили в медпункт и взяли там все, что требовалось для операции.

Примерно через час «операционная» была готова. На длинном столе, застеленном стерильными простынями, при свете пяти керосиновых ламп, подвешенных к потолку, лежал Кузьма, кидая испуганные взгляды на блестящие хирургические инструменты и двух медиков в масках. Остальных людей из комнаты удалили.

Николай Петрович сделал глубокий вдох и кивнул фельдшеру, чтобы давала наркоз...

...Проезжая перевал, хирург бросил взгляд на больного мальчика. Тот дремал. Мать не спала, бережно придерживала голову сына.

Николай Петрович вспоминал, как здесь застряла их с Виктором машина, как они, обессиленные, добрались до села, как он решал, делать или нет операцию в таких, казалось бы, невозможных условиях... После операции он не мог даже говорить от усталости, заснул и проспал до обеда следующего дня. Вернувшись в райцентр, каждый день звонил, узнавал о состоянии Кузьмы. К счастью, тот быстро шел на поправку, никаких осложнений у него не было.

Машина подъехала к больнице. Николай Петрович распорядился, чтобы мальчика оформили и определили в палату, сделал первичные назначения. Основные обследования и лечение — с завтрашнего дня. Покончив с делами, отправился домой, где его ждали супруга и десятилетний сын.

...Недели через три после разговора с Кузьмой о выборах, в воскресенье, Николай Петрович сидел дома и сокрушался:

— Отчеты, документы... Замордовали! Уже не знаешь, то ли бумажки писать, то ли больных лечить. От нашей писанины здоровья-то у людей не прибавится.

Супруга его сидела рядом, читала свежие газеты. Посмотрела на него:

— Вот депутатом станешь — и добивайся, чтобы бумаг было меньше. Кстати, как твои дела выборные? Проголосуют за тебя в селе, как думаешь?

— Полагаю, да. У меня там есть один горячий сторонник. Тот, которому я операцию делал у него дома, помнишь? Кузьма...

— Как не помнить! Еще статью в газете про это напечатали потом — «Операция при свечах», по-моему, называлась.

— Да-да. Так вот, Кузьма бригадиром работает, там все его знают. Обещал, что будет за меня сельчан агитировать.

Через некоторое время жена Николая Петровича обнаружила в газете какую-то заметку и обратилась к нему:

— Как, ты говоришь, звали того, кого ты оперировал? Кузьма...

— Кузьма Иванович. Фамилия — Турбеков. А что?

— А другой кандидат, твой главный конкурент по нашему округу, — Сергиков?

— Ну да. Да что случилось-то?

Супруга не ответила, встала, положила перед мужем местную газету, молча ткнула пальцем — где читать, и отошла от стола.

Николай Петрович пробежал взглядом указанные строчки. Кровь прихлынула к лицу, он, не веря своим глазам, еще раз перечитал текст в колонке о выборах. Вот что там было написано:

«Дорогие избиратели, мои земляки! На предстоящих выборах призываю вас всех проголосовать за Дмитрия Лукича Сергикова — успешного предпринимателя и уважаемого жителя нашего района. Все мы знаем Дмитрия Лукича: он уже много лет снабжает нас необходимыми продуктами и товарами высокого качества. Нет сомнений, что, став депутатом, он будет еще больше заботиться о наших жителях. Бригадир животноводческой фермы Кузьма Иванович Турбеков».

А под текстом — фотография двоих мужчин: худощавого Кузьмы, все в той же кепке, и полного, высокого Сергикова.

У Николая Ивановича все задрожало внутри. Он встал и, не взглянув на жену, вышел во двор. Зашагал было в сторону огорода, но передумал. Постоял, вернулся к дому, прошел к ограде. Из будки около поленницы, гремя цепью и виляя хвостом, выбралась собака. Хирург подошел к ней, опустил на корточки и стал гладить.

Потом он поднялся на ноги, выглянул на улицу. За оградой его сын гонял мяч с соседскими пацанами. Один сосед чинил мотоцикл у себя во дворе, другой копался на грядках. Вокруг текла совершенно обычная жизнь.

Николай Иванович снова посмотрел на свою собаку, подмигнув ей и улыбнулся:

— Вот тебе и аппендицит!

И пошел в дом.

Чиновник

Идти по свежим сугробам было трудно. Снегопад начался накануне вечером и к утру все еще не прекратился. Первые машины оставили колею, и девочка шла по ней: хоть ноги и скользят, а все же легче.

Обычно девочка видела из окна, как подъезжает автобус, но сегодня она его так и не дождалась. Автобус не может подняться сюда, в гору, если трактор не успел расчистить дорогу. А трактора еще не было, значит, скорее всего, придется идти на другую остановку, ниже по улице.

На заметной остановке стояло несколько человек. Один мужчина громко ругался:

— Не могут дорогу почистить! Какой толк от этих чиновников? Пока выборы — везде видишь их физиономии, а после выборов что они есть, что их нет. Разогнать всех к чертовой матери!

Он махнул рукой на плакаты, расклеенные на стенках автобусного павильона, и, продолжая ругаться, направился в сторону другой остановки. Остальные люди, ничего не говоря, побрели за ним.

Девочка подошла к плакатам. На них были фотографии, и под каждой что-то написано. Люди на фото были красивые, хорошо одетые.

«И чего этот дядька ругался на них? Очень даже симпатичные», — подумала девочка.

Тут она увидела под сиденьем остановки какую-то маленькую фигурку вроде куклы. Фигурка была припорошена снегом, поэтому девочка даже не сразу поняла, что это. Она подняла куклу, отряхнула ее. Это оказался человечек, но такой грязный, что нельзя было определить, какого он цвета.

— Откуда ты взялся? Бедный, замерз на снегу... Дай я тебя под пальто посажу. Сиди там, грейся!

Девочка спрятала игрушку на груди и тоже пошла к соседней остановке. Она знала, что опоздает к началу урока. Опять учительница будет ругаться, говорить, что надо раньше вставать... Девочка училась в первом классе.

Она медленно брела по снегу и разговаривала со своей находкой:

— Вот откуда ты свалился? Сидел бы себе дома. На улице холодно, а ты даже шарф не завязал. А-а, его у тебя вообще нет! Что, потерял? И почему ты такой грязный? Вечером я тебя искупаю. Главное, чтобы папа не увидел, а то сразу тебя выбросит. Он не любит, когда я что-то таскаю в дом с улицы. Недавно я котенка принесла, он тоже сидел на

остановке и мяукал. Так папа взял его и выкинул! Сердца у него нет. Так мама сказала. Ну что, отогрелся?

Девочка остановилась, нащупала под пальто свою находку. Убедилась, что та на месте, успокоилась.

— А как тебя зовут? Что не отвечаешь, имя свое забыл? Я тебя вечером отмою, и ты будешь таким же красивым, как те люди на плакате, на остановке. Дядька, который ругался, их чиновниками называл... Вот что, давай я тебя Чиновником буду звать! Все, мы пришли, и как раз автобус стоит. Я тебя в сумку переложу, а то опять потеряешься. Чиновники не должны теряться!

Вечером она очень долго мыла Чиновника в раковине в ванной, прислушиваясь, не идет ли кто. Сколько она его ни терла, вода все равно была грязной. Наконец купание было окончено. Девочка долго вытирала куклу, кутала в полотенце, а когда рядом появлялся папа, прятала за спину. Потом положила на батарею:

— Лежи, сохни. Я сейчас поем и приду уроки делать. Никуда не убегай!

Перед сном девочка незаметно сунула Чиновника под подушку, а когда родители потушили свет в ее комнате и ушли, достала и еще долго с ним шепталась. Она так и уснула, прижимая к себе еще влажную игрушку.

С появлением Чиновника хлопот у девочки прибавилось. Кроме того, что она сама готовила уроки, нужно было учить и Чиновника. У него появилась своя тетрадка, в которой были записаны, на каждой странице по одному, предметы и проставлены оценки. Судя по оценкам, учился Чиновник неважно. В основном на тройки, а иногда и на двойки. Редко ему удавалось получить четверку и почти никогда — пятерки.

Девочка его ругала:

— Ну что это за учеба? По русскому совсем плохо! Куда у тебя буквы за поля убежали? И одна буква меньше, чем остальные... А почему задание по математике не сделал? Опять целый день с телефоном играл? Добьешься, отберу и больше не отдам! И что интересного в этом телефоне видят? Раньше вообще телефонов не было. Так мама говорит. Шутит, наверное. Разве такое может быть?.. Ну ладно, мы отвлеклись. Заканчивай с уроками, ешь и готовься ко сну! Погулять ты сегодня не успеваешь. Сам виноват — провозился.

Ложась спать, она укладывала Чиновника рядом с собой, прятала под одеяло, когда заходил папа, потому что тот не разрешал ей брать игрушки в кровать. А мама, наоборот, подкладывала девочке в кровать какую-нибудь мягкую игрушку. Их у девочки было много: и плюшевый мишка, и зайчик, и бельчонок, и еще, и еще... Но когда родители уходили, она оставляла около себя только Чиновника и долго с ним разговаривала.

— Что ты сказал? Нет, не знаю, завтра спрошу... Ты старайся учиться хорошо, не ленись! Без учебы сегодня никуда. Так мама говорит. Утром надо зарядку делать. Неохота, конечно, но надо... Ну а теперь я тебе сказку расскажу. Про Мишку и Белку. Слушай. Жили-были два друга: один Мишка, другой Белка... Как думаешь, про Белку надо го-

ворить «другой» или «другая»? Я тоже не знаю. Так вот, решили они пойти... пойти... пой...

Глаза у рассказчицы закрывались, губы продолжали двигаться, но звуков уже не было слышно. Она засыпала...

Однажды утром, за завтраком, девочка спросила у папы:

— Папа, а ты чиновник?

Отец, пережевывая пищу, буркнул:

— Чего-чего?

— Ты на работу в костюме ходишь, галстук носишь, — значит, ты чиновник?

— Ну... в какой-то мере — да.

— А ты хороший чиновник?

В разговор вмешалась мама:

— Отстань от отца! Скорее ешь — и в школу. Ты еще сумку не собрала! Опять целый вечер с телефоном сидела? Отберу я его у тебя.

Папа добавил:

— Почему по математике тройки? Чем с куклами возиться, лучше математику учи!

Так и не выяснив, хороший ли ее папа чиновник, девочка допила чай и пошла собираться в школу.

Спросила она вот почему. Как-то раз, еще осенью, она играла в песочной куче за оградой. За папой в тот день пришла машина: по работе ему приходилось много ездить. А перед этим дни были дождливые, дорогу развезло. Папа сел в машину и уехал. Мимо в это время шли две женщины. Девочка сидела за песочной кучей, поэтому женщины ее не заметили. Она услышала обрывок их разговора:

— Пройти невозможно, ужас! Почему дорогу песком не подсыпают? Говоришь этим чиновникам, говоришь...

— А им чего? Их-то вон — на машине подвозят! Они, как мы, грязь ногами не месят.

— Да уж... И когда только они к нам лицом повернутся?

Время шло, миновал почти год с того дня, как девочка нашла Чиновника. Теперь это был ее самый лучший друг. Она доверяла ему свои секреты, учила его уму-разуму и, куда бы ни шла, брала его с собой. Вечерами рассказывала ему сказки, пела песенки. Ей казалось, что он все понимает.

Вот только никому не нравилось, что его зовут Чиновник. Со временем девочка поняла, что в основном чиновников не любят. Как она ни объясняла, что ее Чиновник хороший, умеет слушать сказки, читать и писать, — подружки, которые играли с пластиковыми «барби», не брали ее в свою компанию. Девочка оставалась одна. Вернее, со своим другом — маленьким потрепанным Чиновником.

— Я знаю, тебя не любят... Но я тебя никогда не брошу! Пусть даже у них куклы красивые, ну и что? Зато ты у меня самый умный.

И она крепко прижимала к груди свою игрушку.

Непонятно, как это случилось, но однажды Чиновник исчез. Девочка горько плакала. Она обшарила сумку, перевернула белье на кровати, просмотрела все полки, искала под мебелью, ходила вокруг дома... Чиновника нигде не было.

Вечером родители сели ужинать.

— Где дочка? — спросил папа.

— Куклу потеряла. Ищет, переживает.

— Какую еще куклу?

— Да старую. Все время таскала ее с собой. Где-то выронила, наверное.

— А я и не замечал... Подумаешь, кукла! Завтра съездим в магазин, и пусть выберет, какую надо. Хотя у нее и так игрушек полно.

Ужинать девочка так и не пришла.

В выходной день мама напомнила папе, что он обещал купить дочери куклу. Папа нехотя, но оторвался от телевизора.

В магазине глаза разбегались от множества разнообразных игрушек. Чего там только не было! Книжки-раскраски, машинки — маленькие и такие большие, что на них можно ездить детям, мячи, костюмы для маскарада, игры в коробках, детские музыкальные инструменты...

Наконец девочка с папой дошли до отдела с мягкими игрушками.

— Выбери кого хочешь!

Здесь были огромный медведь, длинный, почти как настоящий, крокодил, львенок, слон, щенок, зайчики, чебурашки...

Девочка ни на ком не остановила взгляд.

— Здесь нет Чиновника.

— Какого еще чиновника, черт возьми?! Так много игрушек — и ни одна не нравится?

— Мне Чиновник нужен.

Возвращались они все же со свертком. Папа сам выбрал дочери подарок — симпатичную собачку.

Дома он развернул упаковку, положил плюшевого зверька на кровать девочки:

— Чем не игрушка? Очень даже хорошая!

Когда папа ушел, девочка швырнула собачку на пол и уткнулась лицом в подушку. Плечи у нее задергались.

За всем этим наблюдала в приоткрытую дверь мама. Вечером она сказала папе:

— Совсем дочка раскисла из-за этой своей куклы. Не ест толком, уроки не учит... Не знаю, что и делать.

Папа разозлился:

— Ерунда все это! Дурь детская! Пройдет. Нашла из-за чего страдать.

Прошла неделя. Выпал снег. Увидев утром в окно летящие снежинки, девочка засмотрелась на них, а потом вдруг сорвалась с места, наспех оделась и бросилась к выходу.

Мама испугалась:

— Ты куда?



— Он вернулся! — крикнула дочь и выбежала на улицу.

Снег был глубокий, как и год назад. Девочка проваливалась в сугробы, но, не обращая на это внимания, быстро шла к остановке и по дороге шептала:

— Он пришел... Он вернулся... Обязательно!..

На остановке она сразу заглянула в то место под скамейкой, где когда-то подобрала Чиновника. Потом осмотрелась вокруг. Но все, что нашлось, — это две пустые пачки из-под сигарет да обрывки бумаги. А Чиновника не было.

Девочка опустила голову и медленно побрела обратно. Ей навстречу уже бежала мама.

В школу девочка не пошла. У нее поднялась температура, и она целый день пролежала в кровати. Приезжал врач, осматривал ее, что-то спрашивал, говорил с мамой, потом выписал лекарства.

К вечеру девочке стало немного лучше. Она уснула, и ей приснился сон.

Во сне девочка оказалась в чужой стране. И первым, кого она увидела там, был ее Чиновник! Только теперь он оказался с нее ростом, нарядным, опрятным и весело сказал ей:

— Это моя страна. Называется она Страна Чиновников. И здесь нас, чиновников, любят!

Они вместе пошли по какой-то улице. Улица выглядела чистой и ухоженной, но все равно какие-то люди в костюмах и галстуках подметали ее, чтобы не было ни соринки.

Девочкин друг обратился к ним:

— Здравствуйте, чиновники! Вы у нас очень хорошие, мы все вас любим!

Те приветливо отвечали.

Девочка была в замешательстве:

— У вас тут не ругают чиновников?

— А за что их ругать? Смотри, на улицах чисто. Автобусы ездят по расписанию, минута в минуту, не опаздывают.

— А если снег пойдет?

— Когда наступает зима, наши главные чиновники, в костюмах и галстуках, берут лопаты — и на дороги, снег убирать. Автобусы первые пойдут — пусть хоть всю ночь снег валил, а улицы чистые. И едут в автобусах хоть школьники, хоть взрослые — все чиновникам машут, спасибо им говорят.

— А что это за дом с флагами? У нас в таких начальники сидят. А у вас что там? Туда простые люди не ходят?

— Почему не ходят? Ходят. Там и у нас раньше чиновники обитали, а теперь просто пожилые люди живут, на всем готовом. Их там и кормят, и всем необходимым обеспечивают. А если надо старому человеку в больницу или еще куда — он позвонит по телефону, и через минуту машина у порога. Чиновники к старикам приходят, совета спрашивают: как правильно сделать то или это, кому еще помочь. Очереди даже бывают. Хотя и без

этого у нас чиновники работают хорошо. Вот человек не успел подумать, что на дороге грязно и надо бы песку подсыпать, а уже такие же нарядные чиновники на машине приехали и подсыпали, а к вечеру и асфальт уложили.

— Здорово!

— Да не здорово это, а нормально. Ну все — время твоего пребывания у нас заканчивается. Пойдем, я тебя провожу. В нашу страну на экскурсию только один раз в год пускают, и то только на полчаса.

— А как же ты у нас оказался?

— Когда я узнал, что в вашей стране есть чиновники, то поехал к вам жить. Я был таким же большим, как сейчас. Но оказалось, что у вас другие чиновники, они только о себе думают, а не как наши, которые для людей стараются. Мне было за ваших чиновников так стыдно, что я стал уменьшаться и в конце концов сделался совсем маленьким, каким ты меня и нашла. Никто, кроме тебя, не любил меня, поэтому я в конце концов убежал из вашей страны. Здесь, на родине, я снова стал нормальным. И к вам больше не хочу.

— А как же я? Я не могу без тебя! Что надо сделать, чтобы мы снова были вместе?

— Нужно очень немного — чтобы ваши чиновники стали такими же, как наши. Тогда и ты свободно будешь ездить к нам, и я смогу в любое время прийти к тебе. А пока...

Глаза у девочки наполнились слезами. Она еле сдерживалась, чтобы не разрыдаться.

— Не плачь, — ласково сказал Чиновник. — Я тебе очень благодарен. Прощай...

Девочка проснулась — и все-таки расплакалась.

Было уже утро. Услышав шум, мама поднялась в комнату дочери. Та сидела на кровати и ревела во весь голос.

— Доченька, что случилось?

Ничего не ответив, девочка вскочила на ноги и побежала вниз.

Ее папа в это время умывался в ванной.

— Папа, ты будешь хорошим чиновником? — Она рыдала не переставая.

Отец испугался и ничего не понимал:

— Дочка, что с тобой? У тебя температура?

— Папа, скажи мне, когда ты станешь хорошим чиновником?!

Мама догнала девочку, обняла, потрогала ее лоб. Но та вырвалась из маминых рук, продолжая плакать и кричать:

— Я прошу, папа, стань хорошим чиновником! Сделай так, чтобы все чиновники стали хорошими!

Отец подхватил ее на руки и понес обратно в комнату. Через какое-то время она устала и затихла. Родители стояли рядом с кроватью и смотрели друг на друга, не зная, что делать. А девочка все просила, тихо всхлипывая:

— Папочка! Стань хорошим чиновником, я умоляю! Ну станьте вы все хорошими, неужели так трудно...

Олег ЛУЗАНОВ

ПОВОРОТЫ СУДЬБЫ

Р а с с к а з ы

Оппозиция

Оппозиция — слово не очень приятное, если начать разбираться. Растянутое, вязкое какое-то. Твердости в нем нет. То ли дело слова — «протест», «контр-» (все равно что), «фронда»! Рокочут, гремят, как камни. А от неконкретной мягкости «оппозиции» словно душок какой-то... Когда произносишь это слово, звук такой, словно муха зудит — «з-з-з»... А мухи, знаете ли, абы над чем зудеть не будут.

Однажды в дежурку отдела полиции, в котором служил Павел Гусев, поступил телефонный сигнал от «обеспокоенных граждан», которые усмотрели на Театральной площади, в самом центре города, протестную акцию, то есть выступление оппозиции. Какие именно граждане сообщили — не ясно, но достаточно уверенным голосом изъяснялись, почти покрикивали, словно много лет в администрации работали, и не на последней должности.

Представитель этих граждан потребовал успокоить их нервы, пострадавшие из-за нарушения закона, — устранить раздражающий фактор. Мол, митинг этот ни с кем не согласован — ну вот совсем никто про него не знает. И творят там эти выступающие такие вещи, что наш уважаемый классик, у памятника которому это безобразие организовано, просто окаменел от возмущения и всем своим лицом выражает негодование. Даже, вещал голос из трубки, в сюртуке своем классик будто бы поеживается, и по всему заметно, что, если бы мог двигаться, наверняка ушел бы с постаменты в знак несогласия. Поэтому, мол, разберитесь и арестуйте. Или пресеките другим доступным способом. Нельзя, чтобы в центре города — да с такими плакатами!

Полиция для того и поставлена, чтобы блюсти интересы... В смысле — закон. Но все не так просто. Надо, с одной стороны, блюсти, а с другой — не нарушать. А люди, которые законы писали, так здорово все изобразили, что с каждым годом блюсти все сложнее: то там препона, то рядом заковыка. А что до нарушений, то, при грамотной постановке вопроса, блюститель порядка запросто может на себе испробовать быт

закрытых учреждений для содержания граждан, преступивших действующее законодательство.

Так вот, исходя из имеющегося опыта и здравого смысла, группа, направленная для разбирательства, решила сначала изучить обстановку — сориентироваться на месте, так сказать. Группа состояла из трех человек: водителя Михаила Кузнецова (сержанта), старшего участкового уполномоченного Олега Сергеевича Боева (майора) и сотрудника уголовного розыска Павла Гусева (можно сказать, новоиспеченного лейтенанта). Хотели еще следователя взять с собой — чтобы следственно-оперативная группа была в полном составе, но начальник отдела подполковник Василий Петрович Асеев сказал, мол, вы мужики и сами во всем разберетесь, нечего следакам, тем более женщинам, на массовые беспорядки выезжать. Поэтому Асеева Ольга Васильевна осталась в отделе... Работать с документами. И вообще — скоро обед.

Когда автомобиль с недоукомплектованной опергруппой подъехал к площади и сотрудники не увидели гремящей лозунгами и излучающей угрозу толпы, они, фигурально выражаясь, выдохнули.

— И кто тут выступает? Не видно же никого, — удивился Гусев.

— Может, вокруг объехать? — предложил Кузнецов.

Майор, как самый старший и опытный, помалкивал, щурясь на яркий день.

— Хорошо, давай аккуратненько, — наконец кивнул он водителю.

Почти половину квартала проехали и уже собирались поворачивать, когда Павел заметил оппозиционера:

— Вон, вон стоит, у самого памятника!

— Всего один? — удивился Михаил.

Автомобиль остановился, и майор с лейтенантом направились в сторону нарушителя, чтобы лично оценить степень его опасности. Действительно, факт, о котором некто сигнализировал по телефону, имел место: возле памятника стоял невысокий сухощавый мужчина лет шестидесяти и держал плакат, на котором был изображен карикатурный человек, напоминающий президента, а вокруг, черным по белому, наискось, будто разлетались надписи: «Хватит лжи!», «Хватит коррупции!», «Хватит пустых призывов!»...

— Ну что, берем? — шепнул лейтенант Боеву, оглядывая пикетчика с довольно приличного расстояния.

— Погодь. «Берем»... — майор всем своим видом выражал сомнение. — Возьмешь его, а тут репортеры налетят, шумиха поднимется...

— Какие репортеры? — Павел закрутил головой. — Нет же никого. Давай, Сергеич, мы быстренько его в машину!

— Ну, иди, раз ты такой смелый, задерживай. Посмотрю, что ты ему предъявишь.

— Как — что? — опешил Гусев. — А плакат? А без согласования?..

— Зеленый ты еще, — покачал головой участковый, — и законы плохо знаешь.

— Чего это? — не согласился опер.

— А то, что по закону он ничего не нарушает. Имеет право, если один.

— И что, — сник лейтенант, — тогда поехали обратно?

— Да-а, — усмехнулся Боев, — точно, ничего не соображаешь! Куда обратно? Нас же прислали, чтобы разобраться и устранить.

— Сергеич, — недоумевал Павел, — ты совсем меня запутал! То нужно, то не нужно... Что делать-то?

Майор чуть поморщил лицо, потер шею под воротником, поглядел по сторонам.

— Давай так. Ты сейчас прикинешься сочувствующим и встанешь рядом с этим борцом за светлое будущее...

— Ну? — не понимал лейтенант.

— Гну! Встанешь рядом, это уже будет группа. А раз группа — значит, имеется нарушение.

— Как это? Что же тут такого?

— Эх, молодежь! — посетовал выдавший виды участковый. — И где тебя только учили?

— Где надо учили, — надулся Гусев. Но, немного помолчав, уточнил: — Ну ладно, встану я рядом — и что?

— Ты с ним встанешь, — как бестолковому ученику, начал пошагово объяснять Боев свою идею. — Я сообщу в отдел, что обнаружена массовая акция. А на нее нужно разрешение, которого нет. Это уже основание. Попрошу сюда пэпээсников прислать для оказания помощи. А когда они вас задержат, то этого, — он кивнул в сторону одинокого плакатодержателя, — в отдел оформляться, а ты на обед пойдешь, в качестве благодарности. Как тебе задачка, справишься?

— Я? Конечно! — Павел закивал, изображая одновременно согласие на операцию и удивление, что старший товарищ сомневается в его актерских способностях и преданности делу охраны закона.

На том и разошлись. Майор вернулся к машине, а лейтенант, сделав порядочный круг вокруг памятника, подошел к пикетчику и встал рядом. Мужичок покосился на него, но ничего не сказал. Гусев стоял, словно на посту, по стойке смирно, только глазами шарил по проходящим мимо людям. А те прогуливались, практически не обращая на пикет внимания. Редко кто замедлял шаг и бегло просматривал надписи на плакате. Никто ничего не говорил, никто не становился рядом, чтобы пополнить ряды протестующих. Взглянут, в лучшем случае хмыкнут — и идут по своим делам. Не понятно, то ли одобряют акцию, то ли наоборот. От этой неопределенности лейтенанту было как-то не по себе: он ведь ожидал, что будут какие-то речевки, призывы, а тут — простое стояние.

«С таким же успехом можно было просто прикрепить плакат к ограде или к постаменту», — подумал Гусев и уже собрался уточнить у мужика-пикетчика, когда же, собственно, начнется что-то серьезное, но не успел.

Невдалеке остановилась патрульная машина с синей полосой на окрашенном желтой краской борту, оттуда выскочили два сосредоточенных сержанта и, коротко спросив о чем-то майора Боева, почти бегом направились к памятнику. Майор едва поспевал следом.

Без всяких разговоров сержанты поджали Гусева с двух сторон, но не торопились провожать к автомобилю — ждали, что скажет офицер.

— Здравствуйте, граждане, — с небольшой задержкой подошел участковый. — Центральный отдел полиции. Это у вас здесь что, митинг? А разрешение есть?

Мужик с плакатом покачал головой:

— У меня одиночная акция, разрешения не требуется.

— Какая же одиночная? — «удивился» майор. — Вон у вас какой помощник крепкий! Массовое мероприятие, массовое.

— Не имеете права! — дернулся из сержантских рук Павел. — Мы...

— Стоп, стоп! — выставил руку вперед Боев. — Все расскажете в отделе.

И он кивнул пэпээсникам:

— Поехали.

Полицейские почти понесли Гусева в сторону своей машины, а он только похрахтывал:

— Вы это... поосторожней! Не картошку грузите!

— Разберемся, — буркнул один из сержантов, закрывая за липовым пикетчиком заднюю дверь патрульной «канарейки».

Мужчину с плакатом Боев лично сопроводил к своему автомобилю. Гражданин оказался сознательный, никаких претензий не высказывал, спокойно, даже как-то флегматично, прошел и сел на заднее сиденье. То ли у него уже был опыт общения с полицией, то ли его кто-то хорошо проинструктировал, а может, он сам заранее приготовился преодолевать трудности и терпеть. Он же борец за справедливость, его цель выше мелких личных неприятностей... Или просто отработывал время по тарифу?

Необходимости образовывать колонну не было, так что УАЗ с Гусевым на борту резко стартанул, порядком опередил автомобиль опергруппы и первым прибыл к крыльцу отдела полиции.

Гусев сидел, посмеиваясь про себя. Он представлял, как сейчас недоумевает настоящий пикетчик: небось, думал, что его не задержат, а оно вот как обернулось!

«Голова все же Олег Сергеевич! — думал Павел. — Вот что значит опыт. Профессионализм не пропьешь, как говорится».

Он уже прикидывал, куда бы сходить на обед, — чтобы вкусно, недорого и недалеко.

В этот момент автомобиль остановился, и дверь открылась. В проеме стояли все те же два сержанта.

— А, приехали! — улыбнулся лейтенант. — Спасибо, хорошо получилось.

Сержанты переглянулись.

— Ладно, парни, я пошел. — Опер поднялся с сиденья и выпрыгнул на асфальт.

— Куда?! Стоять! — Пэпээсник ухватился за рукав его куртки.

— На обед, — с искренней улыбкой сообщил Гусев, пытаясь высвободиться.

— В обезьяннике пообедает. — Сержант надавил ему на локоть, заламывая руку.

— Погодите, вы чего? Вас что — не предупредили? — округлил глаза подставной пикетчик, с ужасом начиная понимать, что получилась накладка. — У нас задумка была такая...

— Сейчас дежурному расскажешь свои задумки, — сурово продолжал гнуть свою линию исполнительный страж порядка. — Бери с другой стороны! — бросил он напарнику.

Гусев дернулся, но сержант держал крепко, а тут еще и второй навалился и тоже начал крутить Павлу руку, стараясь застегнуть наручники. Опер упирался, опять начал было объяснять про их с майором план, но быстро понял, что никто его не слушает. Однако идти в отдел в наручниках Гусев не собирался: засмеют потом. После недолгой борьбы и некоторых душевных колебаний он понял, что миром договориться с коллегами не получится.

— Ну, ребята, как знаете! Я хотел по-хорошему, — пробурчал Павел.

Он пнул одного своего охранника под колено и резко вырвал у него свою руку. Поскольку первый сержант ослабил хватку, то получилось, что Павел с разворота локтем заехал в ухо второму. Воспользовавшись секундной заминкой, опер вырвался и, больше не прибегая к риторике, рванул в сторону переулка. Заскочил в проходной двор, промчался через стройку, перепрыгнул забор...

Сержанты отстали сразу — даже и не пытались догнать дерзкого беглеца. Зато они воспользовались средствами радиосвязи, и уже через минуту вся полиция города знала, что нарушитель в темной куртке с красной полоской на воротнике совершил особо циничное нападение на стражей порядка и скрылся с места преступления. Всем постам! Наглый, сильный, опасный! Примите меры!

Гусев попетлял по дворам и, убедившись, что за ним никто не гонится, решил, что пора сообщить майору Боеву, где его забрать. В этот момент он, сделав солидный обходной маневр, находился возле гаражей, метрах в ста от точки своего старта, за углом родного отдела. Прежде чем скрыться за гаражами, лейтенант успел заметить, что возле авто ППС уже стоит знакомая «дежурка», а сержанты оживленно что-то объясняют майору Боеву, размахивая руками и, видимо, показывая, как их жестоко избивал боевик политической оппозиции, на пресечение незаконных действий которой они храбро выступили по приказу руководства.

Подходить к разгоряченным парням Павел не рискнул. Он достал телефон и начал искать номер Олега Сергеевича, чтобы тот, скрытно от пострадавших коллег, организовал его переброску в безопасное место или хотя бы дал знак, что все вопросы уже урегулированы.

— Лежать, падла! — услышал он позади себя и тут же получил сильный удар сначала по шее, а следом — под колени.

Откуда подошел этот незнакомый старшина, опер не заметил, но зато на себе ощутил, что подошедший неплохо подготовлен физически (может — из ОМОНа, а может — из спецназа). После первого же удара Гу-

сев оказался на земле, и теперь старшина прижимал его коленом в центре позвоночника, не давая набрать воздуха, и вдобавок тыкал пистолетом в лицо. А как иначе — всерьез же бандита задерживал!

Пока старшина вызывал помощь, пока эта помощь сообразила, куда прибыть, Павел Гусев лежал на не очень чистой и порядком вытопанной траве и вдыхал, хоть и с трудом, городской воздух с примесью аромата большого гаража, описать который словами трудно. Приходя в себя после силового воздействия, он думал: «Чтобы я еще хоть раз когда-нибудь согласился быть участником оппозиции?! Да ни в жисть!»

Первыми на место задержания прибыли все же свои: майор Боев и сержант Кузнецов. У пэпээсников «не завелась машина», и они остались что-то в ней «чинить».

— Серега, — обратился Миша к старшине, — спокойно, это свой! Подсадной на политическую акцию. Убери пушку-то...

Как потом выяснилось, они с этим старшиной, который нависал над лейтенантом, раньше вместе служили.

Павла, конечно, тут же подняли, отряхнули. Все извинились друг перед другом: старшина — перед лейтенантом, лейтенант чуть позже — перед сержантами; сержанты согласились, что слишком рьяно отнеслись к исполнению приказа; даже майор признал, что как-то сплеховал с организацией. Короче, мир, дружба и хорошо исполненная служба. Цель-то оказалась достигнута: оперативно отреагировали на сигнал «от народа» и соблюли не нарушая — что и требовалось.

Перед настоящим пикетчиком, правда, никто не извинялся. Его отвели в «обезьянник» и сдали дежурному по отделу, чтобы тот оформил нарушение как положено: все же это вам не шутки — задержание за несанкционированный митинг. Против действующей власти-то!

Кстати, через начальство отдела Гусеву, да и другим, стало известно, что «обеспокоенные граждане» остались довольны действиями полиции. И более того: представитель «граждан» намекнул, что, мол, самый ответственный «гражданин» одобряет и благодарит за службу.

Вот только Павел Гусев теперь точно знает, на себе ощутил: тухлое это дело — политика. Нехорошо она пахнет. С оппозицией связываться — вообще не дай бог. И грязно, и больно бывает, как выяснилось. Но служба есть служба, и служить Гусеву еще долго...

Понять бы только: закону? народу? или кому?

Ночной звонок

— Але, Боря, сынок, приезжай! — голос отца был какой-то отчаянный, с надрывом, будто этот разговор — последний шанс схватить за ускользающую руку, потянуть к себе, снова сблизиться.

Борис молчал в трубку. Он не очень хорошо понимал, зачем снова ехать к отцу: расстались ведь около часа назад, да и ночь на дворе.

— Что ж ты, сынок, молчишь? Презираешь, да?

— Почему презираю? Ничего не презираю. Просто поздно уже.

— Борька, приезжай, а? Все меня бросили. И ты вот... Я начудил раньше, знаю. Что ж, теперь и не человек вовсе? Сегодня же все по-людски было.

И снова Борис не знал, что сказать. С одной стороны — отец, а с другой — давно уже чужой человек. Что ему, уже взрослому, эти просьбы, жил ведь без отца с десяти лет — и ничего: вырос, институт окончил, женился. И вдруг — здрасте-пожалста: папа нарисовался, фиг сотрешь, — о сыне вспомнил. А не он ли, когда уходил, бросил, покривившись, Борькиной матери от души, как будто сплюнул что-то невкусное: «Мне твой Боря на хрен не нужен»? «Твой»? А теперь-то что? Нужен стал к старости ближе? Теперь Боря чей, через пятнадцать лет?

Борис Школьник на своего отца долго был зол. Отец же их с матерью предал! И не тогда, когда ушел из семьи, — многие разводятся. Предал раньше — отмахнулся от семьи, и все, только собой занимался. Жена ему не нужна оказалась — что ж, бывает, ошибся, — но, как выяснилось, и сын для него пустое место. Так, ничего ценного, пыль. И пусть в паспорте Юрия Михайловича Школьника были написаны адрес и семейное положение, главное-то не это. Важно, что Борька не мог ему открыть свои мальчишеские секреты, совета спросить, чтобы понял его родной человек и подсказал иной раз что-нибудь по-мужски, любя, без издевки.

Как разговаривать с дворовой шпаной, когда мелочь подходят сшибать, Борис понял сам — ни на кого рассчитывать не приходилось. Дрался и боль терпел — без этого пацану никак, но одобрение получить было не от кого. Много интуиция подсказывала, но как бы было здорово, если бы отец стоял за спиной! Не буквально, а духовно: чтобы знать, что, если будет совсем туго, подойдет отец и решит все проблемы одной левой. А так — что? Нет опоры. Что ни путь — все что-то зыбкое, как по болоту.

Борис сам профессию выбрал. Дома починить краны и табуреты — опять сам. Мать, конечно, хвалила: радовалась, что сын вырос нормальным человеком, и с руками, и с головой. А сама всегда была усталая — надрывалась на подработках. Улыбнется тепло, глянет, похвалит — а ее пожалеть хочется...

— Борь! Боря! — вопросительно жаловался голос отца из телефонного динамика. — Приезжай... очень нужно...

— Кто там? — Из ванной, в чалме из махрового полотенца, вышла Лариса — жена.

— Отец звонит.

— Вот же... — фыркнула Лара. — Сейчас-то зачем?

— Просит, чтобы я приехал, — зашептал ей Борис, прикрывая телефон рукой.

— С ума сошел? Только что от него пришли. И куда тебе идти — ты ведь выпил. Спи, утром сходишь, завтра все равно выходной.

— Ну, не знаю... — замылся Боря. — Может, помочь чем надо. Не будет же он по пустякам...

Лариса покрутила пальцем у виска, скорчила гримасу и махнула рукой:

— Сам смотри.

— Хорошо, сейчас буду, — сообщил Борис в телефон.

— Ты ведь говорил, что от него слова доброго не слышал! — возмутилась Лариса, когда муж положил трубку. — Кто мне рассказывал, что он тебя только водку различать учил?

— Было, не отрицаю, — развел руками Борис. — Как сейчас помню: маленькая — это ноль пять, нормальная — ноль семь...

— Видишь?

— Ну и что? Может, человек теперь измениться хочет. Сколько лет прошло...

Борис врал себе и жене, искал в своей душе хоть маленький огонек, который добавил бы светлых черт к устоявшемуся образу отца — темному, чужому, холодному. Но никакого тепла не чувствовал. Потому что всего час назад получил подтверждение, что не меняются люди кардинально.

Но было у Бориса странное чувство долга. Откуда оно взялось? Что он должен и кому? Почему у отца не было этого чувства, когда он зарплату в карты проигрывал? Или когда, вместо того чтобы домой продуктов купить или просто денег матери дать, покупал водку? Борька реально недодал: не особо разгонишься на зарплату рядовой сборщицы, да еще когда ее задерживают. Совсем туго стало, когда завод прикрыли. Вот тогда Юрий Школьник и решил бросить семью. Ушел, как отрезал. Мать с сыном кормились с бабушкиного огорода да на копейки от разовых подработок.

Несколько раз Борька видел отца в кафе и ресторанах, в компании пьяных друзей и шумных, размалеванных женщин. Видно, дела у того шли неплохо, раз он такое себе позволял. Однако сына Юрий не замечал и не вспоминал. Сказано же — не нужен...

А может, теперь у Борьки внутри скребет не долг, а жалость? Ведь когда через много лет отсутствия отец появился на пороге, выглядел он, прямо скажем, непрезентабельно.

— Узнаешь, сынок? — без особой надежды на теплый прием спросил тогда Юрий.

Совсем недавно это случилось, еще и пары недель не прошло.

* * *

— Узнаю, — ответил Борис, не понимая, что отцу от него нужно.

— В домпустишь?

Он молча посторонился и рукой указал: «Проходи».

Юрий вошел на пару шагов, лишь бы дверь закрылась, и вытянул шею, изобразив, будто заглядывает за угол:

— Один?

— Жена скоро придет.

— Да, идет времечко, течет... — философски изрек отец и начал покусывать губы, вероятно, подбирая слова.

Борис разглядывал незваного гостя. Тот был какой-то помятый, неуверенный в себе — словно пес помойный. Резкость осталась, но это от

желания скрыть свою слабость: оскалиться на любого, броситься с боевым воплем, но поджать хвост и тут же сдать назад, если нахрапа не испугаются.

— Вырос ты, Борька.

— Я знаю, говорили, — усмехнулся сын.

— Ладно, я сильно извиняться не буду. — Отец мазнул взглядом по его лицу и стал разглядывать плинтус. — Было и прошло. Забудем. Тут другое...

— Что «другое»?

— Мы ведь не чужие, одна кровь. Давай так...

Борис напрягся: уж очень все было неожиданно. Отец пришел, почти извинился, предлагает...

— Приходите ко мне в гости! — выдал Юрий.

— Не понял.

— Чего тут не понимать? В следующую пятницу приходите всей семьей.

— Какой семьей? — все еще не врубался сын.

— Хорош прикидываться, Боря, — расплылся в улыбке Юрий. — Семья — она одна: ты, жена, мать, бабка...

— Бабушки уже нет.

— Ну ничего, — продолжал улыбаться отец, — все равно приходите. Посидим, чаю выпьем, поговорим... Что ж мы — не родные? С женой познакомишь. Короче, в пятницу вечером к семи часам жду! Полевая, сорок два, квартира шесть.

— Неожиданно как-то...

— Хорошо, что ты менжуеться! Ладно тебе... Все, я пойду. — Отец хлопнул Бориса по плечу — мол, решено, — взялся за ручку двери и, уже уходя, обернулся: — Приходите обязательно!

Неделю Борис ходил, терзаясь сомнениями. Сначала, естественно, рассказал о визите отца Ларисе. Она выслушала без особого энтузиазма, пожала плечами, но подошла по-деловому:

— Можно, если ненадолго. А что за событие? Не юбилей, часом? Может, подарок нужен?

— Кто его знает, — почесал голову Борис. — Я и не помню, когда у него день рождения. Вроде весной. Нужно уточнить.

А у кого уточнять, как не у бывшей жены? Ирина Викторовна, когда услышала, что Юрий хочет установить контакт с сыном, призадумалась:

— С чего это он? Не был, не был, и вдруг — приходите. Не-не-не, я точно не пойду! Нечего мне там делать. Мне с прошлого раза хватило «угощений». А день рождения у него уже прошел, одиннадцатого марта был. И не юбилей вовсе, пятьдесят один год ему исполнился... Короче, как хотите, ничего советовать не буду.

— На всякий случай купим торт. Неудобно как-то с пустыми руками, — рассудила Лариса. — Захотят — на стол поставят, не захотят — их дело.

— Умничка! — чмокнул жену в щеку Борис.

В пятницу Борис с женой шли по улице Полевой, как и было условлено, около семи вечера. Троллейбус и то, что принято называть цивилизацией, остались в нескольких кварталах позади.

Район, в котором проживал Юрий Михайлович Школьник, в городе считался не очень спокойным: драки, семейные скандалы «с последствиями», ограбления здесь совершались, по статистике, в несколько раз чаще, чем в других местах. Даже днем его узкие переулки, многочисленные проходные дворы, хаотично расставленные сараи и гаражи, таинственно заросшие сады, в которых скрывались брошенные, полуразрушенные дома частного сектора, служили хорошим убежищем для граждан, склонных к насилию и легкой наживе, отмеченных характерными наколками на руках и не боящихся ответственности перед законом. А уж в темное время...

В семь вечера темнота еще только собиралась опускаться на город, и поэтому Лариса и Борис, чуть опасливо поглядывая по сторонам, подошли к дому номер сорок два благополучно. Старое трехэтажное здание, когда-то окрашенное в грязноватый оттенок оранжевого, сейчас щерилось потрескавшимся цоколем и углом с обвалившейся штукатуркой. Но дом был еще крепким, выглядел обжитым, хотя, судя по виду, готовился отмечать столетие (а то и отметил); его фасад «освежали» несколько пластиковых окон.

Нужная квартира находилась на втором этаже.

— О, сынок пришел! — громко и радостно встретил Юрий Бориса. — Молодец, вовремя. И не один! Очень хорошо. Проходите, проходите...

Борис и Лариса прошли в комнату. Посередине стоял накрытый стол, за которым уже сидели несколько гостей. Спinoй к окну — коротко стриженный крупный мужчина, на вид лет шестидесяти, с уверенным взглядом и легкой улыбкой. Справа от него — худой человек лет пятидесяти с длинным носом и близко посаженными глазами. Рядом с ним — женщина с волосами ярко-рыжего цвета с заметно отросшими темными корнями и глазами странными, почти бесцветными. Почему-то сразу становилось понятно, что эти двое — муж и жена. Напротив них — высокая дама, вероятно когда-то красивая, но теперь оплывшая, с заметными мешками под глазами и не очень здоровой кожей лица, которое она покрывала косметикой с явным перебором.

Вошедшие поздоровались.

В ответ длинноносый молча кивнул. Его жена только повела глазами. Высокая дама по-хозяйски сделала приглашающий жест:

— Проходите, ребята, не стесняйтесь! Что вы там в дверях? Присаживайтесь вот сюда.

При знакомстве выяснилось, что пара — это старые товарищи Юрия, Дмитрий Дмитриевич и Татьяна (отчество названо не было), с которыми он много лет назад работал на заводе. Высокая, уверенная в себе хозяйка — Маргарита, в настоящий момент гражданская жена, как теперь принято называть.

— Владимировна, — добавила она, когда старший Школьник назвал только ее имя.

Вскоре обнаружилось, что Юрий Михайлович не был самым старшим Школьником в этой компании. Крупный мужчина, которого звали Павлом Ивановичем, оказался его двоюродным братом. И не просто братом — капитаном первого ранга с Черноморского флота! Он недавно вышел на пенсию и решил проведать родственников, с которыми очень давно не виделся, для чего теперь совершал тур по нескольким городам. Про Павла в семье рассказывали истории, что он командовал крейсером, не раз ходил в кругосветку, удостоен невероятного количества наград. Но случилось так, что он как уехал когда-то давно поступать в морское училище, так больше и не появлялся: видно, служба оказалась такая, что от нее не уедешь в отпуск. Вспоминали его не часто и, скорее, как семейную легенду, чуть ли не мифического героя. Борису интересно было наконец посмотреть на дядю — морского волка — вживую. Старый моряк тоже рассматривал племянника, не спеша задавать вопросы.

И тут стали понятны и неожиданное приглашение в гости, и показная радость Юрия Михайловича от встречи. Ему совсем не хотелось раскрывать перед братом, что он давно живет без полноценной семьи, с сыном не видится и вообще, по сути, неудачник и пустышка. Наоборот, хотелось показать, что жизнь вокруг него кипит, а он в центре, он успешен и чего-то стоит, не ниючемка бесполезная. Для этого и стол, и компания. Вроде и шутить Юрий Михайлович старается, атмосферу праздника создать, но ведь говорить-то не о чем. С братом не виделся лет тридцать — нет общих тем. Друзья из давнего прошлого, Дим Димыч и Татьяна, которых тоже, видимо, как и Бориса, пригласили для массовой, — в основном молчали. Тишина застолья прерывалась короткими фразами и тостами за знакомство, за встречу... Третий тост — «за тех, кто в море», — предложил Павел Иванович.

— Морская традиция, — подчеркнул он и выпил стоя.

Все поддержали. Затем братья недолго повспоминали умерших родственников, выпили за упокой. Поругали власть — умеренно; чтобы не молчать, сравнили цены раньше и сейчас; выдали свои соображения насчет политической обстановки. Выпили под тост «ну, будем!». После каждой рюмки Юрий все больше мрачнел, и ему все тяжелее было сохранять лицо добродушного и хлебосольного хозяина. Он напрягался, выискивая темы для беседы, гримасничал в паузах разговора, постоянно распрямлял насупленные брови и растягивал руками губы — сводило их, наверное. Во взгляде появилось что-то упрямое, зрачки подолгу задерживались на чем-нибудь одном.

Молчаливого Дим Димыча быстро развезло, и Татьяна, потянув его из-за стола и словно извиняясь, сообщила:

— Мы пойдем, наверное.

— Ага, идите! — пьяно одобрила это решение хозяйка, даже не предложив им чаю, чтобы задержать еще ненадолго, — и стало ясно, что их компания ей в тягость.

Похоже, Маргарите эта показуха тоже давалась непросто: гражданская жена отца давно уже отвыкла от ритуалов и приличных манер. Судя по всему, они с Юрием часто выпивали и обходились без лишней мороки со столовыми приборами, которые надо мыть, расставлять...

Боря и Лариса все чаще переглядывались: не пора ли и им отчалить, чего высиживать в неприятной компании? Тем более что в разговоре они почти не участвовали. На дядю посмотрели, себя показали — программа выполнена, можно быть свободными.

Павел Иванович оставался почти трезв — то ли мощная комплекция помогала, то ли природная устойчивость. Если другим водка глаза застила, то ему, похоже, наоборот — открывала. Вскоре он уже смотрел на брата с сожалением. Юрий Михайлович, похоже, почувствовал это. Но не зря же он организовывал застолье! Ему так хотелось услышать от брата похвалу хоть за что-то. Только подкрепить это свое желание было нечем: анекдоты выходили не смешными, ярких событий в его жизни не случилось...

Павел Иванович начал поглядывать на часы.

— Торопишься? — заметила это Маргарита, хотя казалось, что она совсем не смотрит в его сторону. — Такси вызвать?

— Заткнись, дура! — зло бросил ей Юрий. — Напилась, так сиди молча.

— Почему? — повела осоловелыми глазами женщина. — А если человеку на поезд...

— Пасть прикрой, сказал! — повысил голос хозяин дома.

— Юра, все правильно. Не шуми. Я ведь говорил, что сегодня уезжаю. У меня совсем немного времени осталось.

Павел Иванович встал со стула и сделал глазами знак Борису: «Пойдем».

— Хоть чайку на дорожку! — попытался остановить Юрий Михайлович уходящих родственников. — Торт вот стоит... Рит, сообрази чайник.

— Ца, секундочку... — Женщина сделала попытку встать, но ее качнуло, и она чуть не упала.

— Нет-нет, не стоит. Мы пойдем. Да, племян? Лариса, собирайся! — безапелляционно, командирски басил Павел, продвигаясь к двери.

Когда брат сделал слабую попытку удержать его за руку, пообещал:

— Вот съезжу в Питер, затем в Москву — и на обратном пути постараюсь заехать. Мне правда пора. Такси я уже вызвал. Рад был повидаться.

Провожая родственников, Юрий через порог так и не переступил, задержался в дверях, потому что Маргарита опять что-то сказала, из-за чего он начал её выговаривать в не самых культурных выражениях.

Гости вышли на улицу вместе. Такси уже ожидало.

— Да, паря, слышал я, конечно, что все не очень хорошо, но чтобы так... — с сожалением сказал моряк. — Ну ничего, ты, как я вижу, молодец, справляешься. Это правильно. Мало ли как оно у родителей... Вот тебе мои контакты, — он протянул визитку. — Будет нужна помощь — звони. Чем смогу, помогу.

Борис принял картонный прямоугольник, на котором был нарисован якорь, указана фамилия дяди и внизу мелко приписано звание и «Военно-морская академия». Вот оно как — дядька-то академик, оказывается! И военный, и ученый — интересный человек. Жаль, что толком пообщаться не удалось.

— Может, к нам заедете, дядя Паша? Чайку организуем. А то неудобно так вот...

— Нет, не нужно, я действительно уже опаздываю. В другой раз. Куда вас подбросить?

Борис взглянул на жену, ища поддержки, но та женской интуицией почувствовала, что зазвать моряка в гости не получится.

— Остановите у «Богатыря», — сказала Лариса водителю и пояснила для Павла Ивановича: — Там всего-то через двор пройти.

Так и расстались дядя с племянником. Увиделись впервые в жизни и интересны друг другу, а не поговорили...

Было это всего час назад.

* * *

— Борь, ты хоть такси вызови. Сейчас ни маршруток, ни троллейбусов уже нет, наверное.

Таксист не особо обрадовался, когда узнал адрес, пришлось пообещать чуть больше обычного тарифа. Когда Борис подъехал к дому отца, стояла глубокая ночь. Фонари заканчивались возле двадцатых номеров. В сорок втором доме светились три окна. На лестничной площадке, закрытая жестяной панелью с несколькими отверстиями, слабо обозначала свое присутствие маломощная лампочка.

— Приехал, молодец, — хмуро встретил сына Юрий. — Пойдем на кухню.

— Что случилось-то? — Борис прошел по темному коридору. — Ты таким тоном говорил — я подумал, что-то страшное произошло.

— А разве не произошло?

— В смысле?

— Я разве так хотел? Пашка — он вон какой! А мне и рассказать нечего... Сердце защемило, хоть вешайся.

— Ну а я зачем?

— Понимаешь... Давай выпьем, тянет здесь, — Юрий смял рубаху на груди, словно хотел ее рывком сорвать.

И Борис, раз уж приехал, решил узнать, что может заставить взрослого мужчину чуть ли не плакать в телефонную трубку:

— Давай.

Отец налил в стаканы. Рассказывать, зачем позвал сына вернуться, он не торопился. Выпили.

— Куришь?

— Не. Пробовал, не понравилось. — У Бориса запершило в горле от большой дозы крепкого спиртного.

— На, загрызи, — Юрий подвинул ему тарелку с остатками колбасной нарезки. — А я курну.

И тут же задымил, даже не открывая окно.

— Ритка, сука, весь вечер испоганила. Вякает не по делу. Помолчать не могла, падла! Что теперь Пашка подумает?.. Что он тебе сказал?

— Да мы как-то не успели поговорить. Тут же ехать всего ничего. И он на поезд торопился.

— Видел я, как он на меня смотрел. Как на пса шелудивого.

Борис ничего не ответил. Отец снова налил ему и себе. Отказаться было неудобно. Потом еще раз выпили, и еще...

* * *

— Вставай, хорош спать!

Борис открыл глаза. Вот же незадача, заснул! Сказались, наверное, и усталость, и водка, и задымленность помещения. Вырубился. Вот только разбудил его... милиционер с четырьмя звездами на погонах.

— Рассказывай, что тут произошло? — чуть устало, но уверенно распорядился капитан.

Борис перевел взгляд ему за спину. В коридоре стоял еще один сотрудник. Из глубины квартиры раздавались деловитые голоса, односложно, приглушенно. Промелькнул человек в зеленоватой куртке, такие носят врачи скорой помощи.

За окном еще темно. По ощущениям — раннее утро. Голова гудит, во рту неприятный привкус.

— Не понял, — Борис в недоумении уставился на милиционера. — Что происходит?

— Вот это, гражданин, я и хочу узнать.

— А что? Ну, выпили. Я в гости зашел. Вот мы и...

— Это я вижу. Ты по делу говори, — настаивал капитан.

— По какому?

— Ты за что женщину убил?

— Какую женщину? Я никого... Погодите, что случилось? Почему милиция?

— Пойдем, может, так вспомнишь, — капитан посторонился. — Предупреждаю, не дергайся! Не в твоих интересах.

В сопровождении двух милиционеров Борис прошел в соседнюю комнату. Возле дверей стояли два крепыша в медицинских куртках. У двери, на боку, прижав руки к животу, лежала Маргарита. Под ней растеклось и уже подсыхало пятно крови. Кровь также застыла возле рта и носа. Чуть дальше в комнате на стуле сидела женщина и заполняла какие-то бланки.

— Вспомнил? Теперь будешь говорить?

Борис оцепенел. Он понял — его обвиняют в убийстве. Но он же не видел Маргариту с того момента, как вместе с дядей и Ларисой вышел из квартиры...

— Не знаю, — только и смог он выдавить из себя.

Запах крови и перебор с алкоголем вызывали в желудке позыв освободиться от лишнего.

— Что ж, разберемся. Дело нехитрое, — пожал плечами капитан. — Зря ты так. Отказ от сотрудничества — не в твою пользу.

— Но это не я! Я никак не мог!

— А вот твой отец утверждает обратное.

На кухне Юрий Школьник давал показания под протокол:

— Ко мне брат приехал в гости. Не виделись давно. Ну, решили посидеть, отметить. Поговорили, приняли немного, ясное дело... Все было хорошо. Затем брат на поезд заторопился, и все разошлись. Быстро как-то все получилось, я и сообразить не успел. А у нас же стол накрыт, готовились. Не пропадать же добру, вот я сыну и позвонил. Он приехал. Сидели, выпивали, за жизнь разговаривали... Видимся редко, мы ведь с его матерью в разводе давно. После я уснул. А когда проснулся, Рита на полу хрипит, вся в крови, а он, — Юрий качнул подбородком в сторону кухни, — дрыхнет пьяный. Поссорились, наверное. Рита, она вечером резко о гостях отзывалась. Так-то не против была, готовились вместе... Просто вышло так. Борька тогда еще на нее зыркнул, я заметил... Как только я ее нашел, то сразу скорую и милицию вызвал. А что они с Борькой не поделили и как все случилось — не знаю, не видел... Вот же беда... и как теперь...

Юрий Михайлович говорил в пол, низко наклонив голову, изредка поднимал взгляд — и снова опускал, всем видом показывая, что на него навалилась огромная тяжесть и он не в силах держать голову прямо. Руки безвольными плетями лежали на коленях, и вся фигура была как обмылок: так и стремилась убрать острые углы, превратиться в бесформенную кучу, без стержня, без костяка. И голос звучал невыразительно, недоумевающе, словно искал объяснение произошедшему.

— Что теперь скажешь? — с прищуром глядя на Бориса, поинтересовался капитан, цепко выискивая на его лице растерянность, неуверенность.

Он уже составил для себя схему преступления и определил фигуранта.

— А как же я ее мог?.. — Борис все не верил, что на него повесили такое обвинение.

— Не хочешь сознаваться, значит? Дурика включил? Здесь же яснее ясного — забил ты ее насмерть! Гражданочка в возрасте, да и выпивши. Ты ее повалил и ногами топтал по животу. Продуман*! Решил, если у тебя на руках следов не будет, мы не сообразим? Не ты первый. А что делили? Квартиру? Из-за наследства сцепились?

— Да какое наследство?! Я знать ничего не знаю. И на кой я сюда пришел...

— Начинаешь соображать. Давай-давай, колись, не тяни!

— Не знаю я ничего! И никого не убивал. Мы с ней даже не разговаривали.

— Короче, парень, смотри. Даю последний шанс. — Увидев, что Борис вспыхнул, милиционер заговорил доверительным тоном. Когда волна эмоций ударяет подозреваемому в голову, самое время сыграть на его растерянности. — Сейчас расскажешь, как вы из-за наследства с гражданкой поспорили, как ты ее толкнул, а она упала, — и получишь максимум два года. А будешь быковать — минимум десятка тебе светит за умышленное... Ну?

* *Продуман* — (жарг.) хитрец, изворотливый человек.

По словам милиционера, кроме Бориса, убить Маргариту было некому. Отец? Какая ему выгода — квартира и так его. А просто так жену прикончить... Сколько лет вместе и ни разу на ссорах не засветились, ни одного вызова по их адресу не было. Никаких предпосылок, словом.

Выходило, что сын, обиженный трудным детством и не получавший внимания от отца, приревновал его к посторонней женщине. Пока никто не видит, устроил с Маргаритой ссору и несколько раз сильно ударил ее ногами в живот. Отбил ей жизненно важные органы, отчего началось внутреннее кровотечение, вот Маргарита и скончалась. Целых два мотива присутствуют — ревность и корысть. Логика идеальная.

Бориса Школьника препроводили в камеру до суда. Он опустился на нары и сидел с гудящей головой, уставившись невидящими глазами на закрытую дверь. Пытался собраться с мыслями, но ничего не выходило. Уж очень все ладно против него выстраивалось, а самое обидное, что он действительно ничего не помнил...

Выпустили его через сутки. Помогла Лариса. Она голову не потеряла и потребовала сличить время наступления смерти со временем вызова такси. Как кстати оказался этот вызов! Выяснилось: когда Борис только садился в такси, Маргарита уже была мертва.

Пока отец наливал сыну водку на кухне и разглагольствовал, тело его подруги остывало в соседней комнате. Юрий начал ее бить сразу, как только гости ушли, — за то, что вела себя неподобающе и перед заслуженным братом его унизила своими словами, открыла истинное положение вещей. А когда Маргарита перестала дергаться и у нее изо рта пошла кровь, тут-то он и понял, что перегнул палку. Решение позвать сына возникло спонтанно: его последнего видел, вот и мелькнула идея...

Получил Юрий Михайлович десять лет пребывания в зоне строгого режима на севере Кировской области. Вернулся через восемь.

* * *

И снова в квартире Бориса Школьника появились люди в форме, но теперь уже из полиции:

— Борис Юрьевич, вам нужно проехать с нами.

Поехали по знакомому адресу: Полевая, сорок два, квартира шесть. Дверь была взломана. В квартире, как и несколько лет назад, находились сотрудники ОВД и медработники. В носшибанул запах затхлости и недавней смерти. Борис не без труда узнал в худом старике, скорчившемся на полу у дивана, своего отца. Тот сильно изменился, почернел весь.

— Подпишите протокол опознания, — равнодушно и буднично произнес сотрудник полиции. — Значит, сейчас мы его увезем на вскрытие, а после сообщим вам, когда можно будет забрать...

— Зачем забрать?

— Как это зачем? Вы ведь сын. Единственный родственник. Похороните как положено... Или вы отказываетесь?

Борис Школьник не отказался. Но в его сердце, кроме досады, ничего не было.

Илья ФОНЯКОВ

**РАЗМЫШЛЕНИЯ
НАД ШКОЛЬНОЙ АЗБУКОЙ**

*Стихи этих лет**

В архиве Геннадия Абольянина, среди тысяч книг, писем, фотографий, копий стихотворных автографов, присутствовал лист А4, согнутый буклетиком, в шесть страничек, и озаглавленный: «Размышления над школьной азбукой. Стихи этих лет». Рядом с заголовком от руки написано: «Гене Абольянину от автора-самиздатчика, с приветом от королевы Гвинеи (?). Илья Фоняков. 6.10.96».

Геннадий Михайлович Абольянин (1931—2007) — человек для Новосибирска легендарный. Один из основателей Дома Цветаевой — культурного центра при Новосибирской государственной областной библиотеке, бескорыстный энтузиаст, собиратель и хранитель материалов о Борисе Пастернаке, Анне Ахматовой, Марине Цветаевой. Очерк о нем мы публиковали в № 3, 2010.

С известным советским и российским поэтом, журналистом, переводчиком Ильей Олеговичем Фоняковым (1935—2011) Геннадий Абольянин был хорошо знаком еще с тех пор, когда тот жил в Новосибирске, руководил литературным объединением при газете «Молодость Сибири». В 90-х годах Илья Фоняков обрелся уже в Санкт-Петербурге, а Геннадий Абольянин служил при местной картинной галерее (Новосибирском государственном художественном музее) простым рабочим. Несмотря на скромную зарплату, отказывая себе в самых элементарных бытовых благах, Абольянин изыскивал средства для многочисленных поездок по стране и даже поездок в Европу, поездок, совершенно необходимых для его страсти, — так он собирал информацию и материалы о, как он выражался, «его поэтах». Очевидно, в одну из таких поездок, в октябре 1996 года, Абольянин и получил от Фонякова крошечную самиздатовскую книжку — отпечатанный на матричном принтере листок с четырнадцатью стихотворениями.

* Орфография и пунктуация оригинала сохранены.

Стихотворения из этого самодельного издания мы и предлагаем вашему вниманию. Большая часть текстов, насколько нами установлено, не была в последующем напечатана, некоторые тексты — малоизвестны. Все стихи пронизаны горькими размышлениями о текущем моменте, о сложившейся в России ситуации, о судьбе человека в этой новой «взбурдаженной стране»; все они буквально пропитаны духом 1990-х годов. Недаром автор поставил подзаголовок: «Стихи *эти*х лет».

Редакция благодарит Савченко Станислава Алексеевича, директора антикварно-букинистического магазина «Сибирская горница», за предоставленный для публикации материал.

* * *

Вечный кубок — Свобода!
Он во все времена
Полон, кажется, меда,
Золотого вина.
Что ж сдвигаешь ты брови,
Что кривишься, браток?

— Чист — без грязи, без крови —
Только первый глоток...

* * *

На какой-то коротенький миг
(Только миг — в историческом плане)
Правда людям явила свой лик
И опять растворилась в тумане.

И на длительные времена,
А не на две, не на три недели
Хватит споров: какая она?
Повидали да не разглядели.

* * *

И опять: хотели-то — как лучше!
Обличая прошлого грехи,
Поднимались, гневны и колючи,
Сочиняли дерзкие стихи.

Намечали новые дороги,
Упивались правдой без прикрас...

Только получается в итоге
Все не так. Уже в который раз.

Вот сижу теперь и барабаню
Пальцами по краешку стола:
Не по замыслению Бояню
В мире совершаются дела!

Размышление над школьной азбукой

Тщеславным, честолюбцем назовите,
Но помнится, что в юности, сперва
Мечтал я быть в житейском алфавите
Начальной, громогласной буквой «А».

Меня за это строго наставляли,
Наказывали: скромнень будь и прост —
И, воспитанья ради, отправляли,
Как букву «Я» — куда-то в самый хвост.

А ныне в мире странном и неясном,
В безумной, взбудораженной стране,
Быть не хочу ни гласным, ни согласным,
Шипящим быть, свистящим — не по мне.

Сегодня, до известности не лаком,
Здесь, в этом мире, быть хотел бы я —
Ну, разве что беззвучным мягким знаком,
Смягчающим жестокость бытия.

Инфляция

На базаре — киоск:
Платья, куртки из кожи...
«Покупайте сейчас —
Завтра будет дороже!»

Приглашают в круиз:
Крит, Мальорка...
И тоже:
«Поезжайте сейчас —
Завтра будет дороже!»



Рок-ансамбль прикатил:
Шум, толпа молодежи...
«Веселитесь сейчас —
Завтра будет дороже!»

Жизнь дается одна.
В спешке, в сладостной дрожи —
Рви, хватай, не зевай:
Завтра будет дороже!

Крематорий... И тут —
Неужели, о боже? —
«Умирайте сейчас,
Завтра будет дороже!»

* * *

По солнечным дрожащим пятнам,
Спустясь на землю с облаков,
Иду на рынке необъятном
Сквозь неопрятный строй ларьков.

Зашел, поинтересовался,
Почем вино, почем кефир...

Не вжился, но *всуществовался*
В преображающийся мир.

* * *

Что сетовать напрасно,
Что дергаться, чудак?
Ежу ведь было ясно,
Что обернется так!

Несложно откровенье:
Накликал, так терпи.
Нерасторжимы звенья
Логической цепи.

Не сами ли ковали
Мы каждое звено?
Еще и ликовали,
Что удалось оно!

Хихикают подонки:
 Что сеешь, то и жнешь.
 И фыркает в сторонке
 Тот самый серый еж.

* * *

Новый Год... Шампанское с хвоинкой,
 Мандариновая кожура...
 Ночь долгоиграющей пластинкой
 Крутится до самого утра.
 Фонари на улице качает,
 Календарный свертывает лист —
 И упрямо что-то обещает —
 Безответственно,
 как популист.
 Ну, а мы, привыкшие к потерям,
 А не к обретениям давно,
 Все-то ей не верим, все не верим...
 И немножко верим все равно!

Объявление

Близ рынка — петербургские трущобы,
 Объявки на заборах и столбах.
 Афишка дрессировщика собак:
 «Курс послушанья. Выработка злобы».
 Так вот, выходит, что всего нужней
 И людям, и собакам наших дней!

Из диалогов с читателем

- Надоела «чернуха» и ужасы эти!..
- Но ведь жизнь такова, согласишься, не греша!
- Что ж, согласен, пожалуй...

Но только ответьте:

Что есть самая главная правда [на] свете —

То, что есть,

или то, чего ищет душа?

Признание приятеля

На пиру, где правят короли
Темных дел,
 пройдохи и мерзавцы,
Слава богу, чарой обнесли.

Сам бы не решился отказать.

* * *

«Кто не помнит прошлого, ребята,
У того и будущего нет!..»
В твердый грунт врезается лопата,
В плотные потемки, в толщу лет.

Мы и сами не подозревали,
Сколько понатолкано туда!
Громоздятся грудой, как в подвале,
Камни, бревна, трубы, провода.

Ссоримся, торча по пояс в яме,
Дышим яростно и тяжело:
Не расщепишь — так сплелись корнями
Правда и обман, добро и зло.

Наши расхожденья и тревоги
Не рассудит мать сыра земля.
Может, лучше было бы в итоге
Все зарыть и начинать с нуля?

Перед стартом

В космос вновь нацелена ракета.
Может, впрямь придем
К мысли, что пора на звездах где-то
Строить новый дом?

Как ни осторожничаем, все же
Множимся в числе.

Вот и вправду стало нам, похоже,
Тесно на земле.

Неба утренняя акварельность.
Ветер прогудел...
Что нас ожидает — беспредельность
Или беспредел?

Владимир БЕРЯЗЕВ

«НЕ УМЕЮ О ЛЮБВИ — ВЕРЛИБРОМ...»

Среди событий фестиваля «Белое пятно», прошедшего в конце ноября 2019 года в Новосибирске, было весьма неоднозначное — круглый стол под названием «Русский верлибр: пересмотр итогов приватизации».

Первый и естественный мой вопрос к инициаторам круглого стола — писателям Игорю Караулову (Москва) и Вадиму Левенталю (Санкт-Петербург) — был такой: а кто, позвольте узнать, сумел приватизировать, сделать своей собственностью верлибр в России? Насколько это возможно после эталонных двух верлибров Блока, после Крученых, Хлебникова Велимира, Кузьмина Михаила и других, еще век тому назад возделывавших эту ниву?

Оказывается, интрига обсуждаемой темы, по согласному мнению Караулова и Левенталья, состоит вот в чем. За сочинителями одного продукта — русскоязычного свободного стиха — в недалеком прошлом закрепились сомнительная репутация: всех верлибристов считали членами ЛГБТ-сообщества, а лидером их называли Дмитрия Кузьмина — активного участника гей-движения, издателя журнала «Воздух», куратора фестиваля «Поэзия без границ», москвича, лет пять назад эмигрировавшего в Латвию.

Однако в последние годы отношение к верлибру в корне поменялось, верлибр, как считают Караулов и Левенталь, становится широко распространенным, а сочинители его представляются нам — точно так же, как и европейцы, полтора века назад забросившие писать в рифму, — продвинутыми и цивилизованными; на них уже не лежит клеймо приверженцев нетрадиционной сексуальной ориентации.

* * *

Не перестаю удивляться...

За сорок лет литературных занятий мне ни разу не приходило в голову связывать стихотворную форму и эротические пристрастия автора. Мы и проблем-то таких не знали, а верлибр для меня всегда был лишь одним из способов говорения, поэтическим опытом, причем опытом для русской традиции довольно-таки редким.

Вот сегодня, когда я пишу эти строки, на дворе 28 ноября — день рождения Александра Блока. Дотошные литературоведы подсчитали, что за всю жизнь, испробовав многое, он создал всего шесть верлибров (это меньше процента от написанных им стихов), но зато среди этих шести есть два шедевра, без которых невозможно представить Серебряный век русской поэзии. Это, разумеется, тексты, посвященные Елизавете Пиленко и Наталье Волоховой.

Когда вы стоите на моем пути,
Такая живая, такая красивая,
Но такая измученная,
Говорите всё о печальном,
Думаете о смерти,
Никого не любите
И презираете свою красоту —
Что же? Разве я обижу вас?

О, нет! Ведь я не насильник,
Не обманщик и не гордец,
Хотя много знаю,
Слишком много думаю с детства
И слишком занят собой.
Ведь я — сочинитель,
Человек, называющий все по имени,
Отнимающий аромат у живого цветка.

Сколько ни говорите о печальном,
Сколько ни размышляйте о концах и началах,
Все же, я смею думать,
Что вам только пятнадцать лет.
И потому я хотел бы,
Чтобы вы влюбились в простого человека,
Который любит землю и небо
Больше, чем рифмованные и нерифмованные
Речи о земле и о небе.

Право, я буду рад за вас,
Так как — только влюбленный
Имеет право на звание человека.

Это — обращение к пятнадцатилетней Лизе Пиленко, которой суждено было стать поэтессой Кузьминой-Караваевой; мир узнал ее как монахиню мать Марию. Она погибла в 1945 году в газовой камере концлагеря Равенсбрюк. На смерть она пошла добровольно — вместо одной из отобранных женщин. В 2004-м была канонизирована Константинопольским патриархатом.

Актриса Наталья Волохова, у которой с поэтом был достаточно бурный роман — их отношения продлились почти два года, — стала героиней циклов традиционных рифмованных стихов «Снежная маска» и «Фаина». И именно она вдохновила Блока на самый известный, как мне кажется, верлибр в русской поэзии:

Она пришла с мороза,
Раскрасневшаяся,
Наполнила комнату
Ароматом воздуха и духов,
Звонким голосом
И совсем неуважительной к занятиям
Болтовней.

Она немедленно уронила на пол
Толстый том художественного журнала,
И сейчас же стало казаться,

Что в моей большой комнате
Очень мало места.

Все это было немножко досадно
И довольно нелепо.
Впрочем, она захотела,
Чтобы я читал ей вслух «Макбета».

Едва дойдя до пузырей земли,
О которых я не могу говорить без волнения,
Я заметил, что она тоже волнуется
И внимательно смотрит в окно.

Оказалось, что большой пестрый кот
С трудом лепится по краю крыши,
Подстерегая целующихся голубей.

Я рассердился больше всего на то,
Что целовались не мы, а голуби,
И что прошли времена Паоло и Франчески.

Таким образом, если оглядываться на Александра Блока, верлибр в русской поэзии есть забава, некая диковинка, которую можно позволить себе в одном случае из полутора сотен — ради разнообразия, ради особой задушевности разговора с милыми девушками.

* * *

Еще одно мнение о верлибре.

В Литинституте я учился в одной группе с питерским поэтом Геннадием Григорьевым. (Увы, Гены уже давно нет на этом свете; сейчас существует поэтическая премия его имени.) Так вот, человек дивно талантливый, поэт стихийный, зачастую не знавший тормозов, любимый всем нашим семинаром Гена Григорьев имел твердую позицию по поводу верлибра:

Пусть свободный стих
сегодня моден.
Не гонюсь, любимая, за модой.
Русский стих и без того свободен
полновесной пушкинской свободой!
Если я слова еще рифмую,
если я созвучия ловлю,
значит, я тебя еще ревную,
значит, я тебя еще люблю.
Либо — либо... На черта мне выбор!
Я тебе — словами — не солгу.
Не умею о любви —
верлибром,
о тебе —
верлибром не смогу.

Признаюсь, я полностью разделяю эту точку зрения, еще и в столь прекрасной стихотворной форме выраженную.



В фестивале «Белое пятно» принимала участие еще одна замечательная поэтесса, филолог и этнограф Ольга Седакова, ее выступление носило название «Поэзия за пределами стихотворства». Стихи Седаковой переведены на десятки языков — и европейских, и азиатских, ее итальянскую книжку представлял читателям Иосиф Бродский, ее стихи очень высоко ценил папа Иоанн Павел II, что само по себе уникально.

Надо сказать, поэзия самой Седаковой во многом обретается за пределами традиционного русского стихотворства, она ближе к свободному европейскому стиху. Но когда я слушал в авторском исполнении целый ряд произведений, особенно триптих, посвященный Иоанну Павлу II (они были знакомы), я понял, что интонация эта мне до боли знакома. Год назад довелось потрудиться над текстами XVII—XVIII веков, я дерзнул произвести литературный переклад духовных песен-стихов алтайских староверов из самых заповедных мест горного Беловодья. Большая была работа. Так вот, в, казалось бы, суперсовременных, пронизанных культурными аллюзиями и смыслами западноевропейского мира стихах Седаковой отчетливо слышится древняя богослужебная традиция, биение ритма духовного слова.

И здесь следует упомянуть рассказ Седаковой о ее беседах с академиком Сергеем Сергеевичем Аверинцевым. Человек он был энциклопедических знаний, обладая феноменальной памятью, держал в голове сотни текстов на латыни, греческом, иврите и так далее. Был период, когда он взялся за труд по реконструкции Евангелия, ибо изначально оно звучало, конечно же, не на древнееврейском, а на арамейском, то есть на наречии старого сирийского языка. Христос говорил по-арамейски, и, разумеется, более чем интересно узнать, услышать, как звучала, скажем, Нагорная проповедь или притча о злых виноградарях в оригинале, иначе говоря — в речевом, устном повторе слов самого Спасителя.

И вот что удивительное обнаружил в ходе своей реконструкции ученый С. С. Аверинцев, который, по словам Ольги Седаковой, в беседах с Юрием Вестелем утверждал следующее: «...некоторые изречения Христа в сирийском тексте вдруг оживают, оказываются маленькими стихотворениями, с игрой слов, аллитерациями, почти рифмами, открывается какая-то их “первозданность”. И тогда уместен вопрос: что является оригиналом, а что переводом?» (Юрий Вестель, «Аверинцев и арамейско-сирийские исследования Евангелия»). По словам Ольги Седаковой, академик приводил ей несколько примеров подобных своих находок, где присутствует «ряд звонких и неожиданно игривых аллитераций в притчах Иисуса», что как нельзя более весомо подтверждает бытующее среди писательского племени мнение, что в своих проповедях Иисус был поэтом. Оно вполне понятно, ибо целью его было, чтобы Слово дошло до сознания слушателей, чтобы запало в душу, запоминалось легко и осталось в памяти надолго. А как этого достичь? Верно, как мы знаем с детских лет, достижимо это лишь в одном случае — когда перед нами стихотворный, зарифмованный, наполненный внутренней музыкой и полнокровным смыслом текст.

В дополнение хочется вспомнить замечательную цитату из Николая Гумилева, фрагмент рецензии 1910 года на книгу стихов Вл. Пяста: «В первые века христианства, когда экстаз был так же обычен, как теперь скептицизм, почти не было общих молитв, исключая ветхозаветных, и каждый член общины невольно создавал свое собственное обращение к Богу, иногда из одной фразы, из двух-трех слов. Но зато эти слова были спаяны между собою, как атомы алмаза; про них было сказано, что прежде пройдет небо и земля, чем изменится хотя бы йота Писания. И позднейшие составители молитв собирали их в венки уже расцененными рядом столетий».

На мой взгляд, и эти высказывания академика, и слова поэта дают новый поворот в обсуждении проблем современного русского верлибра. Все-таки целью поэзии является прорыв к духовному, послушание и послушничество на ниве языка нашего во исполнение того самого веления Божьего — возделывания плодородных пластов Слова и сеяния блага.

Именно так, а не иначе. Не менее, а, может быть, более того.

Мне в общем-то понятно желание автора самоутвердиться через верлибр, выделиться из серой толпы, предстать белым и пушистым интеллектуалом, носителем цивилизационных и общечеловеческих (так называемых) ценностей — в пику некоей быдловатой массе соотечественников, но это не есть истинный путь стихотворчества. И еще одно. Помилуйте, чтобы иметь право выставлять напоказ свою необычность и непохожесть на других, вы для начала продемонстрируйте свою способность дотянуться до мастерства предшественников, покажите уровень в той же силлаботонике, дольнике, акцентном стихе, явите нам свое умение пользоваться гекзаметром, александрийским и элегическим стихом, различными фольклорными метрами. То есть докажите единоличное и несомненное право на эту самую пресловутую свободу.

В этой связи нельзя не процитировать неоспоримую мэтрессу Марину Владимировну Кудимову: «Мне кажется, в верлибре нет тайны искусства. Я не пробовала писать белым стихом — мне это не интересно. Верлибристы напоминают мне тех живописцев, кто не овладел академическим рисунком и решил объявить себя абстракционистом. Но свобода не в том, что ты себе позволяешь, а в том, от чего отказываешься».

Рифма придает завершенность поэтическому тексту, рифма — ограничение в системе безграничного. И уровень рифмования — пожалуй, единственный показатель поэтического мастерства. Обожаю Маршака, у него безупречные рифмы. Запоминаемость — важнейшее качество поэзии. Я застала времена, когда в каждой избе знали множество стихов — Лермонтова, Некрасова, Майкова... А вы можете прочесть наизусть, скажем, произведения Геннадия Айги?

Поэзия — своеобразные консервы, концентрат языка. Рифма не дает этим консервам испортиться. При этом русская рифма неисчерпаема. Нам очень повезло с языком. Он — богатство, сказочное чудо».

Что тут скажешь — прекрасно сформулировано! Желающие могут попытаться возразить, однако сомневаюсь, что кому-то удастся это сделать убедительно.

Завершая разговор о современном русском верлибре, в очередной раз поднятый на новосибирском литературном фестивале «Белое пятно», позволю себе привести еще одну цитату из Марины Кудимовой: «...подчеркну, верлибр давно не “гость случайный” в наших пенатах. И если бы его приверженцы не отстаивали в поэзии каких-то особых прав, — например, не возмущались бы все громче, что этот подвид не изучается в школе, — то и ответного недоумения не получали бы. Настырное правокачание сегодня — прерогатива меньшинств. Чтобы стать равным, следует научиться признавать первенство. Пока что русский верлибр не дал ни одного поэта, признанного великим не в своем кружке, а в обществе, которое, сколь бы ни понизился в нем градус внимания к поэтическому творчеству, все еще отлично понимает, кто принц, а кто нищий. Принцы продолжают рифмовать — и нет им ни дна, ни крышишки. А в остальном — все абсолютно свободны. Как говорил Томас Стернз Элиот: “Автор верлибра свободен во всем, если не считать необходимости создавать хорошие стихи”».

Новосибирскому государственному краеведческому музею — 100 лет

Сергей РОСЛЯКОВ

НОВЫЕ ОТКРЫТИЯ АРХЕОЛОГОВ КРАЕВЕДЧЕСКОГО МУЗЕЯ

Археологическая коллекция Новосибирского государственного краеведческого музея в настоящее время насчитывает 78 309 единиц хранения. Первые поступления археологических предметов в фонды были результатом экспедиционной деятельности Центрального народного музея Новониколаевска, созданного в 1920 году, — в этот период велись сборы подъемного материала из становищ и могильников окрестностей Новосибирска, возможно и с Чертова городища, отмеченного на карте Новониколаевска еще в начале XX века.

Затем коллекция значительно пополнилась во второй половине 1920-х годов после создания Общества изучения Сибири и ее производительных сил и изменения статуса музея, ставшего краевым. В этот период археологические находки поступали из разных регионов Сибири (Алтая, Васюганья, Красноярского края и, возможно, из Хакасии); в фондах хранятся замечательные образцы бронзовых деревообрабатывающих орудий, ножи из Южной Сибири, бронзовые «личины» и идолы из Нарымского Приобья, керамические сосуды с Алтая.

Наиболее же благоприятным временем для формирования коллекции стали 1960—1980-е годы — период активной деятельности Новосибирской археологической экспедиции. Экспедиция, объединившая усилия Новосибирского областного краеведческого музея и Новосибирского государственного педагогического института, была создана в 1959 году по инициативе археолога Т. Н. Троицкой; в результате работы НАЭ было исследовано более сотни археологических памятников, собраны десятки тысяч артефактов, получены материалы, отражающие развитие материальной культуры населения Верхнего Приобья и Барабинской лесостепи на всех этапах человеческой истории.

Особенно интересные находки были сделаны при исследовании погребений у с. Новый Шарап и могильника «Ордынское-1» (Ордынский район, НСО), курганных могильников и поселения у с. Быстровка (Искитимский район, НСО), а также могильников, поселений и городищ в Кольванском районе Новосибирской области — в фонды музея поступили каменные орудия труда со стоянок эпохи неолита, богато орнаментированная керамическая посуда и бронзовые украшения из погребений эпохи бронзы, оригинальная керамическая



Бронзовая бляха «Сцена терзания»

посуда, детали конской упряжи, оружие и изделия, украшенные в скифо-сибирском зверином стиле, литые бронзовые наконечники стрел, топоры и предметы религиозного культа кулайской культуры эпохи раннего железа, оружие, детали конского снаряжения, бронзовые украшения и идолы тюркского времени, предметы быта, посуда и культовые предметы сибирских татар.

Гордостью музея являются два бронзовых изделия, изготовленные в скифо-сибирском зверином стиле и найденные во время раскопок погребений скотоводов скифского времени у с. Новый Шарап. Первое — большая бронзовая бляха, изображающая фантастическое существо: рельефом и сквозными отверстиями переданы очертания тела кошачьего хищника, показаны мощные мышцы ног, лапы с когтями и свирепая морда, а над туловищем по всей длине расположены ветвистые оленьи рога, растущие из затылка животного. Под пастью хищника находится рог барана — это вместе составляет так называемую «сцену терзания», характерную для скифо-сибирского звериного стиля. Второе изделие — бронзовый чекан, грозное оружие с кинжаловидным клинком и молотковидным ажурным обушком в виде стоящих друг на друге четырех медведей. Оформление боевого или парадного оружия изображениями хищных зверей придавало ему магическую силу, увеличивало его боевую мощь.

Не менее интересны и изделия из рога, относящиеся к культуре лесных охотников раннего железного века, обнаруженные при раскопках крепостей у с. Черный Мыс (Кольванский район, НСО), — одно представляет собой панцирную пластину, изготовленную из рога лося, на внешней поверхности которой ножом выгравирована фигура воина, а рядом изображен меч с прямым перекрестием и дугообразным навершием рукояти, другое же является барельефным изображением лося, выполненным очень тщательно и реалистично: лось стоит на четырех ногах, повернув голову назад (скорее всего, это матрица для изготовления литейной формы).



После многолетнего перерыва Новосибирский государственный краеведческий музей в 2011 году вновь организовал собственную археологическую экспедицию, а в качестве объекта исследований был выбран археологический памятник в урочище Березовый Мыс (Мошковский район, НСО). Этому предшествовало неординарное событие — передача в фонды музея найденных одним из новосибирских кладоискателей бронзовых предметов, среди которых были уникальные вещи: наконечники стрел, детали узды, фурнитура поясного ремня и предметы культового литья скифо-сибирского и кулайского облика эпохи раннего железа, бронзовые зеркала, украшенные миниатюрными скульптурками баранов, бронзовые ременные аксессуары в форме животных, изготовленные в скифо-сибирском зверином стиле, бронзовые идолы, аналогичные предметам кулайской культуры раннего железного века. По своему количеству (около 80 единиц) и составу эта коллекция превосходила весь набор подобных предметов, полученных в результате многолетних работ новосибирских археологов.

После первого же выезда сотрудников музея на место находок в мае 2011 года оказалось, что урочище Березовый Мыс давно известно исследователям — оно находится в западной части Мошковского района и расположено на останце террасы левого берега р. Обь, на правом берегу р. Уень; останец представляет собой «остров» посреди пойменного луга, возвышающийся на 11 метров над уровнем воды в старице реки. В урочище в разные годы вели раскопки проф. Т. Н. Троицкая, А. А. Адамов и Л. Н. Мыльникова; были исследованы поселения эпохи бронзы и раннего железного века, а также курганы X—XII вв. н. э., однако каких-либо сенсационных находок в те годы сделано не было.

Весенняя же поездка в 2011 году дала хорошие результаты — в отвалах грабительских раскопов курганов найдены бронзовые детали поясного ремня и наконечники стрел эпохи железа. А лето 2011 года вообще принесло открытие — было обнаружено погребение грунтового могильника раннего бронзового века и участок святилища раннего железного века, из которого и происходили бронзовые предметы, переданные ранее в фонды музея.



Бронзовый чекан с изображениями медведей на обухе

С 2011 по 2019 год экспедицией Новосибирского государственного краеведческого музея под руководством главного научного сотрудника музея, к. и. н. С. Г. Рослякова исследован участок площадью 340 кв. м и во время раскопок выявлены материалы разных эпох: грунтовые погребения эпохи камня и погребения эпохи поздней бронзы, святилище эпохи раннего железа и два погребения под курганами начала II тыс. н. э. — практически все открытия стали сенсацией!

Самые древние находки относятся к каменному веку (IV—III тыс. до н. э.), когда основным материалом для изготовления оружия, орудий и предметов быта были камень и кость. Здесь, на самой южной кромке тайги, впервые раскопан могильник этого времени. Почти все захоронения совершены по одному обряду: умерший человек положен в яму в вытянутом положении на спине, руки вдоль тела. В некоторых погребениях отсутствует череп, что свидетельствует об особом отношении людей к данной части тела (при этом отдельные захоронения черепов на Березовом Мысе пока не обнаружены).

В погребениях мужчин найдены орудия охоты, инструменты и предметы повседневного быта: каменные топоры и тесла, ножи, каменные и костяные наконечники стрел, точильные камни, заготовки для изделий и костяные орудия для их обработки. Замечательной находкой стал наконечник копья, изготовленный из роговой основы и каменных прямоугольных пластин, вставленных в пазы этой основы, — орудие, в котором в любой момент можно заменить испортившиеся лезвия (подобные изделия свидетельствуют о высоком уровне развития производства орудий труда).

В женских погребениях обнаружены скребки для выделки кожи, костяные шилья, керамические сосуды, украшенные по всей поверхности линейным орнаментом, нанесенным по спирали с помощью торца палочки, и имеющие оригинальную орнаментальную особенность — на дне сосуда изображен крест, вписанный в окружность (у многих народов такие изображения символизировали Солнце как основу жизни). В нескольких женских и детских погребениях найдены украшения для одежды — бусы и подвески, сделанные из зубов мелких животных, вырезанные из костей животных и раковин. Помимо сугубо утилитарных вещей, в погребениях также обнаружены и сакральные предметы — путовые кости стопы коня. Эти кости, формой напоминающие туловище человека, для древних людей представляли собой вместилище души умершего, которая должна была возродиться в будущем. Описываемый могильник, по-видимому, служил местом упокоения умерших из племени охотников, населявших 6 000 лет назад леса левого берега Оби.

Не менее замечательны и погребения финального этапа эпохи бронзы (X—VIII вв. до н. э.) — положение человека в могиле говорит об отличных от вышеописанных похоронных традициях: поза спящего на боку с подогнутыми ногами, согнутыми в локтях руками и ладонями у лица была характерна для скотоводов юга Западной Сибири в период позднего бронзового века (XV—VII вв. до н. э.). Также типично для погребального и поминального ритуала этой культуры помещение в могильную яму сопроводительной пищи — мяса домашних животных, а рядом с могилой — сосудов с едой и напитками. Состав погребального инвентаря (женского и детского) — сосуды, бронзовые браслеты и кольца на руках, украшения головы и головного убора (гвоздевидные подвески, серьги, круглые бляшки) — свидетельствует о принадлежности этих погребений к археологической культуре, представители которой расселились

на рубеже II и I тыс. до н. э. по всей территории современной Новосибирской области; в общем, как сказал бы опытный археолог, перед нами ничего нового — банальная «ирмень» (то есть ирменская культура), памятники которой у нас хорошо изучены.

Ирменцы — скотоводы и земледельцы, жившие в больших стационарных жилищах и обладавшие высокоразвитым литейным производством, населяли огромную территорию лесостепной полосы Западной Сибири с X по VIII вв. до н. э. Наиболее яркой чертой этой культуры является геометрический орнамент, украшающий глиняную посуду: ломаные линии, образующие зигзаг, треугольники, «лесенки», а также цепочка ямочных вдавлений, перемежающихся полукруглыми выступами — «жемчужинами». Такой орнамент при взгляде на сосуд сверху, со стороны устья, формировал образ Солнца с расходящимися лучами, который был чрезвычайно важен для древних скотоводов и земледельцев, всю жизнь зависевших от природных циклов и устойчивости погоды.

Еще одной характерной чертой этой культуры были женские бронзовые украшения: кольчатые серьги, украшения для прически или головного убора в виде выпуклых пуговиц и дисковидных блях, трубчатые наконечники, спиралевидные перстни и браслеты с шишковидными окончаниями. Особенно выделяются так называемые «гвоздевидные подвески» — бронзовые изделия в форме изогнутого по дуге гвоздя с большой выпуклой шляпкой. Эти украшения на протяжении трех веков были популярны у женщин от Иртыша на западе до Кузнецкой котловины на востоке и от предгорий Алтая на юге до Притомья на севере; подвески цепляли за основание ушной раковины, а непосредственно украшением становилась большая выпуклая шляпка изделия.

В общем, по основным признакам погребального обряда и инвентаря, все находки, сделанные на Березовом Мысе, вполне вписывались в известный канон новосибирского варианта ирменской культуры, но у нескольких захоронений оказалась необычная для приобских погребальных памятников черта — составленный из гранитных плит и перекрытый такими же плитами ящик, в котором помещался умерший человек. Подобные конструкции не характерны для погребальной традиции населения лесостепной полосы Западной Сибири, однако они были распространены у жителей горных районов Кузнецкой котловины и их соседей в Хакасии. Почему были сооружены каменные гробы в могильниках на Березовом Мысе? Очень интересный вопрос для исследователей...

Возможно, совершавшие эти захоронения были мигрантами из далеких краев, принесшими с собой многовековую погребальную традицию жителей гор, а строительный материал нашелся неподалеку, в 5 км вниз по течению р. Уень в урочище Каменный Мыс, где даже намного позднее, уже в конце XX века, все еще существовал небольшой карьер по добыче гранита.

Еще одним значительным научным открытием в урочище Березовый Мыс стало обнаружение древнего святилища эпохи раннего железа (III в. до н. э. — II в. н. э.). Центром этого ритуального комплекса является алтарь — выкладка четырехугольной формы, сложенная из небольших гранитных и песчаниковых камней; пространство между камнями и слой почвы над ними насыщены углем, сажей, золой и жжеными костями животных. В слое среди камней (над выкладкой и рядом с ней) были встречены разрозненные кости животных, птиц и рыб, фрагменты керамических сосудов, наконечники стрел, нож. Вокруг алтаря располагались ямы, остатки костров, скопления костей животных (преимущественно челюстей), скопления жженных костей, кучки камней. В заполнении ям, а также

среди костей найдены различные бронзовые, костяные и железные предметы, керамические сосуды и их фрагменты. Кстати, в этом древнем святилище выделяется небольшая площадка, где находилось скопление нескольких сотен целых и сломанных костяных наконечников, а также несколько десятков бронзовых и железных наконечников стрел. Некоторые наконечники имеют на гранях гравировку в виде креста или ломаной линии, что подчеркивает их сакральный смысл.

Изделия, происходящие из слоя культового комплекса, по культурному происхождению можно разделить на две группы. Первая — бронзовые, железные и костяные наконечники стрел, бронзовые украшения, аксессуары костюма и конской упряжи, керамическая посуда и предметы культового литья, связанные со скифо-сибирским миром, скотоводами степей и лесостепей. В материалах памятника наличествуют все основные элементы скифской триады: конское снаряжение, оружие и звериный стиль в оформлении различных предметов. Предметы конского убранства представлены типичными для снаряжения коня степняков бронзовыми удилами и псалиями; очень характерны найденные наконечники стрел — небольшие бронзовые и железные трехлопастные наконечники с черешком. Образ скифского оружия предстает перед нами в виде подвесок — литых миниатюрных изображений луков и луков, помещенных в чехол. Ярчайшей чертой этого культурного мира являются изделия, изготовленные в скифо-сибирском зверином стиле: разнообразные бляшки в форме оленя с ветвистыми рогами и подогнутыми ногами, в форме скачущей лошади, пара бляшек в форме барса, навершие рукояти ножа в виде стоящего барана, бусины, с двух сторон украшенные головами фантастических грифонов. Все эти изображения наделяли обыденные предметы сакральной силой, превращая их в магические.

В 2019 году был обнаружен целый сосуд на конусовидной подставке — глиняная имитация традиционного бронзового котла, — редко встречающийся в материалах памятников скифской эпохи Западной Сибири, но широко распространенный в быту древнего населения Хакасии. Образ священного скифского котла нашел свое воплощение и в украшениях — на святилище найдены несколько подвесок в форме котла на поддоне и с дуговидными ручками.

Вторая группа изделий — бронзовые наконечники стрел и предметы культового литья, относящиеся к кулайскому миру лесных охотников и рыболовов. Кулайские наконечники стрел также очень оригинальны: эти массивные проникатели имеют форму ракеты, снабженной тремя узкими лопастями и длинными шипами; тяжелые, но устойчивые в полете наконечники предназначены для охоты в лесу, они позволяли стреле пролететь сквозь листву и, попав в тело жертвы, нанести ей глубокую рану, при этом оставшись в теле. Кулайское культовое литье представлено ажурными изображениями лося, ящериц и других зооморфных существ, а также фигурками человека и «личинами» — изображениями лица человека. Все эти металлические фигурки являлись изображениями духов-помощников, применялись во время религиозных обрядов и служили амулетами в повседневной жизни. Особенно интересно изображение лося, изготовленное в традиционном для кулайцев «скелетном» стиле, когда фигурки получались ажурными: образ сильно стилизован, туловище непропорциональное, пасть с «хищными» зубами, ноги укорочены, на рога и морду существа прикручены фрагменты серебряной проволоки. Создается впечатление, что это не лось вовсе, а мифическое существо, «мамонт» из преданий сибирских на-



Бронзовая фигурка лося

родов. Этому существу поклонялись, считали его обитателем подземного мира, в первую очередь.

Как же оказались эти разные по облику и происхождению предметы на одном небольшом пятачке? По-видимому, многие сотни лет назад на труднодоступный остров посреди заливных лугов в определенный день собирались представители соседних племен (скотоводы с юга и жители окрестных лесных поселений и крепостей) для переговоров, обмена товарами и, возможно, заключения брачных союзов. Эти встречи сопровождалась обрядами — жрецы разводили на алтаре огонь и совершали сложный ритуал, направленный на привлечение удачи в делах, или призывали духов для предсказания будущего, или просили о здоровье сородичей. Духам, к которым они обращались, соплеменники приносили дары в виде мяса животных, напитков и особо ценных подарков — оружия, украшений и изображений животных и людей; по-видимому, самым распространенным даром были жертвенные животные и стрелы как символ охотничьей удачи.

Судя по результатам исследований, урочище Березовый Мыс в разные эпохи древности представляло собой сакральное место, связанное с совершением погребений и проведением различных ритуальных действий. Захоронения здесь совершались в эпоху камня, поздней бронзы и развитого Средневековья, а в эпоху раннего железного века здесь функционировало святилище.

* * *

Сенсационные находки в урочище Березовый Мыс — не единственное открытие, совершенное археологами нашего музея за последние десять лет.



...Открытие уникального археологического памятника — культового места эпохи развитого железа у с. Верх-Сузун (НСО), как это часто бывает в археологии, было делом случайным. Летом 2017 года, объезжая известные археологические памятники Сузунского района, разведывательный отряд Новосибирского государственного краеведческого музея под руководством С. Г. Рослякова наткнулся на неизвестные ранее остатки древнего поселения.

Шел дождь, отряд возвращался после длительного маршрута, и обнаруженный объект, казалось, не предвещал никакой сенсации: шесть впадин, расположенных двумя рядами на небольшом мысу правого берега р. Слезянка, и немногочисленные фрагменты глиняной посуды тянули максимум на остатки поселения ирменской культуры эпохи поздней бронзы. Таких памятников на территории Верхнего Приобья известны десятки, однако первичное обследование территории, осмотр обнажений культурного слоя и закладка шурфа принесли первые открытия: бронзовая листовидная подвеска и изображение хищной птицы с распростертыми крыльями, а дальнейший поиск с помощью металлоискателя дал большую надежду — были выявлены места сосредоточения предметов из цветного металла.

Было решено продолжить работу позднее, и результаты раскопок 2018—2019 годов дали уникальные материалы — около 120 предметов эпохи развитого железа: нож, фурнитура поясного ремня, узды коня и многочисленные предметы бронзового культового литья. Предметы располагались неглубоко в пашне пятью скоплениями, рассредоточенными на большой площади, а набор в скоплениях был примерно одинаков: изображения птицы с распростертыми крыльями (видимо, хищной), человека с крыльями, медведя, всадника на коне, всадника на медведе, изображение человека, вписанного в окружность. Значительный разброс находок по площади, скорее всего, связан с регулярной распашкой террасы под посевы в 1960—1980-х годах. Иных следов деятельности людей эпохи развитого железа на исследованном участке не зафиксировано, отсутствуют остатки жилищ, построек, конструкций, очагов, погребений, керамики, костей животных.

Что же за объект был обнаружен и изучен на берегу небольшой речки на юге Новосибирской области, как датируется, с какими археологическими культурами соотносится?

Предметы, аналогичные найденным на памятнике «Верх-Сузун-10» (бляшки с поясного ремня, листовидные подвески и бубенчики для узды, предметы культового литья), хорошо известны по материалам раскопок памятников рёлкинской и верхнеобской археологических культур эпохи развитого железа (VI—IX вв.) Верхнего и Среднего Приобья, Кузнецкой котловины. Современные ученые связывают эти памятники с предками обских угров и самодийцев, проживающих в настоящее время далеко на севере в сибирской тайге, тундре и лесотундре. Расположение изделий скоплениями (в нескольких случаях зафиксированы стопки предметов по две — четыре штуки), свидетельствует о том, что они были размещены компактно, возможно, помещены в деревянную или берестяную емкость, мешок или находились в небольшой постройке.

Аналогичные скопления бронзовых подвесок, изображений животных и людей находили и раньше, преимущественно во второй половине XIX века, в Прикамье, причем каждый раз их случайно обнаруживали местные крестьяне во время вспашки земли. Такие находки в научной литературе получили название «клад», но закладывался ли «клад» преднамеренно или возникал как следствие

разрушения какого-то наземного хранилища, доподлинно неизвестно, как неизвестна и цель создания подобных «кладов». Исследователи, изучавшие культуру угорских народов Нижней Оби и Урала в XVIII и XIX веках, отмечали, что в священных местах обских угров в специальных постройках скапливаются большие богатства: высокохудожественные серебряные предметы, бронзовые изображения духов, украшения и посуда, оружие, преподносимые ими богам и духам.

Возможно, на берегу р. Слезанка и обнаружены остатки подобного святилища, но, с другой стороны, это место могло быть связано с жизнью или смертью особых людей, шаманов, в состав облачения которых входили многочисленные подвески, фигурки животных и людей, олицетворявшие различных духов-помощников; после смерти шамана его жилище никем не использовалось, становилось заброшенным, а личные вещи и священные предметы, оставаясь неприкосновенными в жилище, постепенно археологизировались.

Обратимся к самим находкам на памятнике «Верх-Сузун-10», из которых наиболее многочисленные — бронзовые литые изображения животных, птиц, людей и всадников, выполненные в технике одностороннего плоского литья; большинство предметов по качеству изготовления примитивны, после отливки не обработаны, изображения схематичны. В собрании присутствуют фигурки, отлитые в одной литейной форме или изготовленные по одной матрице, два изделия грубо вырублены из листа меди, одно отковано из железа — складывается впечатление, что мастера не стремились к высокому качеству изображения, важен был знак, образ, несущий за собой глубинный смысл. Но несколько предметов являются высокохудожественными изделиями, а два из них изготовлены в сложной технике объемного, полого литья — подобные отливки характерны для средневековых «кладов» и погребений лесных регионов Зауралья и севера Западной Сибири. Часть найденных изделий имеют отверстия для подвешивания или крепления к основе (ткани или дереву) — изначально они, вероятно, использовались как личные амулеты или шаманские подвески.

Что же означали эти фигурки, как использовались и какой смысл они несли? От той древней эпохи истории Сибири не осталось письменных свидетельств, поэтому на вопросы можно попытаться ответить, лишь опираясь на современные знания о культуре, мировоззрении коренных народов Сибири, в первую очередь — таежных охотников и рыболовов Среднего и Нижнего Приобья, Северного Урала, чьи далекие предки, вероятно, и создавали подобные культовые предметы, наделяя их сакральным содержанием.

Селькупы, ханты, манси ведь до сих пор почитают богов и духов, для которых в укромных местах возводятся святилища, в домах создаются священные углы, а на чердаках располагаются хранилища для культовых предметов и амулетов (ранее — сундуки, а в настоящее время — чемоданы). Среди этих предметов есть и древние фигурки птиц, зверей и людей, являющиеся частью изображения духа — покровителя рода, духа — предка семьи или выступающие в качестве личного амулета. Толкование некоторых образов, представленных на памятнике «Верх-Сузун-10», можно найти в мифологии и фольклоре угорского и самодийского населения Западной Сибири.

Среди самых многочисленных находок на культовом месте у р. Слезанка — изображение птицы (скорее всего, хищной) с распростертыми крыльями (видимо, летящей). На лицевой стороне всех этих фигурок нанесен рельефный орнамент, передающий оперение, а некоторые изображения на голове имеют



Бронзовое изображение птицы с «личиной» на груди

«уши», напоминающие видовые черты филина. В четырех случаях на груди птицы расположена «личина» — стилизованное изображение человеческой головы, а на груди одной из птиц «личина» снабжена шлемом и бородой, на животе помещен ромб — символ жизненной силы.

Одним из вариантов орнитоморфного изображения на памятнике «Верх-Сузун-10» является фигурка человека с крыльями вместо рук. Среди многочисленного собрания таких изделий выделяется высококачественная отливка человека с крыльями и улыбающимся лицом — очертания крыльев очень тщательно проработаны, при общей грациозности фигуры в глаза бросается непропорционально большое лицо яйцевидной формы, напоминающее маску. Существо одето в короткополый кафтан, на голове убор в форме короны, на шее ожерелье.

Фигурки птиц с распростертыми крыльями археологи не раз находили в погребениях верхнеобской археологической культуры, к которой относится и наше святилище.

По представлениям современных угров, мифы и верования которых помогают разобраться в картине мира древних обществ, человек обладает несколькими душами, одна из которых в образе птицы после погребения покидает тело человека. Селькупы считают, «что одна из главных душ человека (сюемш, душа-птица) дается ему солнцем...» «Солнце посылает на землю душу на кончике



солнечного луча... духи всех лучей солнца изображаются в виде птиц с человеческими лицами» [3, с. 115—116].

Еще одним возможным толкованием изображений птиц может являться отождествление фигурки с конкретным духом-покровителем рода или поселка, и в таком случае могут быть представлены изображения тотемных предков в разнообразном орнитоморфном облике — в виде орла, коршуна, филина и птиц других видов.

Как пишет А. В. Бауло, «согласно мифологии вогулов, для земных людей верховный бог определил “100 духов-покровителей, крыльями летающих”» [1, с. 324]. Таковы Крылатый предок, Старик-филин, Крылатый старик, Ширококлювый дед-ворон, Сова-женщина. Старик-филин — один из самых распространенных духов-покровителей у обских угров; у многих северных народов орел являлся священной птицей, связанной с небом и солнцем, — его именем называли весенние месяцы, предвещавшие возвращение солнца после долгой зимы. Фигурки птиц ханты и манси делали из металла, чаще всего — из свинца и олова, причем иногда использовали древние бронзовые изображения птиц, которые находили в земле. Птичьи святилища существуют и сегодня, а изображения птиц можно встретить в качестве амулетов на бытовых изделиях манси, таких как охотничьи пояса, накосники, женские швейные мешки.

Важную роль хищные птицы играют и в мифологии обских народов — в сказаниях манси присутствует мифическая птица Товлын-Калм (Крылатый Калм, «крылатый вестник»), выступающая посредником между людьми и богами, через которую информация передается наверх, к верховному богу Нуми-Торуму, и возвращается обратно. У селькупов есть мифический персонаж Кингланка — человек-птица, который хватается людей, уносит на вершины высоких деревьев, выпивает из них кровь и съедает. Так же поступает и мансийская мифическая гигантская птица, подобная орлу, — Товлын-Карс (Крылатый Карс), поедающая мясо человека.

В мифологии обских угров крылатыми богами и высшими духами были сын верховного бога Сюхэс, дух ветра Минлей, семь крылатых богатырей Пастыр, а в хищную птицу в случае опасности превращается богатырь и герой Мир-Суснэ-Хум.

Вот история Сюхэса: «Еще у Торума был сын Сюхэс. Теперь это птица, которая высоко летает, — скопа. Торум послал сына с неба на землю хорошие дела творить и наказал, чтобы он хорошо оделся. Тот не послушался, говорит, что не замерзнет. Подлетел к земле, а Торум за непослушание мороз напустил. Сын упал. Тогда Торуму жаль его стало, он превратил его в птицу. И теперь она высоко летает, но подняться до неба не может» [2, с. 75]. Подобная сказка есть и у селькупов.

Вторым по количеству находок на памятнике «Верх-Сузун-10» является изображение медведя, который то в виде плоской пластины изображен стоящим на четырех лапах в профиль, то представлен в виде объемной полой фигурки со сквозным отверстием для подвешивания. Скульптура из серебристой бронзы передает реальный образ животного: показано массивное покрытое шерстью туловище, повернутая влево голова с круглыми глазами, полуовальными ушами и носом, но присутствует в этой фигурке и сакральная сторона — на затылке головы медведя изображено лицо совы.

Медведь, по поверьям сибирских народов, — сын небесного бога, древний богатырь, который, по легенде манси, превратился в медведя, когда бродил по



Бронзовая пронизка в форме медведя (главный вид и ракурс)

лесу и пробирался через буреломы. Медведь — мифический предок одной из двух сестер манси, сестры Пор. Согласно преданиям селькупов, медведь раньше был человеком.

Вот хантыйская сказка о медведе. «Не знаю, правда или нет, что медведь раньше был богом, у него были дети. И вот (дети есть послушные и непослушные) одного непослушного медвежонка бог выгнал и сказал:

— Иди куда хочешь.

Маленький медведь упал на землю, но до земли не долетел и застрял в развилке дерева. Думает: «Пропаду теперь: ни вверх нельзя подвинуться, ни на землю опуститься. Съедят меня, наверное, черви. И правда, подох медведь, стали из него выпадывать черви на землю. Из больших червей вырастали медведи с длинными хвостами — большие таежные медведи, а из маленьких червей — маленькие северные медведи без хвостов» [2, с. 80].

С образом медведя у угров связан бог туч, грома и молнии, и, наконец, ханты и манси считают медведя хранителем границы среднего и нижнего миров. Почитание медведя было настолько сильно, что у многих сибирских народов возник отдельный праздник — «Медвежий».

Еще один образ, представленный многочисленными находками, — всадник на коне. На наиболее реалистичных изображениях показана стоящая или скачущая лошадь, всадник, держащийся за повод, у лошади изображена узда, султанчик на голове, у всадника — правая нога, оружие — колчан или меч на поясе. Подобные изображения в культуре обских угров олицетворяют сыновей верховного бога Нуми-Торума и в первую очередь — самого известного и почитаемого младшего сына — Мир-Суснэ-Хума («за миром наблюдающего человека»). В мифах и легендах он перемещается по земле и небу на волшебном восьмикрылом коне, конь помогает ему в делах и подвигах, а главная задача Мир-Суснэ-

Хума — заботиться о людях, быть посредником между миром людей и боже-ствами. Именно с этим связано обязательное наличие в каждом доме хантов и манси жертвенного покрывала, украшенного фигурами скачущего всадника, или конных статуэток, свинцовых фигурок всадников. Этот образ, скорее всего, восходит к тем временам, когда древние угры были скотоводами и кочевали в степях Южного Урала и Западной Сибири.

Более загадочен образ всадника на медведе — аналогии таких изображений в археологических материалах крайне редки, а в этнографии и фольклоре сибирских народов не отмечены. Вероятно, это очень древний мифохудожественный образ, связанный с культурой лесных охотников. Похожий сюжет можно найти в легендах о героях лесных ненцев, где упоминается богатырь, запрягавший медведей в нарты.

Достаточно много найдено на памятнике «Верх-Сузун-10» и фигурок человека, вписанного в окружность, — он стоит анфас, упираясь ногами в нижнюю дугу и держась обеими руками за верхнюю или боковые дуги, причем на одном из предметов в окружности размещен человек с крыльями, опирающийся плечами на поперечную планку.

Одна из найденных фигурок выполнена очень качественно и детализированно: голова имеет форму вертикального ромба за счет изображения конусовидного шлема с наносником и треугольной бороды, на лице — широкая улыбка, на шее — фигурный воротник одежды или ожерелье, и, скорее всего, перед нами фигура мифического героя или бога.



Бронзовое изображение всадника

Исходя из образа и ассоциации окружности с изображением солнца, можно считать такие фигурки солярными знаками или знаками, изображающими небо-Вселенную, а человека в центре — изображением бога-творца. По-видимому, этот же сюжет (герой или бог-творец, вписанный в полуовальную рамку) показан на четырехугольной пластине в виде рельефа — человек с округлой бородой и в головном уборе с треугольным верхом, со сложенными на животе руками стоит на фоне солнечных лучей, а за головой у него расположен круг.

Еще одна фигура человека, стоящего анфас, обрамлена зеркальными изображениями антропоморфных существ, размещенных в профиль, — на головах этих существ надеты шлемы, на лице центральной фигуры изображена улыбка. Толкование этого сюжета также можно найти в мифологии сибирских народов, где часто героями выступают отец и его сыновья или три брата.

* * *

Таким образом, находки, сделанные экспедицией Новосибирского государственного краеведческого музея на культовом месте (археологический памятник «Верх-Сузун-10»), можно квалифицировать как набор идолов, изображений духов и богов народа, по своему мировоззрению схожего с современными обскими уграми (ханты и манси) и южными самодийцами (селькупам), а значительное количество этих находок связано с длительностью функционирования святилища, где фигурки выступали в качестве священных подношений. Но в какой-то момент амулеты по неизвестной причине были компактно помещены в землю и стали своеобразным «кладом» — либо святилище было заброшено, а помещения, в которых хранились изделия, разрушились, после чего предметы попали в почву. Вероятно, это произошло с уходом какой-то группы древнего народа с родовой территории и переселением их на север, в тайгу, где до сих пор проживают их потомки — угры и самодийцы.

Особо хочется отметить, что предметы, полученные в результате раскопок у с. Верх-Сузун, — настоящее открытие и значимое событие не только для нашего музея, но и для научной и культурной общественности Сибири, ведь пока это единственное культовое место эпохи развитого железа в Западной Сибири, официально обнаруженное и исследованное.

Библиография

1. Бауло А. В. Священные места тотемных предков в орноморфном облике у обских угров // Ханты-Мансийский автономный округ в зеркале прошлого: Сб. статей / Отв. ред. Я. А. Яковлев. — Томск; Ханты-Мансийск: Изд-во Том. ун-та, 2011. Вып. 9. — С. 324—338.
2. Мифы, предания, сказки хантов и манси. Пер. с хантыйского, мансийского, немецкого языков. Сост., предисл. и примеч. Н. В. Лукиной, под общей редакцией Е. С. Новик. — М.: Наука. Главная редакция восточной литературы, 1990. — 568 с.
3. Пелих Г. И. Происхождение селькупов. — Томск: Изд-во Том. ун-та, 1972. — 425 с.

НЕНАПИСАННЫЕ КНИГИ: КОНТУРЫ И СИЛУЭТЫ

У многих читателей представление о писательском труде укладывается в простую триаду «задумал — написал — издал». На каком-то школьном уровне подобная теория работает, по крайней мере позволяет писать сочинения по литературе. Другая степень постижения у профессиональных литературоведов, работающих с писательскими черновиками, письмами. Выясняется, что многие авторские замыслы оказываются не воплощенными или претерпевают кардинальные изменения. Так, сколько читателей знают о том, что «Преступление и наказание» родилось из ненаписанного Достоевским романа «Пьяненькие»? Но еще драматичней то, что о многих замыслах мы не знаем вообще: они остались даже без черновиков и набросков и существовали только в писательском сознании.

У читателей «Сибирских огней» есть уникальная возможность — увидеть в приближении, как работает писатель. Известным отечественным авторам мы задали вопрос о роли в их творческой судьбе ненаписанной книги, невоплощенной идеи. Насколько такой опыт нужен или даже необходим автору?

Признаемся, что не у всех опрошенных есть заветная ненаписанная книга. Два известных писателя среднего поколения заверили нас, что все их замыслы воплощены либо воплощаются. Зато остальные участники опроса охотно приоткрыли профессиональные секреты (или просто порассуждали на заданную тему).

Честно говоря, я хотел сам в «легкой афористичной форме» высказать несколько смелых догадок о природе писательского сознания. Но, прочитав ответы, успокоился. Лучше, чем наши авторы, я не напишу, хуже — почему-то не хочется. Уверен, большинство наших читателей, как и я, будут ждать того, что идеи ненаписанных книг в итоге обязательно так или иначе обретут свою полноценную словесную форму.

Михаил Хлебников

Денис ДРАГУНСКИЙ

Мне скучно распаковывать рассказы

Разговор о ненаписанной книге для меня, честно говоря, непросто и нелегко. По причинам простым, но неустранимым. Я начал писать очень поздно, за неделю до своего 57-летия — так вышло, что я точно помню этот день. Нет, конечно, я и раньше что-то писал — пьесы, сценарии (чаще инсценировки), бесчисленные статьи и колонки, и даже пробовал прозу. Но, повторяю, свой писательский путь я

начал в 57 лет, первую книгу выпустил через полтора года. Книг у меня уже на сегодняшний день 21 штука («номерных», как говорят музыканты, то есть оригинальных, — 19, и два переиздания в других обложках). Это довольно много, чуть ли не по две книги в год — но для меня все равно очень мало. А замыслов много, а времени впереди не так чтобы бескрайнее поле — мне все же теперь 69, возраст солидный. Так что, увы, придется принять грустную данность: очень многие из задуманных мною книг так и останутся ненаписанными.

Помню, мне захотелось написать фантастический (вернее, фантазийный) роман. Который бы, по толстовской традиции, начинался с французского диалога, вот так:

- Pauvre Damian est mort!
- Merde! Voilà, je voulais dire — quel horreur. Pourquoi?
- Suicide.
- Vous êtes sûr? Qui vous a dit?
- Nous sommes voisins!
- Comment est-il tué?
- Il se pendre.
- Boris, est que vous?
- Oui.
- Pourquoi avez-vous pas dit en russe?

Boris, ce qui ne va pas?*

— Я разволновался, Владимир Владимирович.

— Володя! Сколько раз повторять? Во-ло-дя!

— Извините, Володя.

— Мы на «ты»! Ты меня старше на два с половиною года!

— Прости, Володя. Я звоню из кафе внизу. Я еще не вызвал полицию. Вызвать?

— Почему я должен все за тебя решать? При чем тут я?

Маяковский бросил трубку. Раздались короткие гудки. Пастернак положил трубку на рычаг и, обернувшись к гарсону, который туда-сюда двигал по стойке стаканы и делал вид, что не слушает, сказал:

— S'il vous plaît, monsieur... Appelez la police.**

* — Бедный Демьян умер!

— Черт! То есть я хотел сказать — какой ужас. Что случилось?

— Самоубийство.

— Вы уверены? Кто вам сказал?

— Мы с ним соседи.

— Как он себя убил?

— Повесился.

— Борис, это вы?

— Да.

— Почему не по-русски? Борис, в чем дело?

** — Пожалуйста, месье... Вызовите полицию.

В общем, я хотел написать роман о русской литературной эмиграции в Париже. Как они там мыкались. Снимали мансарды. Искали работу. Были таксистами, официантами, наборщиками, а то даже уборщиками. Клубы, кружки, салоны. Сплетни, зависть, клевета, возгласы: «Я не подаю руки подлецам!» Романы, женитьбы, измены, разводы. Взаимные обвинения в сотрудничестве с советской разведкой. В чем же тут фантазия? А в том, что они в Париже оказались практически все, от Мандельштама до Фадеева. Кому-то повезло, кому-то нет. Чердак, кабак, отчаяние, гибель.

Так в 1933 году, зимой, в сырой и нетопленной квартирке найдут в петле весельчака Демьяна Бедного. Максим Горький не придет на его похороны — потому что будет в Стокгольме, получать Нобелевскую премию. С ним поедет его секретарь Осип Брик, ну и Лили, разумеется. Беднягу Демьяна похоронят Пастернак, Бунин, Хлебников и Мандельштам. А Маяковский в конце 1920-х вообще уйдет из литературы, станет хозяином крупного рекламного агентства, издателем и миллионером. Он переживет всех, умрет в конце семидесятых, но мемуаров не оставит. Поговаривали, что он виноват в странной смерти Горького и в исчезновении Бабеля и Мандельштама во время оккупации Парижа.

В ответ на это публично высказанное обвинение Пастернак дал пощечину Авербаху. Маяковский об этом знал и не раз вслух говорил, что очень тронут благородством Бориса. Но роман Пастернака «Лариса Гишар», о том, как русские эмигранты-интеллигенты разочаровались в западной демократии, печатать наотрез отказался. Сказал: «Это клевета на страну, которая нас спасла». Но зато к Пастернаку в Париж явился советский литературный функционер Храпченко и уговорил опубликовать роман в СССР. «Зачем?» — «Ради торжества свободы»

слова, свободы творчества!» Разумеется, в СССР на ура приняли роман русского писателя-эмигранта, в котором главную героиню раздражает все западное — от свободных выборов до выбора булочек в кафе. Пастернак в 1958 году получает Ленинскую премию, но в Париже его жестоко травят собратья-эмигранты, а до французских левых он так и не смог догнаться...

* * *

Почему же я не написал эту легкую, забавную и в то же время философичную книгу? Дающую широкий простор для парадоксов, аллюзий, скрытых и полуоткрытых цитат и прочих интеллектуальных игр с читателем. А также книгу очень фактурную, с описаниями Парижа 1920—1950-х. Выложенные в Сеть коллекции старых фотографий это позволяют. Город, привлекавший писателей и художников со всего мира — кстати говоря, по очень прозаической причине: в 1920-е французский франк был страшно дешев по отношению к доллару и какой-нибудь Хемингуэй мог жить чуть ли не полгода на скромный гонорар, полученный в Америке за один рассказ. Вот и познакомить своих русских героев с тем же Хемингуэем, с Фитцджеральдом, даже с Джойсом. Какие встречи, какие коллизии! Париж тридцатых с «Народным фронтом», Париж сороковых с оккупацией и потом с охотой на коллаборантов и коллаборанток, линчевание трактирщиков, стрижка голов девушкам — и тому подобные ужасы «восстановления справедливости». Потом Париж пятидесятых, с Камю и Сартром...

Что же мне помешало?

Наверное, то, что я не утерпел и написал об этом рассказ на восемь страниц, который так и называется — «Лариса Гишар» (опубликован в моей последней книге «Дочь любимой женщины», М., 2019). Мне часто говорят, что мои рассказы — это спрессованные, плотно упакованные романы. Возможно, так

оно и есть. Но мне скучновато их «распаковывать»; мне кажется, что я все уже сказал, что хотел, а дальше пойдет просто нагон слов, строк и абзацев. Знаменитый французский режиссер Рене Клер говорил: «Фильм готов! Его осталось только снять». У меня все по-другому. Мой текст рождается в ходе писания, а если я заранее знаю, чем дело кончится, — то мне уже не так интересно работать. Даже мои короткие рассказы, с точной фабулой, все равно в процессе написания меняются — и часто финал получается совсем другой, чем я сперва задумал, соразмерил и взвесил. Но то — рассказы. Роман нельзя писать импровизационно. Для романа нужен подробный и точный план. А писать по плану я не люблю.

Вот в этом и состоит моя «проблема ненаписанной книги».

Анатолий КИРИЛИН

Написал рассказ — и умер

У меня такое ощущение, что задуманного и ненаписанного больше, чем написанного. Не уверен, что оно истинное. И тем не менее. В самом начале 80-х задумал роман с названием «И не расколется твой камень». Предполагалась художественно освоенная история о Кольванском камнерезном заводе (Горная Кольвань), людях, работавших на нем, селе, камне. Помню, в 1984 году в Москве сидели с моим другом писателем, литературным критиком Владимиром Куницыным и обсуждали название, тему, идею. Материала достаточно: несколько лет кряду месяцами жил в Кольвани, перезнакомился с художниками, мастерами, сам немного научился работать с камнем. Тем временем мой друг писатель Александр Родионов написал книгу «Кольвань камнерезная», основательное документальное повествование о заводе, его истории. Потом появились другие книги о Кольвани, а я все не мог обойти это

обилие документов, живших и живущих персонажей, чтобы явить по-новому военный материал. Я даже не попытался сесть за рабочий стол с намерением начать писать роман. До сих пор не могу дать себе исчерпывающий ответ: что это, страх перед материалом? Боязнь повторить уже известное? Неуверенность, что смогу выйти за пределы документалистики? Это всего лишь один пример.

Есть другие, когда отсутствует подобное давление документа и факта. Но большая часть замысленного и неосуществленного — это крупные темы, объемный материал: начат роман о судьбе современника в нынешнем городе, человека средних лет, не сумевшего найти свой путь среди переплетений жизни. Начат около десяти лет назад, оставлен. То же самое — о судьбе русской деревни, ее жителей, оказавшихся пленниками близкого города. Есть оставленные на полпути повести, даже рассказы. Есть и объяснение этому. Оно не универсально, однако частично объясняет проблему. Я все-таки в большей степени рассказчик, и часто меня просто кидает за стол вдруг пришедший, порой — приснившийся сюжет для малой формы. Все, ушел весь в новую работу. И у меня так: написал рассказ — и умер. Это не просто метафора. Из меня и вправду по окончании работы над рассказом будто весь дух живой истекает. На восстановление, на то, чтобы собрать себя по кусочкам, уходит время. Восстановился — а тут новый сюжет, и опять — для рассказа.

Что касается значения для писательской судьбы ненаписанного... Ничего хорошего, думаю, это не предполагает. Разве что может однажды согреть мысль: мне еще жить, поскольку Создатель не отпускает того, кто не исполнил назначенное ему на Земле. А назначено ли оно тебе — вопрос. Образ подсказал мне все тот же Владимир Куницын, правда, сообщил он это по другому поводу. Я приспособился для себя. Все эти ненаписанные глыбы и камни поменьше напоминают

полуснятый сапог. Ты продолжаешь движение, а он тащится за тобой, идти в полную силу мешает. И ты вот такой являешься миру — не бос и не обут.

Юрий КОЗЛОВ

Кощева игла

Артефакт «ненаписанная книга» невидимо лежит в основе всего мирового искусства и любой творческой деятельности. Если идти дальше, то и наш мир — творение Господа, в сущности, тоже является ненаписанной книгой. Можно, конечно, возразить, что эта книга пишется на наших глазах в онлайн-режиме, но совершенно очевидно, что в основу книги были положены именно «несбывшиеся» (по Александру Грину) принципы. Собственно, и Россия как страна на протяжении всей своей истории ментально отрицает ту книгу, по которой вынуждена жить в данный момент, а стремится к альтернативной — разумной, справедливой, а главное — понятной и уважительно по отношению к народу написанной.

Ненаписанная в историческом и бытийном измерении книга — движущая сила войн и революций. России не удалось «дописать» ее советско-социалистический вариант. Похоже, нет шансов довести до ума и нынешний — капиталистическо-олигархическо-сословный.

Ненаписанная книга определяет и управляет жизнью писателя. Это одновременно недостижимый идеал и горькое испытание собственным несовершенством, безнадежное соревнование с Господом в стремлении выразить и донести до людей свою истину. Смирение перед ненаписанной книгой побудило Достоевского признать, что, если ему математически докажут, что истина не в Христе, он останется с Христом, а не с истиной. На ненаписанной книге сломался Лев Толстой, напротив, заявивший о своем праве поправлять и Христа, и Будду.

У ненаписанной книги множество лиц, и одно из них — гордыня. Гоголь сжег второй том «Мертвых душ», осознав невозможность исправить человеческий мир посредством любой (за исключением, быть может, Святого Евангелия) книги. А Юрий Нагибин, напротив, перед смертью исторг из себя ненаписанную книгу в виде чудовищного по цинизму и болезненному саморазоблачению «Дневника».

Ненаписанная книга не только зеркало, в котором отражается душа писателя, но еще и тень, сопровождающая его всю жизнь и не оставляющая даже после смерти. Многим авторам, как, к примеру, мне, гораздо больше нравится обдумывать произведение, держать его в идеальном, «ненаписанном» состоянии, нежели его писать, а потом выносить на суд литературной общественности.

В редких случаях ненаписанная книга обретает «жизнь после смерти», как случилось с романом «Мастер и Маргарита» Михаила Булгакова. Но ценой неочевидного принципа «рукописи не горят» стали прижизненное отчаянье, унижение «Батумом» и ранняя смерть автора. За право оказаться написанной ненаписанная книга всегда назначает неподъемную для автора цену.

Ненаписанная книга — вершина, отрывающаяся лишь на мгновение и тут же исчезающая в облаках суеты человеческой жизни. Ненаписанная книга — прекрасная и мучительная тайна писателя, которую он разгадывает всю свою жизнь, но никогда не сможет до конца разгадать, потому что она и есть «кощеева игла» его творчества и таланта.

Афанасий МАМЕДОВ

Выбор всегда за автором

Цепочка заданных вопросов о ненаписанной книге столь же интересна, сколь и опасна. Почему опасна? Предлагает

путешествие в дебри своего «я». Возвращение возможно лишь после того, как будет наведен порядок там, где зарождается намерение написать то или иное произведение.

Не знаю, как для кого, а для меня это наведение порядка связано с будущим и находится в области метафизического, следовательно, равно обновлению автора, то бишь меня. Я же к такому обновлению могу быть и не готов: очертания будущего всегда вырисовываются с рядом условий. В нашем случае эти условия — плата за свет. Разумеется, не электрический. Хотя все в этом мире — «электричество».

Оговорим, так сказать, на свету условия нашей беседы. Например, будем ли мы делить всю литературу на коммерческую и некоммерческую? Мне кажется, это надо сделать. Какой разговор может идти о ненаписанной книге в мире чистогана, «издательских подрядов», когда в топку писательской прибыли и утоления амбиций идет все на свете: любая фабула, любой сюжет, любая смутная догадка о них — уже копейка.

Хотел бы я вспомнить и о такой вещи, как психология творчества — нет двух одинаковых писателей. Отсюда вытекает, что следует отказаться от любого рода сравнений. И в то же время есть много писателей, которых столько связывает... Вот тут можно массу всего интересного накопать. Но это может увести нас в сторону, сбить с курса.

Хорошо бы нам остановиться и на связях временных и пространственных — это топливо беседы.

Вероятно, следует внести в наши условия и такое понятие, как язык, на котором писатель пишет. Русскоязычному писателю англосаксонские лингвистические схемы и творческие календари вряд ли подойдут, если только на него не работает издательская бригада и он не страдает тяжелой формой графомании. Условия жизни, отсутствие социальных лифтов и многолетний политический застой в стра-

не тоже ограничивают возможности творчества. Так что чем-чем, а ненаписанными книгами современной русскоязычной писатель похвастаться может смело. У моего отца даже был рассказ, который так и назывался — «Рассказ, который я не написал» (отец Афанасия Мамедова — писатель и драматург Исаак Милькин. — *Ред.*).

Таких ненаписанных романов, повестей и сборников рассказов у меня несколько. Когда дело идет к шестидесяти, ты прекрасно понимаешь, что должен написать хоть что-то из того, что было тобою задумано. Чтобы это сделать, необходимо решить вопрос приоритетности: чем можешь пожертвовать, а чем нет. Иными словами, какую песню за тебя могут пропеть, а какую — никто и никогда.

Вот такой роман, который, как мне кажется, за меня никто и никогда не сплет, я сейчас заканчиваю. Думаю, было бы правильно сказать: надеюсь закончить. Дерзаю... Для меня он оказался романом головокружительной сложности и многолетнего труда. Это вовсе не означает, что по своему завершении он будет равен замыслу. Это так же не означает, что он будет тут же опубликован в лучшем издательстве, хорошо всеми принят, а я — обласкан и вознесен до небес или до какой-нибудь очередной книжной ярмарки. Нет... Но вехой в моей судьбе, я очень на это надеюсь, он будет. Что позволит мне — это уже колоссальный бонус — перейти к следующим ненаписанным вещам. Сменить позицию наблюдателя, от которой я уже устал, на позицию игрока.

Этот отложенный роман, за который я все-таки взялся, — о судьбе человека, живущего не просто в переломный момент своей жизни, истории страны, а, смело можно сказать, истории всего человечества. Катастрофичное время для всех, в особенности для тех, кто жил тогда на территории Российской империи. И этот человек — мой дед. В романе я его называю Ефим Ефимович Милькин, хотя

на самом деле он — Афанасий Ефимович Милькин (меня назвали в его честь). Я не придерживаюсь точно фактов биографии деда, мне известно-то о нем не так много, как хотелось бы, и жизнь он прожил недолгую — сгинул в лагерях в тридцать четыре года. Но кое-что о нем я все же знаю.

«Пароход Бабелон» — так называется роман. Это роман в романе, текст в тексте. В нем описываются три майских дня 1936 года, когда мой дед приезжает из Москвы в Баку и знакомится с моей бабушкой. Но историю, случившуюся в Баку, опоясывают события прошлого, а именно те, что непосредственно предшествовали отъезду деда из Москвы, и события еще более отдаленные во времени — советско-польская война двадцатых годов, в которой мой дед / мой герой принимал участие.

В романе смешиваются жанры — исторический детектив и семейная сага выступают в нем на равных. Он написан в нескольких стилях, на которые влияют время и среда, и очень разным языком. Потому и фактура текста разной плотности. Те персонажи романа, которые оставили след в истории страны, и те, кого я могу назвать своей ближайшей и отдаленной родней, — то есть те, кто в действительности существовал, — взаимодействуют на равных с теми, кто обязан своему появлению на страницах романа исключительно моему воображению.

Роман небольшой, но очень хлопотный. Чтобы продвинуться на страницу-две, нужно перевернуть массу информации о том времени. Я не говорю уже о том, сколько всего нужно знать, чтобы найти то место в романе, где ты можешь пойти против общепринятых трактовок исторических фактов. Хотя, когда начинаешь относительно неплохо разбираться во времени, о котором пишешь, такие слова, как «общепринятый исторический факт», перестают иметь для тебя прежний вес. Ученые ведь оперируют истори-

ческими документами, на них делаются ссылки, по ним складываются пазлы, пишутся учебники. А что делать, к примеру, с семейными историями и архивами, которые этим документам противоречат? А что делать с легендами, которые, как известно, на пустом месте не зарождаются? И уж отдельный разговор о сакрализации и десакрализации, мифологизации, обобщении и тому подобных необходимых вещах, которые сопутствуют романам такого типа.

Сразу же после «Парохода Бабелона» я намерен взяться за мистическую повесть или небольшой роман, который про себя называю «испанским», написать несколько рассказов, в том числе тоже — мистических. Ну а там как Бог пошлет...

Теперь, когда я поделился с вами своими ближайшими планами, могу абсолютно честно сказать, какой роман я никогда не напишу.

Это был бы большой роман, не имеющий ничего общего с моей биографией и с предыдущими моими текстами, об одной большой, наполовину азербайджанской (правильней было бы сказать — бакинской) семье, оказавшейся в Москве в самом начале девяностых годов прошлого века. Напоминаю, что наши девяностые до сих пор — белое пятно, а для кое-кого еще и белое бельмо. И я очень надеюсь, что в будущем мы все-таки обнаружим чьи-то хроники девяностых, которые хотя бы отдаленно будут напоминать дневники Зинаиды Гиппиус или «Окаянные дни» Ивана Бунина.

Этот воображаемый мною роман тоже был бы о катастрофе и тирании. Возможно, теми, кого я называю «своими читателями», он воспринимался бы как продолжение романа «Пароход Бабелон», как будто не были уже написаны «Хазарский ветер» и «Фрау Шрам».

Это был бы роман-сага, роман-эпопея в духе «Будденброков» Томаса Манна, с одной стороны, и фильма «Крестный отец» Фрэнсиса Копполы, с другой. Как

бы я его назвал? Не знаю. Но знаю точно, не «Али и Нино». Хотя ничего против бестселлера Курбана Саида, кто бы за этим именем ни прятался, я не имею.

Это был бы роман-зеркало, в которое могли бы смотреться все мы, сегодняшние. Думаю, напиши я его, азербайджанцы, евреи, русские и армяне объявили бы мне что-то вроде фетвы, как Салману Рушди, только, в отличие от него, я бы своего «Джозефа Антона» написать не успел бы.

Почему я не сел за этот роман раньше и никогда уже за него не сяду? Частично я уже ответил, к тому добавлю лишь, что раньше он был мне не под силу, а сейчас уже поздно.

Теперь что касается того, нужен ли писателю опыт осмысления, почему он не пишет ту или иную вещь, помогает ли это в творчестве? Наверное, чтобы ответить на этот вопрос, надо прожить жизнь до конца. Как только поймешь, кто ты, сразу же станет ясно, сколько всего ты не сделал.

Могу лишь сказать, что каждая следующая твоя вещь связана с предыдущей. Ни одно мое произведение не появлялось случайно. И я не думаю, что так уж сильно отличаюсь в этом от своих коллег.

Железно уверен в одном: необходимо жестко выбирать, что тебе писать, и, если выбор тобою уже сделан, надо писать, невзирая на обстоятельства жизни, которые, если жить и писать честно, вряд ли будут располагать к письму. В этом случае — вместо подведения безымянной черты можно будет поставить свое имя. И кто знает, возможно, история сохранит не только это имя, но еще и пару строк, с этим именем связанных.

Юрий МИЛОСЛАВСКИЙ

Замысленный, но несозданный роман в моей сочинительской жизни — есть. От него сохранились история возникновения замысла и одна, первая, глава (всегда принимаюсь сочинять, следуя обычному

порядку). По свойственной мне писательской скупости — поскольку в деле все может когда-нибудь пригодиться — в подробности вникать не стану, ограничусь самыми общими сведениями. За роман этот я присел ранней весной 1984 года. Он должен был носить характер «прогностический». В недрах советской государственной инфраструктуры после десятилетий старательной подготовки — разумеется, не без всестороннего участия внешних сил — вступает в действие поэтапный проект уничтожения СССР. Ему было присвоено и некое кодовое название, но оно покамест не для печати. Проект стартует в главенствующем нервном узле системы, а именно в ПГУ, то есть Первом главном управлении. Начинается отзыв наиболее успешных, глубоко эшелонированных, тщательно внедренных агентов, работающих под прикрытием в самых значимых государствах Западной Европы и Северной Америки. Каждый подобный отзыв всякий раз поясняется благовидными рабочими предложениями, которые и у самих отзываемых не порождают особой тревоги. В самом худшем случае речь может идти о внутриведомственных интригах, вызванных сменой руководства, соперничеством и прочим подобным. Досадно, горько, но не более того. Всякое бывает.

Первая глава начиналась этакой осенней европейской урбаникой. Главный герой оставляет свой автомобиль на стоянке в двух кварталах от парадных дверей прекрасного здания конца XIX века, поврежденного бомбежкой 40-х века двадцатого, но впоследствии скрупулезно восстановленного. В доме этом находится так называемая «явочная квартира», где герою предстоит рутинная, казалось бы, встреча с одним из второстепенных коллег. Но дожидается его прибывший из центра малопрятный, хотя и нарочито свойский, подчеркнуто дружелюбный знакомец, которому начальством поручено проведение немедленной «эвакуации».

Глава была завершена. За нею последовали два-три десятка следующих страниц...

К новостильному Рождеству 1984 года в том самом городе, откуда был отозван мой главный герой, мы не то прогуливались, не то засели в кафе с моим тогдашним добрым приятелем — недавним эмигрантом. Разговор, само собой, коснулся положения дел в «совсоюзе». Приятель — человек высоких способностей к проникновению в сферы — доверительно процитировал фразу из письма, полученного им от персоны эмигрантской же, но положения и осведомленности высочайших: «В новом году *их* начнут гнать, и это не займет много времени, — осведомляла персона. — Скоро вернемся» (привожу по памяти). 11 марта 1985 года Генеральным секретарем ЦК КПСС был поставлен М. С. Горбачев.

А прогностический роман мой так и не был дописан.

Вацлав МИХАЛЬСКИЙ

Что касается книги, которую я бы планировал написать и не написал, то таковой у меня нет. Так что и рассказать мне тут нечего. Я вообще никогда не планировал ни одну мою книгу, даже эпопею «Весна в Карфагене», которая состоит из шести романов: «Весна в Карфагене», «Одинокому везде пустыня», «Для радости нужны двое», «Храм Согласия», «Прощеное воскресенье», «Ave Maria».

Например, когда в журнале «Октябрь» закончили публиковать роман «Весна в Карфагене», то по ошибке написали «Продолжение следует». Пошли читательские письма, много писем с вопросом: «Когда же будет обещанное продолжение?» И как-то само собой я начал писать роман «Одинокому везде пустыня», а потом третий, четвертый, пятый, шестой. Все книги эпопеи я публиковал в журнале «Октябрь», что называется, из чернилницы, часть за частью. Планов

я не разрабатывал. В архивах не сидел. Своих героев не направлял — они сами шли, куда хотели. И меня это радовало. Если персонаж живой, настоящий, то его без толку куда-то направлять по авторской воле. Живой персонаж еще и автора удивит.

Геннадий ПРАШКЕВИЧ

Ненаписанная книга

Многое меня восхищало.

Даже незабвенный Лажечников.

«Государыня села в первую карету с придворною дамой постарше; в другую карету вспрыгнула Мариорица, окруженная услугами молодых и старых кавалеров. Только что мелькнула ее гомеопатическая ножка, обутая в красный сафьянный сапожок, — и за княжнюю полезла ее подруга, озабоченная своим робронем».

Гомеопатическая ножка! Каково?! Прав, прав был Карамзин, указывавший, что на свете «нет предмета столь бедного, чтобы Искусство уже не могло в нем озаменить себя приятным для ума образом». Нашел и я в те годы (начало 60-х, понятно, прошлого века) дивный сюжет. Как раз большая оттепель схлынула, но оставались многие документы.

Роман должен был называться «Катарсис».

Январь 1924 года. Енисейские берега. Холод такой, что лопаются стволы деревьев. В прокуренной и промерзшей избе-читальне дальнего села идет собрание. «Горе! горе! умер Ленин». Понятно, селяне не могли знать реквием, написанный Валерием Брюсовым на смерть вождя, но я-то знал. И музыку Моцарта знал.

«Вот лежит он, скорбно тленен».

Мороз. Растерянность. Перед кашляющими замершими поселянами — суровый сотрудник ОГПУ, добравшийся до села снежными запутанными тропами. Но добрался ведь. В девятнадцатом ушел куда-то с отступавшими на восток колча-

ковцами, а теперь добрался, вернулся — уже посланцем победившей власти.

«Вспоминайте снова, снова! Ныне наше строго слово: с новой силой, силой строй сомкни! Вечно память сохрани!» Для брюсовского реквиема предполагались сопрано, тенор и бас. «Вечно память, память вечно». И как без альта? «Вечно память...» И опять, опять — сопрано и тенор. «Сохра-а-ани-и-и...»

Сотрудник ОГПУ должен был проследить, как горюет даже такое дальнее, даже такое заброшенное, забытое в заснеженной тайге село, как горюет в нем каждый отдельный человек. А я хотел (вполне искренне), хотел описать это горе.

По рассказам отца. По рассказам его друзей.

Прокуренная изба-читальня. Дым махры. «Как с Богом теперь быть?» Ответ: «А никак! Упразднили». Неверие: «Как это упразднили? А он спустится к нам и отхерачит каждого». И в ответ неверие: «Кто ж такое позволит?» Больше всех сердился скотник Гриша Зазебаев: «Никогда не допустит такого наша советская власть. Сами захороним любимого вождя тут — в селе нашем!»

«Да кто ж нам вождя отдаст? Его все любят».

Даже обрадовавшийся было сотрудник ОГПУ напрягся.

Но сообразил, активно поддержал: «Правильно говорит Гришка. Мы сами захороним вождя. Над рекой. На юру. Пусть всем указывает дорогу».

Кто-то возразил: «А вот в городе памятник царю стоял, так птички в каменной ширинке гнездо свили». Говорившего зашикали. По требованию сотрудника ОГПУ добровольно и единогласно проголосовали: принять предложение товарища скотника Григория Зазебаева и с почестями захоронить вождя на юру!

Писать роман было легко.

Во-первых, тема еще не ушла. Во-вторых, писательское сердце горело.

Это же наша история, считал я. Это же наша настоящая, непридуманная история. Всю жизнь тянуло меня к истории, потому, наверное, и влипал в истории.

Дядя Ваня, приятель отца, сосед по улице, особенно намекал на таежный памятник вождю. Отец тоже (пусть и осторожно) высказывал свои соображения. «Горе! горе! умер Ленин!» Январская ночь, мороз. Сопрано, тенор, бас. Альт с ними.

«С новой силой строй сомкни! Вечно память сохрани!»

Всю ночь шло собрание в избе-читальне. Спорили. Ругались. Землю лопатой не возьмешь, может, поставить пирамиду из льда? Вопрос: «А летом как?» Ответ: «Вот летом и разберемся».

Страница за страницей.

Одно только мучило: всё из вторых, даже из третьих рук.

Успокаивал себя: пусть скотника Зазебаева я никогда не видел, зато таких знаю. Ничуть не изменились они, выхлоп тот же. Знал я и то, как пьют такие искренние скотники, как закусывают картошкой в мундире. К тому же приятели отца подтверждали, что так и было: устроили в тяжелом двадцать четвертом году в дальнем сибирском селе торжественное прощание с вождем. Самогон. Самодельная коптилка. Мечтали: вот вспыхнут над селом лампочки Ильича, вот выведем новую породу лошади — каждая в полтыщи лошадиных сил! А то какая-то лошаденка Пржевальского в соседней Монголии имеется, а у нас — какая страна! — а лошади Ильича нету.

Утром угрюмый плотник заглянул: «Размеры гроба какие?»

Гриша рассердился: «Большие! Чтобы все село руку приложило!»

Плотник разволновался: «А порядок как соблюдать? Ведь выпьют с горя».

Сотрудник ОГПУ на такие взволнованные слова понимающе ответил: «А ты скажи всем: забалуют, начну палить на поражение. Горе есть горе. В любом горе

порядок нужен». И у самого Гриши мысль работала. «Какие-никакие, лошаденки в селе есть. Пустим в процессию. На боку каждой выведем красной краской: “Помним!” Пусть машут хвостами».

Выпили.

«Будет красиво».

И сотрудник ОГПУ одобрил.

«Сомневающихся — в холодную, — покивал. — При таком морозе самый недовольный быстро домой попросится. Мороз легко придает мыслям правильное направление. Заря новой жизни восходит!»

Первая часть будущего романа заняла страниц семьдесят.

И дальше знал, что писать. Но не закончил, не дописал свой «Катарсис».

Ну да, скотник Зазебаев. Ну да, сотрудник ОГПУ, реквием, памятник на юру, но запахов не хватало, своего взгляда. Мучился: всё из вторых-третьих рук. Один из приятелей отца, наиболее правдивый, уверял меня, выпив, что сам видел в океане (служил на флоте) гигантского дохлого кита — одного из тех, на которых мир стоит. Отсюда и потрясения. Мы ведь интересны друг другу только тем, через что прошли сами. Так что, работая над «Катарсисом», я все чаще и чаще отвлекался на сибирские архивы. Волновал меня семнадцатый век — самое расширение России. Терпеливо вчитывался в казачьи отписки. Дивился. Было чему. Вот, к примеру, разбирается дело Семена Дежнева, да, да, того самого, который открыл далекий пролив, разделяющий Америку и Азию.

«И ответчик челобитную выслушал, отвечал — не знаю, не ведаю. И судья у истца спросал — чем его уличаешь? И истец уличал Божью правдою, крестом животворящим. И слался на артельщика своего и на Шапку. А ответчик сказал, яз де не шлюсь на Шапку. А истец слался на Панфила Иванова, а ответчик на него не слался. Истец слался на Самка Петрова; ответчик не слался.

Истец слался на брата его Гольгу да на Пятка Сафонова; ответчик не слался. А сверх тех истец слался в повальный облык. И судья спросал у третьих — у Шапки, у Самсона, у Панфила. И они сказали по государеву крестному целованию правду: пришед де, и сам отдал соболя тот Сидор. Только Гольга сказал — не сам, не знаю. И судья спросал у служилых людей Макария Тверякова, да у Фаддея Васильева, да у Бориса Григорьева, да у Микиты Стефанова и Федора Трофимова; они и сказали правду. Видели де, слышали, Сидор сам соболя отдал...»

В отписке этой все напрямую было обращено ко мне.

В отличие от уверенных слов скотника Гришки Зазебаева, явственно слышал я негромкие вздохи другого промышленника тех лет — Михайлы Захарова. Умирая, трогательно просил распорядиться его добром.

«В коробье у меня кабалы на промышленных людей, да закладная на ясыря — якуцкую женку именем Бычия, да пицаль винтовка добрая. Еще шубенко пупчатое, покрыто зипуном вишневым. А что останетца, — то разделить в четыре монастыря: Троице живоначальной и Сергию чюдотворцу, архимариту и келарю еже о Христе з братиею. А они бы положили к Солекамской на Пыскорь в монастырь 20 рублей, и в Соловецкий монастырь 20 рублей, и Кирилу и Афанасию в монастырь 15 рублей, и Николае в Ныром в Чердынь 5 рублей, и еще Егорию на городище 5 рублей. А роду и племени в мой живот никому не вступатца, потому что роду нет ближнего, одна мать жива осталась. И будет мать моя все еще жива, взять ее в монастырь к Троице Сергию. И где изустная память выляжет, тут по ней суд и правез».

Сибирь. Семнадцатый век. Траурные лиственницы.

Но ведь и в енисейской тайге лютовал мороз, говорил я себе.

И в заброшенном таежном селе мучились люди. Курили самосад, закусывали самогон вареной картошкой, все вроде понятно. Но почему промышленники семнадцатого века мне понятны, даже близки, а скотник Зазебаев и его окружение таяя в моем воображении, как дыхание на морозе, как шепот звезд?

Так мой «Катарис» и не состоялся.

Зато в семнадцатый век я нырнул с головой.

И в этом романе один из героев, мужик Похабин, жаловался.

«Ты, барин, сильней, чем на вид кажешься. Если неделю не попьешь, можешь тягаться с кем хочешь. Я ведь говорил, что скоро начнутся совсем дикие места. А когда идешь по диким местам, надо быть уверенным в своем соседе, барин. Коль не уверен в соседе, с таким лучше не ходить. Кому охота наткнуться по чужой дурости на стрелу, на нож, а то просто блудить в тайге? Я тебе говорил, я Сибирь знаю. Меня Сибирь сделала богатым. Я, барин, когда вернулся в Россию с богатою мяжкой рухлядью, сразу решил, что теперь тихо, хорошо заживу. Только как? Отца нет, и матери нет, и три брата убиты на свейской войне. Да еще барин клетовский. Ишь, вспомнил, что еще мой дед бегал от него, от дурака. И правильно бегал, если бегал. На воле просторней. Я из-за того клетовского барина впал в тоску, сильно запил. — Похабин перекрестился. — В Сибири думал: вернусь в Россию, все будет хорошо. Сколько служб нес, столько и мечтал: в Россию вернусь, припаду к земле. А вернулся, в деревне пусто, и не на кого опереться. Кто врет, кто пьет. Неужто везде так? — И повторил: — Тоска, барин! У русского человека она ведь особенная. Коряка, к примеру, заставь умыться, он все равно так сильно не затоскует. Ни коряк, ни одул, ни камчадал, никакой-какой шоромбоец, все они не знают русской тоски. У них все по-своему. Олешки мекают, детишки кричат, поземка метет — им от того только ра-

достно. А если заскучает коряк, или одул, или те же камчадал и шоромбоец, если темно и душно им покажется жить, они вскочат на нарту, поедут и убьют соседа. То же и нымылане, и чюхчи. Я разных, барин, в жизни встречал дикующих, знаю их тоску. А наша русская тоска, барин, она вся изнутри, она ни от чего внешнего не зависит. Хоть молнии, хоть тьма, хоть ты в грязи лежишь, если нет в сердце тоски, сердце русского человека чувственно радуется. Пусть нет у тебя ни крыши, ни харчей, ни питья, пусть подвесят тебя на дыбу, отнимут бабу — русский человек все равно от этого не в тоске, он просто страдает. Но однажды в самый добрый солнечный день, барин, среди радости, среди чад милых, на берегу веселой речушки, на коей родился, среди воздвиженья, радости, хлопот и многих дел вдруг как колесико какое съезжает в твоей голове, и вот — затосковал русский человек, затосковал страшно...»

Впрочем, это уже из *написанного* романа.

«Секретный дьяк». Издан и много раз переиздан.

А «Катарсис» — что ж. Там, наверху, Он лучше знает, что нам каждому надо.

И если писательский процесс (всегда загадочный) не оборван кем-то искусственно, то это только на пользу писателю. Другое дело, что когда обрывают чужой волей, тогда это — страдание. Ведь теряем навсегда. А потом сами уходим.

Андрей РУБАНОВ

Ненаписанный роман

В 2011 году я поехал в командировку на остров Пасхи, расположенный в Тихом океане. Я провел на острове двадцать дней и написал путевой очерк для журнала «Афиша». Тогда же задумал и роман под названием «Пацифик»: художественную историю о заселении Тихого океана первобытными племенами, о том, как

возникли современные Полинезия и Микронезия. Роман должен был содержать и фантастический элемент: есть легенды о существовании в Тихом океане материка, ушедшего под воду подобно Атлантиде. Я хотел описать, как большие племена, тысячи мужчин и женщин, на флотилиях из сотен катамаранов преодолевали расстояния в несколько тысяч миль. Хотел изобразить морские сражения, реликтовых морских чудовищ и так далее. Океан я люблю и, как мне кажется, понимаю; одно время серфингом занимался.

Я изучил тему; оказалось, такого романа до меня никто не написал: я стал бы первооткрывателем. Есть множество научных трудов, но художественной книги нет ни на одном языке.

Однако работа над романом требовала сбора материала и времени. Написание ушло бы несколько лет. Чтобы изучить научные труды, нужно было в совершенстве освоить английский, а в идеале — хотя бы один местный язык, например самоа. Далее, требовались значительные средства для поездок.

Я прикинул трудозатраты и понял, что не потяну. Деньги можно было найти, привлечь спонсора. Но оторваться на пять-семь лет от текущей работы было невозможно. Я отказался от замысла.

Позже, в прошлом году, на материале поездки на остров Пасхи я написал рассказ «Пацифик», он вошел в сборник «Жестко и угрюмо». В рассказе подробно изложена и история ненаписанного романа.

Мне очень нравится афоризм Павла Крусанова: «У настоящего маньяка никогда ничего не пропадает». Методы постижения и моделирования сознания языческого, дохристианского человека я потом использовал при работе над романом «Финист — ясный сокол».

Неосуществленные замыслы есть у всех творческих людей. Не только у писателей. У композиторов есть ненаписанные симфонии, у живописцев —

ненаписанные полотна. Это нормально. Хуже всех приходится кинодраматургам, сценаристам. Я пишу сценарий, не зная, когда выйдет фильм и выйдет ли вообще. За 10 лет я написал 30 сценариев, до экрана добрались только семь. Сценарист может вложить все силы, написать превосходный сценарий, а потом наблюдать, как его работа бесследно исчезает в жерновах индустрии. У каждого сценариста в компьютере — целое кладбище нереализованных идей, больших и малых. К этому привыкаешь.

Самое главное — чтобы замыслы, идеи поступали в голову. Если идеи приходят — беспокоиться не о чем. Каждую сырую идею надо критически обдумать. В том числе на предмет оригинальности. Идеи носятся в воздухе, и если идея пришла тебе в голову — она наверняка до тебя пришла в другую голову. Однажды я придумал роман «Патриот», разработал его, стал писать, а потом обнаружил, что такую же историю до меня уже изложил Вампилов в пьесе «Утиная охота», и даже фамилии героев оказались созвучны: у меня Знаев, у Вампилова Зилов.

Чтобы отказаться от замысла, требуется мужество, навык самокритики.

Профессионал обычно пишет книгу, зная, какой будет следующая. Одну делает, а еще одну или две — обдумывает.

Мне повезло, у меня никогда не было недостатка в идеях и замыслах, надеюсь, мне хватит жизни, чтобы реализовать их.

Роман СЕНЧИН

Не могу писать о прошлом

Во мне всегда живут несколько сюжетов. Я не записываю их в блокнотики — те, что остаются в памяти, не забываются и продолжают мучить через полгода, год, три года после появления, в итоге заставляют перевоплощать их в рассказы и повести. Иногда я боюсь, что сюжеты кончатся и я опустею. Но жизнь

постоянно их подкидывает. В основном, к сожалению, невеселые.

А насчет большой книги... Да, есть такая ненаписанная: много-много лет хочется написать о моей родной Туве исторический роман. О том, как Урянхайский край — будущая Тува — жил под китайцами и монголами, как и почему появилась идея искать покровительства России, как к этому относились в разных районах Урянхая, в России, Китае, Монголии; как происходил этот непростой процесс — установление протектората...

Да и после у Тувы была непростая, местами запутанная история. Могу вкратце ее рассказать.

До 1912 года Урянхайский край принадлежал Китаю, а после Синьхайской революции вместе с Монголией стал независимым. Вернее, на него претендовала Монголия и оправившийся от революционных потрясений Китай, и несколько тувинских князьков решили проситься под покровительство Российской империи. В 1914 году эта просьба была удовлетворена — Николай Второй черкнул на документе: «Согласен». В 1919 году Урянхай был оккупирован Монголией, и монголы, войдя в раж, чуть ли не дошли до Минусинска, но потом у них самих случилась революция, стало не до Урянхая и спорных территорий севернее его.

С 1921 года Тува — формально независимое, частично признанное (РСФСР/СССР, а затем и Монголией) государство со своей валютой, своими почтовыми марками. Вопросы внешней политики решал Коминтерн... В 1944-м Тува добровольно вошла в состав СССР.

Русские стали селиться на ее территории с 70-х годов позапрошлого века, в 1914-м был основан Белоцарск, будущая столица республики — город Кызыл. На момент провозглашения независимости Тувы русских там жило около десяти тысяч. Их положение и статус постоянно менялись — это предмет для детального исследования...

С середины 1920-х в дружественную республику ехали советские специалисты; в конце 1950-х численность некоренного населения составляла больше сорока процентов, в конце 1980-х — больше тридцати (в Кызыле — в районе восьмидесяти процентов), а потом наступили времена «парада суверенитетов», межнациональные конфликты; в 1993 году была принята Конституция, по которой Тува в любой момент могла выйти из состава России. И некоренного населения в итоге осталось в республике чуть больше десяти процентов. Ушел оттуда и «русский мир».

Семья моей бабушки по маме приехала в Урянхай то ли до революции, то ли сразу после нее. Сама бабушка, Валентина Мартемьяновна Шаталова, родилась в 1922 году уже там, знала неплохо тувинский язык. Теперь я очень жалею, что не расспрашивал ее: бабушка умерла, когда мне было шестнадцать лет — возраст не для разговоров о старине...

Мой отец родом из Красноярска, переехал в Туву к моей маме в 1970-м. Много лет он писал роман под названием «Урянхай» — как раз о Туве накануне установления протектората России. Собирал материалы в фондах Минусинского музея (крупнейшего музея Южной Сибири), когда меня еще не было на свете, а оставил работу над романом в 1993-м, когда мы уехали из Тувы и поселились в селе Восточном — на самом юге Красноярского края.

В 1980-е он предлагал к публикации первый том. Помню, как его критиковали за название, настоятельно советовали изменить («урянхай», по распространенной версии, переводится с монгольского как «страна оборванцев», что, в общем-то, не доказано), но потом появился роман тувинского писателя Михаила Монге «Урянхайцы», стал издаваться журнал «Урянхай»...

Четверть века отец переписывал, переделывал «Урянхай», менял стиль, вставлял, убирал эпизоды, менял местами

главы, копался в архивах. Хотел написать большую, настоящую книгу... У него вообще характер максималиста. Поэтому, наверное, он не мог работать подолгу на одном месте, хотя нередко занимал довольно высокие посты, на какие в то время беспартийных, как правило, не допускали.

Рукопись отцовского «Урянхай» погибла. Несколько лет назад я читал уцелевшие фрагменты, наброски. Я бы писал иначе. Но — если бы писал...

Дело в том, что я не могу погружаться в прошлое. Разделяю слова Льва Толстого: «Трудно проникнуть в души тогдашних людей, до того они не похожи на нас».

Тут можно возразить: но Толстой-то тем не менее написал «Войну и мир» — там о прошлом, о времени, когда его самого не было на свете. Верно, но «Война и мир» должна была стать лишь вступлением к главному — возвращению декабристов из Сибири, чему Толстой оказался свидетелем... В основном же Толстой и писатели его эпохи изучали современную им жизнь.

Прошу прощения за такие параллели. Но тем не менее...

Да, «трудно проникнуть в души тогдашних людей». Даже в свою собственную, какой она была пять-десять лет назад, мне, например, почти невозможно. Да без «почти» — получится не совсем правда, потому что я необратимо изменился, все буду оценивать и воспринимать со своих нынешних позиций, возраста, психики. Как бы ни стремился к обратному.

Так уж я устроен, что реагирую в основном на происходящее здесь и сейчас. Об этом мне интересно писать, пытаться переложить горячую, колючую, почти бесформенную реальность на язык прозы. В некоторых рассказах или фрагментах повестей и романов я еще могу переместить героев в прошлое, отправить в какую-нибудь другую страну, но чтобы практически целиком посвятить этому большую вещь... Нет, не получается.

Отчасти попыткой рассказать о Туве стал мой роман «Дождь в Париже». Несмотря на название, основное действие происходит в моем родном городе Кызыле, временной охват — с конца 1970-х до 2014 года. Герой книги из тех «русских» (а так в Туве называют всех нетувинцев), кто остался. Уехали родители, почти все друзья и одноклассники, бывшие жены, а он продолжает жить в ставшем, по сути, враждебным пространстве. Русские до сих пор воспринимаются в Туве как оккупанты, хотя и не так открыто, как это было в 90-е.

Но «Дождь в Париже» — частная история одного человека, исторические персонажи лишь упоминаются, в прошлое отсылок почти нет. Почти нет и самих тувинцев. За что меня некоторые читатели поругали.

Но дело в том, что оставшиеся русские живут, по сути, отдельно. Своим мирком. Если есть в этом мирке тувинцы, то так называемые обрусевшие. Но таких теперь, в отличие от 1980-х, мало. Русский язык на улицах Кызыла — редкость. Даже в судах некоторые процессы ведутся по-тувински...

Кстати, в Эстонии, где я провел недавно почти полгода, эстонцы и русские тоже живут своими мирками. Почти не пересекаясь. Хотя русские там — это не совсем те русские, что в России. Так же и в Туве. Когда мы в начале 1990-х наводнили юг Красноярского края, местные не считали нас полноценно русскими, называли «тувинцы». Конечно, география накладывает отпечаток на менталитет...

Конечно, обо всем этом хочется написать большой, многоплановый роман. Этакую эпопею. Но...

Но я не могу представить себе людей даже полувековой давности — как все это у них было, как они жили, общались, — что уж говорить о людях, скажем, 1914 года. А писать по лекалам, по образцам, данным другими литераторами, как-то нехорошо, нечестно, что ли. Поэтому

вряд ли я когда возьмусь за написание такой книги.

Да и тяжело это очень — писать о родине, с которой тебя согнали, для которой ты оказался чужаком...

Михаил ТАРКОВСКИЙ

Одно время мечтал, точнее, говорил и писал о том, что надо бы написать большую эпопею о сибирском мужике, который прошел войну, и только маленько передохнул, насколько это было возможно в колхозах, как грянуло укрупнение, потом вроде и соболек подразвелся в тайге, начались госпромхозы и хорошо зажили, а потом буржуазная революция 90-х. Смысл книги — что никак не удавалось приспособиться окончательно, едва притерпится — и новая метелка. План этот мой так и остался разговором. А жаль.

Потом начал так же мечтать о книге про Ермака, конечно, что и сын Ермак — добавляло. И тоже — пока ничего не сделано. Причины — огромность темы, требующей серьезной архивной работы, и постоянная занятость в более понятных и кажущихся важными книжных задумках.

А если ближе к жизни, то мечтаю в ближайшее время писать продолжение «Тойоты-Кресты», четвертую часть. Хотел даже и пятую. Примерное содержание — женитьба Евгения на Катерине, история стройки храма в Енисейске, в которой участвовал Женя. И съемка фильма с братом Андреем. Фильм посвящен образу России к востоку от Енисея. Должна быть еще одна поездка на Дальний Восток.

Опыт нереализации планов не нужен, думаю, ни писателю, ни какому-либо другому трудовому человеку. Это ничего не дает, кроме неудовлетворения собой и ощущения, что наговорил, а не сделал.

Хотя тут же себя и оспорю, потому что не так давно написал две повести, придумал которые лет десять назад, на которые махнул рукой и которые лежали и

просто ждали своего часа. Так что лучше, видимо, поменьше о своих планах рассуждать, побольше делать и смелее доверять судьбу свою Господу нашему Иисусу Христу. Желаю всем литераторам сил и здравия.

Леонид ЮЗЕФОВИЧ

В середине 1980-х мой старинный друг, замечательный пермский библиограф и краевед Татьяна Ивановна Быстрых (для меня просто Таня) подарила мне машинописную копию неопубликованного дневника Леры Агеевой, гимназистки из Кунгура. Таня тоже была оттуда родом и этот дневник получила от потомков автора.

Лера Агеева рано лишилась отца, а ее мать, преподавательница женской гимназии, была председателем уездного комитета партии кадетов. Осенью 1918 года ее убили революционные балтийские матросы, проезжавшие через Кунгур на Восточный фронт. Осиротевшую пятнадцатилетнюю Леру взяла к себе ее жившая в Перми тетка. Вскоре красная Пермь была захвачена Средне-Сибирским корпусом генерала Анатолия Пепеляева, но летом 1919 года его армия начала откатываться на восток. Лера вместе с теткой, ее мужем-врачом и своими двоюродными сестрами эвакуировалась в Омск. Там она и начала вести дневник.

Его машинописная распечатка занимает около трехсот страниц. Лера была умная, развитая и, главное, наблюдательная девочка. Дух времени чувствуется во всем, о чем она пишет, будь то ссоры с кузинами и отношения с мальчиками или впечатления от прочитанных книг, разговоры взрослых, слухи и анекдоты (помню, например, такой, иллюстрирующий житейский хаос в столице белой Сибири: «В Петербурге все знали, где министерства, но не знали, кто министры, а в Омске знают министров, но не знают, где министерства»). Омск при Колчаке,

неудачная попытка уехать дальше на восток перед вступлением в город Красной армии, начало жизни при новом режиме, воспоминания о Перми и Кунгуре — все это Гражданская война, увиденная глазами девочки-подростка.

К тому времени я написал три повести о событиях 1918—1921 годов в моих родных или близких мне по жизни местах — на Урале и в Забайкалье: «Чугунный агнец», «Контрибуция», «Песчаные всадники». Зная о моем интересе к этому времени, Таня Быстрых надеялась, что дневник Леры станет основой моего первого романа. Да я и сам понимал, какое бесценное для писателя сокровище попало мне в руки.

В общем, я самонадеянно засел за эпический роман о Гражданской войне на Урале и в Сибири. Писал я его около трех лет, и по ходу дела он сменил несколько заглавий. Последнее — «Почтовый ящик фронта». Так назывался раздел в сибирских газетах, где печатались письма колчаковских солдат и офицеров, их просьбы и объявления. В переносном смысле — частная жизнь человека в годы войны и смуты.

Понятное дело, главной героиней я сделал Леру, которую переименовал в Сашу, но расширил хронологические рамки ее дневника: действие начиналось осенью 1918 года в Перми, продолжалось в Омске и должно было завершиться в Кунгуре сразу после окончания Гражданской войны. Кроме самой Леры, действующими лицами были не только ее постоянно фигурирующие в дневнике родственники, но и вымышленные персонажи и реальные исторические фигуры вроде генерала Пепеляева.

Главных причин, по которым книга не была написана, две.

Во-первых, я начал сознавать перегруженность текста историческим материалом. Он задавил героев своим объемом и тяжестью. Алексей Н. Толстой

говорил, что исторический романист должен все знать об эпохе, которую он намерен воссоздать, но перед началом работы ему нужно все это забыть. Очень точная рекомендация. В конце 1980-х мы были оглушены свалившейся на нас недоступной прежде информацией о революции и Гражданской войне, и у меня просто не было времени не то что ее забыть, но даже толком усвоить и произвести хотя бы предварительный отсев. Она погребла под собой моих героев. Большая история держала их на слишком коротком поводке, и в итоге они сделались нежизнеспособными.

Вторая причина — навязчивое присутствие в романе политической идеологии. Не хочу говорить о ней подробно, скажу одно: подобная идеология, какого бы ни была она цвета и оттенка, всегда приводит к упрощению реальности, особенно если речь идет о событиях такого масштаба, как наша Гражданская война. Чувство, что я делаю что-то не то, нарастало параллельно с потерей интереса к работе. В течение полугода я еще время от времени садился за свой стремительно теряющий энергию роман, пока не понял, что писать его дальше нет смысла. Он перестал мне нравиться. Из довольно пухлой рукописи я отобрал два-три десятка страниц, казавшихся не совсем безнадежными, остальное, за неимением дачи с дровяной печкой, в приступе ненависти к себе расчленил и частями спустил в мусоропровод, чтобы не возникло соблазна когда-нибудь вернуться к этому тексту.

Кое-что из дневника Леры Агеевой позднее вошло в мой роман «Казароза», а некоторые вставленные в «Почтовый ящик фронта» выписки из газет я потом использовал в своих документальных книгах.

За других писателей не поручусь, но мне подобный внутренний опыт был полезен. В частности, я заметил, что имевшиеся в романе цитаты из газетных

статей, документов и мемуаров гораздо ярче выражают эпоху и производят более сильное впечатление, чем плоды моей писательской фантазии. Из этого понимания выросли мои документальные книги «Самодержец пустыни» и «Зимняя дорога».

Наверное, это неоправданно высокая цена — потратить три года жизни, чтобы понять элементарные, в общем-то, вещи, но, как человеку своего поколения, мне пришлось ее заплатить. Когда-то я все равно столкнулся бы с тем неприятным для меня фактом, что так называемая «художественная литература», которой в советскую эпоху придавалось несоразмерно большое значение, не единственный и даже, может быть, не лучший способ отражения реальности, и должна знать свое место.

Михаил ЩУКИН

Жалобная книга

Если честно, даже не знаю, имеет ли это воспоминание о давнем времени отношение к литературе... Скорее всего, не имеет. Но все-таки рискну, потому как речь идет о книге ненаписанной, и будет ли она когда-нибудь написана — неизвестно. Наверное, не будет.

...Мне двенадцать лет, и на целый день, долгий-долгий июльский день я оставлен хозяйничать дома со следующим наказом: встретить корову из стада, следить, чтобы куры не забрели в огород, принести воды из колодца, полить огурцы-помидоры и накормить поросенка. Отец, шофер лесовоза, на работе, а мачеха со старшим братом рано-рано, еще в потемках, уехали на мотоцикле «Ковровец» косить сено в дальней ляге. Ляга — это высохшее болото, где на кочках растет сухая и жесткая, как проволока, трава. Косить ее одно мучение, но другого выхода у нас нет, потому что «дурак Никита», как называл отец Хрущева, прика-

зал свернуть личные хозяйства, и покосам в тот год в леспромхозе не выделили. Изворачивались кто как мог, и косили в самых гиблых неудобьях.

Со всеми порученными делами я справился, даже не поленился и ограду подмел. Сел передохнуть на лавочку и стал ждать брата с мачехой. Представил, как они приедут, потные, пыльные, искусанные паутами, которые в ляге летали тучами, и так мне их стало жалко, что захотелось для них сделать что-нибудь хорошее, чтобы они были довольными. И решил я приготовить ужин. Приедут, а на столе уже все готово, горяченькое. Печку растопить на летней кухне — дело плевое, вермишели отварить — да проще простого! А после нарвать луку на грядке и поджарить вермишель на сковородке, да еще и с яйцами, благо что в курином гнезде целых три штуки нашлось.

Но случилась осечка. Когда сливал воду, прихватив чугунок тряпкой, плеснул кипятком прямо на руки, которые сами собой разжались, чугунок, а вместе с ним и сваренная вермишель ухнулись в поганое ведро. Только пар пошел. И надо же, ни раньше, ни позже, а именно в этот момент приехали мачеха с братом. Мачеха, измотанная за день косьбой и паутами, увидев вермишель в поганом ведре, не сдержалась и начала кричать, называя меня обидными словами.

А я-то ведь хотел как лучше! Я же для них старался! Мечтал, как они приедут и похвалят меня... Помнится, даже дыхание перехватило от горькой несправедливости. И бросился я со всех ног из ограды — только пятки сверкнули. Выбежал на берег речки, отвязал лодку и махнул на другой берег, где на лугу, на елбане, так

у нас холм называли, было у меня любимое место. На самом верху, в неглубокой ямке. Присядешь поудобней, и вся округа у тебя перед глазами, никакого бинокля не надо, все видно.

Смотрел я на округу, переживая случившееся, а перед глазами, в которых еще стояли слезы, непонятно по какой причине, предстала большущая книга. Толстая, как плахи на нашей леспромхозовской пилораме, и сверху еще темно-красным бархатом обтянута, мягким, как занавески в горнице, какие недавно в сельпо купили. Почему именно такая книга мне представилась — не знаю. У нас таких книг в деревенской библиотеке не имелось, а уж дома — тем более. Но — представилась. А еще — большой карандаш, на веревочке к ней привязанный. И вот, думал я, лежала бы эта книга здесь, на елбане, и приходили бы сюда люди, которых несправедливо и незаслуженно обидели, и каждый из них брал бы толстый карандаш и записывал бы свою обиду. А другие люди приходили бы и читали. Верилось мне искренне, что, прочитав про чужие обиды, люди никогда бы не ругали своих ближних, не разобравшись и не выслушав их.

Я даже стал думать, как сделать такую книгу, из какого материала ее смастерить. И так старательно думал, что ночью во сне увидел, в руках ее держал.

Но через два дня отец принес из сельпо маленькую литовочку, наточил ее, насадил на ручку и сказал, что пора мне отправляться на покос. На следующее утро мы поехали на «ковровце» в лягу уже троим. В то лето я научился косить.

А книгу так и не сделал.

Жаль...

*Подготовил
Михаил Хлебников*



Влада БАРОНЕЦ

СТРАННОЕ ХАОТИЧЕСКОЕ ДВИЖЕНИЕ: ЗАГАДКИ СОВРЕМЕННОЙ КРИТИКИ

В последние три-четыре десятилетия в поэзии чего только не отменяли и кого только не хоронили. За объявленной когда-то смертью автора как проводника смысла последовала и смерть читателя, и смерть текста. А гибель поэзии провозглашалась уже столько раз, что, как шутя заметил американский поэт и критик Дэвид Леман, учредитель издаваемой с 1988 года книжной серии «Лучшая поэзия Америки», «кто-то всегда говорит, что поэзия мертва».

Не волнуйтесь, все почившие на самом деле живы. Однако долгое пребывание литературы в ситуации, где главной свободой считалась свобода отсутствия, не могло не оставить своих следов. Сейчас право автора главным образом состоит в «неделании» — можно устранившись из своего произведения как носителю идеологии, не конструировать цельного художественного мира, отказаться от лирического «я», не ориентироваться на читателя, не создавать нового. Но что-то все-таки делать нужно, и в этом «делании» автор часто ориентируется только на себя.

Критика пытается адаптироваться к непривычным для нее условиям. Не случилось художественных открытий — что ж, придумаем их сами: вот вам новая искренность, новая сентиментальность, новый реализм. Прошли времена больших литературных направлений — значит, будем говорить о времени многих поэзий.

Так, Михаил Эпштейн, еще в 1980-е годы обозначивший две крупные

поэтические школы — концептуализм и метареализм, — в то же время придумал и отдельное направление чуть ли не для каждого поэта (презентализм, конкретизм и т. д.). В рассуждениях Эпштейна о метареализме и концептуализме есть немало рационального, а вот остальные направления он как будто нафантазировал. Скажем, презентализм у него «утверждает само присутствие вещи, ее видимость, осязаемость как необходимое и достаточное условие ее осмысленности», это «поэзия присутствия, поэзия настоящего».

«Да у меня просто стихотворение про крота в норе», — скажет ни в чем не повинный поэт. «Нет, братец, ты презенталист, и не спорь».

Однако сегодняшняя критика богата статьями, по сравнению с которыми эпштейновские работы можно назвать вершиной профессионализма. Ведь Эпштейн по крайней мере демонстрирует знание предмета, старается быть логичным, выстраивает свои взгляды на поэзию в некую систему с определенной структурой и терминологией, которые последовательно использует и развивает. Многие же публикуемые сегодня критические статьи — не более чем каша, состоящая из общих мест и надуманных формулировок, которые не имеют никакого отношения к предмету размышлений. Например, в предисловии Кирилла Корчагина к книге стихов Романа Осминкина говорится: «...поэтический проект Осминкина предлагает... выйти за пределы автоматизированной речи и привычных отно-

шений навстречу новой субъективности и, в конечном итоге, новой антропологии. В этой поэзии все элементы языка здравого смысла, основы памфлета, приходят в странное хаотическое движение, обнаруживают неожиданные и непредсказуемые связи друг с другом и снова включаются в круговорот семиозиса, означая с болезненностью кровотокащей раны».

Неужели языковые элементы вступают в неожиданные связи только в поэзии Осминкина? Чем «странное хаотическое движение» отличается от нестранного и что знаковость языка выигрывает от «болезненности кровотокащей раны»? А из-за того, что глагол «означая» смело употребляется автором как непереходный, конец последнего предложения вообще повисает в воздухе.

А вот что пишет Алексей Порвин в рецензии на дебютную книгу Елены Горшковой: «Вдумчивая рецепция, отличающая поэтическое письмо Елены Горшковой от письма многих других двадцатилетних, довольствующихся продолжением одного-двух поэтов XX столетия, ведет к конструированию оптики, состоящей скорее из подвижных, переходящих друг в друга оттенков и вибраций: модус перехода между слоями (в том числе чужой) речи отражается в тяготе к синкретизму и одновременному его отрицанию, что обусловлено, может быть, столкновением в авторском сознании установок модернизма с установками постмодернизма. Полем этих столкновений зачастую становится вещественный слепок мира, преломленного восприятием». Читателю наверняка потребуется не только «вдумчивая рецепция», но и самообладание, чтобы представить себе двадцатилетних, довольствующихся «продолжением одного-двух поэтов», и оптику, состоящую из подвижных вибраций, не говоря уже о «вещественном слепке» преломленного мира.

Однако есть проблема, которая не менее серьезна, чем бессистемность и

беспочвенность суждений. Эта проблема — безоценочность критического высказывания, критика без критики. Критик пишет статью о творчестве некоего поэта, где рассуждает о его принадлежности к той или иной школе, об авторских решениях и приемах — и ни слова не говорит о том, оправданы ли эти решения и приемы, работают ли они на идею и есть ли вообще идея. Но ведь критик не энтомолог, и его задача не в том, чтобы давать название каждой новой букашке, даже самой мелкой и неприглядной. Почему же критики теперь деликатно уходят от простых конкретных вопросов: получились ли стихи у автора? В чем их художественная ценность?

Какой бы ни была система философских принципов или художественных приемов, в которой создано или рассматривается поэтическое произведение, упомянутые выше вопросы продолжают требовать ответа.

Возьмем метареализм, проповедующий переход к сверхреальности, в которой вещь одновременно существует во всех возможных воплощениях и связях. В метареализме вещи и стоящие за ними идеи сопричастны, на глубинных метафизических уровнях родственны друг другу и в какой-то момент все может стать всем. Но в пространстве стихотворения не получится показать все вещи разом (так же как при его анализе невозможно рассмотреть сразу все его текстовые и внетекстовые связи). Все равно нужно от чего-то отказываться, что-то выбирать. Кроме того, поэтический текст так или иначе нуждается в логической обоснованности, в неслучайности своей структуры.

Вот отрывок из стихотворения Ильи Кутика, которого Эпштейн относит то к метареализму, то к презентализму и которому в «Диалоге о современной поэзии» заявляет: «...твоя стиховая система — одна из самых рефлексивных в современной русской поэзии»:

Сон, — он пишет, —
ты — мой персидский кот;
ты — куст мой, жимолость и сирень;
я тебя вдыхаю и ушерстяюсь в лень...
Но кто «сон» и «сонет»?
кто от кого есть — «от»?

Может, я сам есть «от»?
или «от» — это зов сирен,
а я — привязанность к мачте?
и «от» — есть зов,
на что я — зевота?
Вот так растворяют зев,
показывая реальность.
Кот — метрополитен

некой белой реальности;
она ж — не дает спать,
вдобавок — выжата, как клаксон
возле зеленого...

Наверное, у каждого есть родственники с дачей, которая периодически извергает какие-нибудь кабачки или антоновку в устрашающих количествах. Автору этого отрывка, похоже, привезли ведро образов, которые нужно было срочно освоить, чтобы не сгнили. Текст переполнен ими, но им не хватает объединяющей силы — ведь все равно нужен повод (как бы тонок, неуловим он ни был), чтобы выйти из кота в куст, из куста в зев, а из зева снова вернуться в кота, который к этому моменту сам уже превратился в метрополитен белой реальности. Кот и куст еще как-то работают, но смущает то, что на место куста теоретически можно подставить и дерево, и облако, и все что угодно. Получается, что автор может просто ставить рядом любые не привыкшие к этому слова — вот вам и парад реальностей. Та же проблема и с котом: что изменится, если заменить кота собакой или, скажем, лошадью? Почему именно кот стал метрополитеном реальности? В поэзии легкость замены одного слова другим обычно объясняется тем, что правильно, самого верного слова не найдено.

Есть и еще один важный момент. Множественность реальностей, как и лю-

бая другая идея, воплощается в поэзии метафорически, а не буквально, — именно по этой причине невозможно пересказать стихотворение, полностью сохранив его структуру. Кутик же пускается в пространственные рассуждения, скорее разжевывая, чем поэтически осуществляя свою идею:

Впрочем, звяканье ложечкой —
самообман
дополнительный, ведь на
этот звон отзывается только стакан,
Время же — безответно,
как и все, что нам дарит иллюзию
власти любой
над собой.

Задачи концептуализма на первый взгляд кажутся более простыми, чем задачи метареализма, но в действительности ответственность автора за художественность создаваемого произведения здесь не меньше, а в чем-то даже больше. Концептуализм оперирует концептами — элементами номенклатурного, штампового языка. В некоторых статьях об этом направлении сказано, что лиризм в нем отсутствует, а работа автора заключается только в том, чтобы складывать слова-кирпичики в некую идею. Однако в действительности во многих концептуалистских стихах за плакатными собирательными образами страны, системы и человека как порождения первых двух угадывается живое лирическое начало.

Вот пример «лирического» концептуалистского текста, написанного Дмитрием Приговым:

Крылатым воскресеньем
В крылатый месяц май
Крылатым там каким-то
Крылатым чем-то там
Я вышел из подъезда
Из дома своего
Где я провел всю зиму
И со своей семьей
Я вышел и заплакал
На корточки присел
И мне не стало мочи

**И жить не захотел
Вот я терпел всю зиму
Был худ, но духом бел
А тут такое счастье —
И жить не захотел**

Зачин у стихотворения истинно концептуалистский: слово «крылатый», начинающее как метафора, и вообще первые две строки задают возвышенный тон, но уже в следующих двух строках крылатость теряет объект, клишируется и обесценивается, а текст иронизирует сам над собой, наполняясь неопределенными местоимениями. Нарушается синтаксическая структура, отключается логика. Но ироничность и косноязычие текста не мешают лирическому герою — даже наоборот. Несуразность, непоследовательность в строении стихотворения не только создает эффект живой, наивно-поэтической речи, но и помогает семантическому слою текста, вместе с ним порождая подлинный трагизм. Концовка стихотворения философична, причем это не отпечаток заранее известной штампованной идеи, а сложный смысл, созданный взаимодействием живых языковых элементов.

Вопрос художественной ценности при критической оценке концептуалистской поэзии мне кажется особенно актуальным в связи с тем, что она оперирует готовым, семантически застывшим языковым материалом. На мой взгляд, концептуализм рискует перестать быть поэзией, когда создает текст механически, используя его исключительно как мем, поскольку лишает поэта возможности по-настоящему творить, а читателя — «со-творить» текст.

Взять, например, американского поэта Кеннета Голдсмита, активно участвующего в проектах концептуального искусства, в одном из которых публике предложили распечатывать и присылать в картинную галерею страницы из Интернета (авторы проекта намеревались таким образом распечатать весь Интернет). В 2013 году Кеннет получил титул первого поэта-лауреата от Нью-Йоркского

музея современного искусства, хотя его стихи немногим отличаются от упомянутого проекта: одно из его стихотворений — это собранные за год прогнозы погоды.

Право подобных творческих актов называться поэзией настолько сомнительно, что даже сам автор в интервью говорит: «Наверное, то, что я пишу, — это поэзия».

Такое высказывание может показаться шуткой, но дальнейшие рассуждения Голдсмита свидетельствуют о том, что он настроен вполне серьезно. «Самый большой плюс концептуальной поэзии в том, что ее не нужно читать», — заявляет он. Поэт и критик Роберт Аршамбо, автор книги «Поэт уходит в отставку: поэзия в сложном мире», отвечает на это, что поэзия вообще-то зиждется на чтении, так же как и на ценности каждого отдельного слова. Наконец, Голдсмит считает, что «идея часто намного интереснее получающихся из нее текстов». Но если идея уже есть и она интереснее сама по себе, почему не высказать ее напрямую, без текста? А если стихи получаются неинтересными, может, они просто не получаются?

Приведенные здесь примеры творчества поэтов, представляющих разные поэтические школы, демонстрируют, насколько современная поэзия нуждается в критической оценке. Анализ приемов поэтического текста, размышления о том, к какой школе его отнести, «теоретизация» явлений литературного процесса, безусловно, необходимы критике, но не могут быть ее целью сами по себе. Безоценочная, замалчивающая темы качества и мастерства позиция теоретиков (как и бестолково написанные критические статьи) только мешает читающей аудитории ориентироваться в океане имен и произведений, а пишущей — отвечать за написанное.

Голос критики, ее профессионально выраженное мнение нужны не только читателям, но и поэзии, и самой критике — как минимум для того, чтобы и та, и другая смогли понять, чего стоят.

Заметки на полях

Константин КОМАРОВ

БОЛЬШЕЙ ЧАСТЬЮ — О ХОРОШЕМ

О поэзии с нежностью, но без сюсюканья

В прошлом своем обзоре я сосредоточился на изданиях, входящих в «Журнальный зал», но и на другом крупном журнальном портале — «Журнальный мир» — тоже есть что почитать. И чего не почитать — тоже есть...

Поэтому сегодня прежде всего поговорим о стихах, опубликованных в последних выпусках наиболее заметных, на мой взгляд, изданий, размещенных именно в «Журнальном мире», ведь этот ресурс имеет целью «максимальное освещение деятельности русскоязычных толстых литературно-художественных журналов и альманахов, выходящих в России и за рубежом», а значит, здесь можно найти тексты, не попавшие в поле зрения столичных читателей и критиков, но не ставшие от этого менее интересными.

* * *

Так, в «Плавучем мосте» (№ 4, 2019) обращает на себя внимание подборка поэта из Евпатории Максима Жукова. В кратком предуведомлении к ней Сергей Шаргунов определяет основной нерв поэзии Жукова: это «какая-то потерянность», которая улавливается за богатой и сочной жуковской иронией, сарказмом, инвективностью, нарочитой жесткостью образного ряда. К стихам

Жукова вполне применимо наблюдение Виталия Кальпиди о том, что ирония — это обморок, в который падает испугавшаяся самой себя сентиментальность. Поэтому Максим Жуков — лирик, а не издевающийся, деконструирующий и разоблачающий постмодернист, как может сперва решить читатель-неофит. Внешних примет постмодернизма в стихах Жукова полно — интертекстуальность так и вообще напоминает о себе через строчку, однако постмодернистская эстетика переосмысливается поэтом на лирической «платформе». Как справедливо отмечает в послесловии к подборке поэт Надежда Кондакова, «“посмодернизм” ему помогает, а не мешает, как многим, сисящимся сказать нечто, но не умеющим сказать что-то»:

**Если в рай ни чучелком, ни тушкой —
Будем жить, хватаясь за края:
Ты жива еще, моя старушка?
Жив и я.**

В том же номере опубликованы «Ловцы жемчуга» — лирические миниатюры поэта и переводчика из Рыбинска Максима Калинина, который известен как поэт эпического склада, автор масштабного цикла стихотворных полотен о жизни русских святых. В данной же подборке он предстает автором изящных

зарисовок-философем, апеллирующих к традициям японской поэзии:

**По отраженью моста,
Унесенному вниз по теченью,
Двое прохожих
Успели перебежать
Небольшую реку.
Под третьим
Оно исчезло
За шаг до берега.**

Но не обошлось в «Плавучем мосте» и без ложки дегтя: в критическом разделе журнала меня одновременно позабавило и напугало эссе Николая Болдырева-Северского «Тайна русского лиризма» (о недавнем издании «Антологии русского лиризма») — текст этот, сбивающийся временами на интонации проповеди, представляет собой чистое, нефильрованное юродство, но отнюдь не блаженное, а скорее сектантское.

Впрочем, судя по всему, безумие это конгениально самой претенциозной антологии, которую Болдырев истерически нахваливает, — чего стоит хотя бы такой пассаж: «В то же время уродства в сфере этической красоты никто не имеет права замечать; если же кто заметит, то будет изобличен как ретроград и вообще далекий от сферы “абсолютной речевой свободы”. Соответственно наша молящаяся на западные мейнстримы поэзия (ее доминирующий поток) и занята шлифовкой эстетического человека, то есть атеистического солипсита. Идеальная национальная проекция: Маяковский, не увидевший за свою жизнь ничего кроме своего Я: безудержно-агрессивного и богоборческого. Два полюса в Антологии: Анненский и Маяковский. Последний представлен единственным стихотворением — “Послушайте...” А замыкает Антологию крестьянский поэт Александр Яшин, которому отдано четырнадцать страниц, из них десять страниц дневников, главное ощущение от которых — струящаяся в каждом абзаце кротость,

безупречно родниковая, и я бы даже добавил: исихастская кротость. Вполне осознанный финальный аккорд составителя».

Составителем антологии такого грандиозного замаха, кстати, является некто Васин-Макаров, и хотя лично мне такой деятель неизвестен, узнавать о нем после подобной «рекламы» что-то не тянет: боязно...

Но вернемся к нашим пиитам. Неплохие обороты набрала возрожденная Сергеем Шаргуновым некогда легендарная, но в последние годы прискорбно прозябавшая «Юность» — так, в № 10 за 2019 год, выложенном в «Журнальном мире», хорошее впечатление производит подборка Анны Долгарёвой, становящейся все более заметной фигурой в современной поэзии (Григорьевская премия, шорт-лист премии им. П. П. Бажова, книга, публикации...). И особенно отраднo, что это обусловлено не драматическим биографическим бэкграундом, а объективным качеством стихов, обладающих, на первый взгляд, само собой разумеющимся, но на деле редким качеством — человечностью интонации. Доверительность поэтического голоса — вещь хрупкая и труднодостижимая, но у Долгарёвой даже разговор Гагарина с Богом (тема, на которую не фантазировал только ленивый, хотя большей частью — неудачно) оказывается вполне представимым:

**Никакого секрета у этого,
никаких тайн,
прямо как вернешься —
так всем сразу и говори,
что не смерть, а яблонев цвет
у человека в дыхании,
что человек — это дух небесный,
а не шакалий,
так им и рассказывай, Юра,
а про меня не надо.
И еще, когда будешь падать —
не бойся падать.**

Интересной в этом же номере «Юности» мне показалась и подборка детских стихов, составленная Мариной Бородинской из произведений участников соответствующего семинара на прошлогоднем ульяновском форуме молодых писателей. Особо выделю стихи Алексея Зайцева, грамотно учитывающего специфическую креативность и нелинейность детского мышления. Зайцев, как мне представляется, способен вырасти в серьезного (именно благодаря своей захватывающей «несерьезности») детского поэта, а это, как показывает практика, — товар штучный, если не уникальный:

Пятнадцать лет я ждал Антона.

И вот он

прилетел

с Плутона.

И я: «Ну как? Ну что, Антон?!»

Чуть помолчав, ответил он:

**«Зачем полоски на батоне,
не знают даже на Плуtone», —
и тяжело вздохнул потом.**

В «Интерпоэзии» (представленной, кстати, и в «Журнальном зале», и в «Журнальном мире») в № 4 за 2019 год любопытна «географическая» подборка «Большая вода» Елены Пестеревой — иноземные пейзажи, города и веси дают импульс к развертыванию поэтической мысли и лирической рефлексии, помогая даже изобретению языка, необходимого для описания этих заморских чудес; так на наших глазах формируется индивидуальная геопоэтика:

**Ты ничего такого не хотела,
Но сказочный и сумрачный сюжет
Сам пишется, и на рассветно-белом
Лежит густой по-делфтски синий след.**

**Теперь ищи в глухомемом бессилии
Сонорных, твердых, звонких,
горловых
Каких-нибудь — для кроликов
и лилий,
Ручных дроздов и темных мостовых.**

**Чтоб глиняную клетчатую гладкую
Прохладную, шуршащую фольгой
Голландию, как плитку шоколада,
Носить с собой.**

В журнале «День и ночь» (№ 6, 2019) — стихи проживающего в Бостоне Александра Габриэля — поэта иронического, увлекающегося (иногда чрезмерно) языковой игрой и каламбурами в духе Алексея Остудина. Временами эта игра, кажется, просто обязана раздражать, но не раздражает, а радует. Так происходит и в стихотворении «Поэто-пейзаж», построенном на обыгрывании фамилий русских поэтов и переводе этих фамилий в разряд нарицательных. Веселый языковой эксперимент заканчивается серьезным выводом, который (что удивительно!) не кажется умозрительным и банальным:

**Замер сказочный лес,
прореженный опушками,
над которыми лунная светит медаль.
Спит земля до утра —**

**не разбудишь из пушкина,
и молчит до утра заболоцкая даль.
<...>**

**Проползает река вдоль пейзажа
неброского
и играет огнями — живыми, как речь.
И ее пересечь невозможно
без бродского,
всем не знающим бродского —
не пересечь.**

**Все, что мы не допели,
чего не догрезили,
тает в сонном, задумчивом беге
планет...**

**Жизнь пройдет и останется
фактом поэзии.
Смерти, стало быть, нет.
И беспамятства нет.**

В «Эмигрантской лире» (№ 4, 2019) представлены стихи нью-йоркского врача Александра Стесина, недавнего лауреата премии «НОС» (за книгу прозы «Нью-йоркский обход»). Детали «коридорно-

квартирного ада», наспех выхваченные оптикой поэта мелкие картинки у Стесина катализируют элегическое, медитативное и психологически достоверное самопогружение и самоосмысление:

**Это чувств пятерней
в промежутке одном
шарит время, в дому, где нас нет,
гаснет свет. И чернеет к весне за окном
хрусткой яблочной мякотью снег,
будто скоро займет этот номер пустой
кто-то новый, с двери сняв печать,
и начнется с постскриптума
рифмы простой
все, что поздно сначала начать.**

В «Нижнем Новгороде» (№ 6, 2019) — подборка Надежды Князевой из Арзамаса; наивность этих стихов — одновременно их достоинство и недостаток. Временами Князева разочаровывает легковесностью и клишированностью (не скатывающейся, впрочем, в пошлость), но в лучших строчках, напротив, завораживает — какой-то детской, вспархивающей чистотой лирической героини, взыскующей не только понимания, но взаимопонимания, совпадения с собой, с любимым, с миром:

**Мы настоль далеки от насущного,
Что не видим обыденной косности,
И сознания стены несущие
Рассыпаются в собственном космосе.**

**В нереальности происходящего
Странно слышать звучание имени
Своего же, по снегу звенящего:
Я тебя понимаю.
А ты меня?**

Журнал «Традиции и авангард» (№ 4, 2019) публикует стихи поэта, прозаика и драматурга Дарьи Верясовой — это лирика глубокого дыхания, плавного мелодизма, грандиозной нежности и слегка горчащей радости ощущения всего природного космоса, «хрустала стрекозино» дня — всего того,

что любовно фиксирует глаз, впитывает сердце и хранит «земляничная память». Такая натурфилософская, гармоническая соразмерность элементов Вселенной, ее особый лад в конце концов убеждают, что «неочевидность любви» сильнее «очевидности смерти» и способна даже ее «умереть»:

**Когда-нибудь останемся вдвоем,
Где теплый дом, где сад и водоем,
Где ткут, пекут и горбятся над плугом,
Где виноград хранит дверной проем.
И смерть умрем, и жизнь переживем,
И даже не посмотрим друг на друга.**

**Когда-нибудь откроется и нам:
Все рыбы ускользнули в океан,
Все самолеты улетели в небо,
А мы живем — рассудку вопреки,
В загаженный поток Москвы-реки
Бессмысленно закидывая невод.**

В том же номере — подборка молодого соликамского поэта Михаила Куимова «Снег уже не растает до мая», в которой жизнь тоже побеждает смерть неизвестным науке, но известным поэзии способом. Проговаривая «смерть бога», Куимов отнюдь не корчит из себя юношу, отравленного ницшеанством, но парадоксальным образом убеждает как раз в наличии и непреходящести божественного в человеке. Инверсивный выверт в финале стихотворения знаменует и экзистенциальное прозрение человеческой души — парадоксальное и никаким законам трехмерной реальности принципиально неподчинимое:

**Бог выпал с первым снегом.
Смерть его к
Моменту времени — не более
чем признак
Спиральности:
виток — виток — виток.
Стоишь и смотришь,
как над снегом призрак
Парит, полупрозрачный, и ему
Не страшно больше.
А тебе — до дрожи.**

От смерти, снега, Бога. Но к чему
Волнения? Ведь вы одно и то же.
И застывают лужи, но у льда
Твои черты: беспомощность и холод.
И тени уплывают в никуда:
От снежности. От времени. Тебя от.

Отмечу и опубликованные также в «Традициях и авангарде» баллады екатеринбуржца Егора Белоглазова, в которых экзотика восточной философии и мифологии перемежается с прямыми лирическими высказываниями, а игра ведется действительно всерьез. Так, стихотворение «Уроки алисского» по виртуозности вплетения английских лексем в стиховую ткань заставляет вспомнить известное стихотворение Владимира Маяковского «Барышня и Вульворт»:

Идея с крокеем — здорово —
На клюшках войдем одних!
Баронов sheer'асты головы —
Поди достучись до них.
Я долго была красива, но
Прекрасна и брэнна плоть:
Нам нужен проход к Слезливому —
Манагера озаботь.
Э... ну — церемониймейстера...

(Алиса пошла фонить...
Обметаны губы — клейстером
Пирог; она хочет пить,
Она не в себе.)

Уверена,
Что нужен теперь dress code:
Я думаю, в мэриэннином
Мне больше всего идет.
И будем в метели складывать
Не «вечность», не что-то вне —
А что априори hide and wait
В расштанном сердце... Мне...

...Ну и напоследок заглянем-таки в «Журнальный зал», где некоторые издания уже выложили номера за январь 2020 года, — например, «Знамя» представляет три стихотворения одного из патриархов современной поэзии Олега

Чухонцева, обращенные к тайне, растворенной в воздухе человеческого существования:

Белые идолы вечеров,
опущенные парасоли,
тенты и зондаки,
цепью курортных аллей
выстроились в каре вдоль баров
приморских — то ли
ангелы, крылья сложившие,
то ли ждущие мзды своей
демоны ночи с саванами, и случайно,
у обезлюдевшего бассейна
потягивая винцо,
вдруг почувствуешь —
тут не декорум, а тайна:
ты в нее смотришь, не видя,
а она тебе дышит в лицо...

Стихи Чухонцева неизменно подтверждают правоту Блока, обронившего однажды, что настоящая поэзия всегда светоносна. Обреченность у Чухонцева не выглядит обреченно, а фатум не звучит фатально, ибо сама стиховая материя, подспудная энергетика сочленения слов противостоит энтропии безысходности. Форма как бы противоречит содержанию, но противоречие это не опознается как таковое, ибо они суть одно. А значит, поэзия вновь доказывает, что «смерти нет», и так или иначе приближает нас к бессмертию — единственной, по Хармсу, достойной человека цели жизни:

морок и мрак, а рядом лики и лица
что им скажу в последний
быть может час
если и вам не случится
со мной проститься
впрочем вас уже нет давно
как меня для вас

Еще более артикулированно победу хрупкой жизни и поэзии над неизбежной смертью утверждает в январской «Звезде» другой живой классик — Александр Кушнер:

Нина ЯГОДИНЦЕВА

СМОТРЕТЬ БЕСПЛАТНО В ХОРОШЕМ КАЧЕСТВЕ

Мурзин Д. Новое кино. — М.: Издательство Российского союза писателей, 2017. — 216 с. (Серия «Лауреаты национальной литературной премии “Поэт года”»)

Стремительный темпоритм начала XXI века буквально не дает возможности остановиться, отдышаться, оглядеться. Постоянно ускоряющаяся гонка породила множество вредных привычек, и, пожалуй, самая досадная из них — привычка к постоянной внешней, формальной новизне. При этом, чтобы удержаться на скорости и сэкономить силы, подлинная новизна — внутренняя, содержательная — игнорируется напрочь: нужно же останавливаться, присматриваться к ней, оценивать...

Событие, каким бы оно ни было, держится «на плаву» день-два-три, а потом безвозвратно уходит в прошлое. Ни правота, ни красота, ни особенный масштаб или характер события — ничто не повод остаться, подзадержаться, а уж тем более запомниться. Многого и не жалко, но вот с книгами так быть не должно точно — особенно с поэтическими, у которых свой собственный повод быть и свое собственное внутреннее и внешнее время.

* * *

У книги Дмитрия Мурзина «Новое кино» ряд событий неспешен. В 2015

году автор стал лауреатом национальной литературной премии «Поэт года», но лишь в 2017-м в соответствии с программой книгоиздания оргкомитет премии выпустил эту книгу в свет. Безусловно, такая книга — явление весьма нередкое, и, чтобы развернуться, ему требуется время. Сборник официально не обозначен как «избранное» — но в аннотации указано, что он «включает в себя избранные произведения, написанные в разные годы. Лирика автора проникает в самое сердце читателя. Безысходность и безнадежность, зачастую присущие его герою, обязательно уравновешиваются надеждой на лучшее и верой в добро...»

Собственно, поэтическая книга по настоящему всегда осмысливается не по факту своего выхода в свет (это, скорее, просто информационный повод), а по факту включения в литературный контекст своего времени, по факту диалога, который складывается (или не складывается) вокруг нее. Посему и разговор о «Новом кино» мы затеваем не сразу, а спустя несколько лет. И конечно, проблему контекста попробуем обозначить, хотя задача не из простых.

В предисловии к сборнику знаток и ценитель поэзии Игорь Волгин основной акцент делает на образе лирического героя: «Можно сказать, что лирический герой Дмитрия Мурзина искушен жизнью и, в общем, не ждет от нее ничего хорошего. Он смотрит на нее с чуть заметной и невеселой усмешкой, он “медитативен”, он все делает “медленно и печально”... Это очень выигрышная лирическая позиция. Ибо она не только позволяет взглянуть на окружающих пристальным поэтическим взором, но еще и художественно дистанцироваться от той действительности, которая, как правило, угнетает поэта своим неблагообразием. Или, как принято ныне выражаться, своей безблагодатностью...»

Сложно спорить с этой оценкой, но и запросто согласиться с «выигрышной» поэтической позицией и выгодной поэтической дистанцией получается как-то не очень. Уже хотя бы потому, что выигрыш и выгода применительно к поэзии — понятия совершенно лукавые даже и в наше сугубо прагматическое время.

Разумеется, подход «со стороны лирического героя» не исчерпывает своеобразие книги — скорее, предисловие, как ему и положено, только начинает разговор, ведущий в широкое пространство актуальных, а порой и весьма болезненных для современной поэзии тем. Темы эти должны бы выходить прямо в живую жизнь, но, возможно, именно по причине их болезненности они сегодня оказались в филологической резервации — там, куда опытные загонщики уже не первое десятилетие умело направляют и саму современную поэзию.

Поэтому давайте-ка отложим в сторону филологический инструментарий анализа, вычеркнем термины «центаон», «аллюзия», «реминисценция», «постмодернизм» (да-да, и «постпостмодернизм» — тоже) и иже с ними. И в безоружной простоте спросим себя: что происходит-то? Вот здесь, например:

**Какое сильное звено,
Но — выпавшее из цепочки...
Уменье свыше нам дано —
Как пропадать поодиночке.**

**По одному нас ловит стая:
Под дых — ага, по морде — хрясь,
Как бы резвяся и играя,
Но не играя, не резвясь.**

Это восьмистишие — пожалуй, одно из показательных, характерных для «Нового кино». Самим приемом (на всякий случай напоминаю: слово «аллюзия» мы вычеркнули) Дмитрий Мурзин здесь и далее, практически в пространстве всей книги, владеет мастерски, но подобное мастерство оставляет как минимум двойственное впечатление.

С одной стороны, текст изящно, играючи раскрывается в культурный и разговорный контекст практически каждой фразой, и эти фразы аккуратно разложены по «культурным» полочкам — от Пушкина и Тютчева до Окуджавы и телевизора (это я про звено), а одна так прямо и принесена с заплыванного асфальта в темном переулке. Игра с читателем: ты помнишь? Ты узнал? А вот это? Молодец, возьми с полки пирожок... Некоторые стихотворения «пирожком» и ограничиваются, как, например:

**Огонь зажегся и погас в ночи
Вы были обезьяной Чичичи
И дилером кирпичного завода
Вам даже дали имя парохода**

**Пройдет зима пройдоха не пройдет
Пусть переименуют пароход
В кармане лишь окурки и огрызок
Я гадом буду буду учпедгизом**

**Огонь зажегся в траченной ночи
Вы слышали упали кирпичи
Не ведая сомнения и цели
На голову в цене на самом деле**

Да, продавала обезьяна Чичичи в детской считалке строительные материа-

лы, и не только продавала — она там еще и за веревку дергала, но повод ли это для стихов? Не растрата ли, не тотальное ли рассыпание памяти — от классического наследия до городского детского фольклора?

А с другой стороны — ну какая же это игра? Пропадать-то поодиночке и всерьез, и в финале стихотворения о «сильном звене» пропадает даже не столько сам лирический герой, сколько все перечисленное в тексте, включая классику, ТВ и саму подворотню, приговаривается без права обжалования — «не играя, не резвясь». И видимо, не для красного словца. Все как-то незаметно становится слишком серьезным. До той степени сугубой серьезности, что и (в другом стихотворении) солнце может не взойти, когда:

**Легко, по погоде, одета,
Раздета ли, кто разберет,
Нетрезвая девушка Света
Домой с вечеринки идет.**

**По розовой кромке рассвета,
Туда, где батяня попьет,
Нетрезвая девушка Света
Чуть-чуть, еле-еле бредет.**

**Вращается тихо планета,
Над городом брезжит восход.
Светает со скоростью Светы —
Чуть медленней — и не взойдет.**

Даже не хочется спрашивать у автора, вправду ли бесхитростная муза юности и романтики, «хорошая девочка Лида» Ярослава Смелякова ушла в безвозвратное прошлое, а вместо нее уныло бредет с вечеринки вызывающая брезгливое обывательское любопытство «нетрезвая девушка Света». Потому что становится более чем понятно, что в процессе замещения реальной жизни цитатами и тенями из прошлого автор принимает самое непосредственное участие:

**Тяжела атлетика Мономаха,
Асинхронно плаванье, квёл футбол.
Проигравшего ожидает плаха,
Победителю достается кол.**

**Выпьем за победу, да где же кружка,
И, по ходу, нечего наливать...
Коротка дистанция, как кольчужка,
А мы еще не начали запрыгать...**

Или:

**Внезапно замолчали соловьи,
Напившись неба, захлебнувшись
высью...
— Иванушка, не пей из колен,
Тойотой станешь, хондой, мицубисью!**

**Но выпало всем сестрам по серьгам,
Аленушку везла «Калина-Лада»
По всем семи холмам, по всем кругам,
По всем развязкам дантовского
МКАДа.**

Это же тот самый безотказный прием работы «на обывателя», из ненавистных самому автору, вызывающих отторжение и повергающих в уныние примитивной схемой «узнавание плюс страшилка». Та самая ситуация с новизной, о которой мы говорили в самом начале рецензии: внешнее событие, мгновенно стирающееся, вроде бы есть, а внутренняя, содержательная новизна под запретом. И не под цензурным, а под самым страшным — самозапретом.

И хотя самым первым стихотворением нас обо всем честно предупредили:

**Жизнь началась, как положено,
в три утра,
Сердце заныло (сердце —
известный нытик),
Поиск таблетки, смысла, воды, добра...
Снова прилечь, затихнуть,
выключить бра...
Жизнь — жженаука,
мой неумельный гитик.**

**Каяться, маяться, перебирать слова,
Праздновать труса траченным
валидолом...**

**Сдрейфив насчет «пройдут
Азорские острова»,
После сорваться
на торжество шутовства:
Выжечь больное сердце
дурным глаголом... —**

все равно как-то не очень по себе. Впрочем, и здесь еще не край. Край — с перехлестом — там, где автор в полемике со стихотворением Дмитрия Быкова, написанным еще в 1996 году, проговаривает впрямую:

* * *

Нет, уж лучше эти,
с модерном и постмодерном...
...Но уж лучше эти,
они не убьют хотя б.
Д. Быков

**Как бы нам ни стелили,
как бы нам ни спалось,
Лучше — чтобы убили, чем вот так,
как пришлось.**

**Лучше — чем эти
невольнo-вольные стили,
Выгибонь, впадины, пируэты...
Знаешь, как было б надежно,
если б убили,**

**А не это, вот так, вот этим,
вот через это.**

**Потому-то пора уходить со сцены,
Снимать пуанты, стирать белила,
Объявлять об отказе участвовать
в этом концерте...**

**Чем, скажите, смерть вам так сильно
не угодила,
Что все это вдруг кажется лучше
смерти?**

Страдательный залог этого стихотворения — тоже с двойным дном: с одной стороны, реальность, как утверждает поэт, хуже смерти, но с другой, с другой-то — «лучше — чтобы убили, чем вот так, как пришлось». Безволие, возведенное в

крайнюю степень, точнее, в нее низведенное. Признание жизни недостойной игрой — и вполне логичный отказ «участвовать в концерте»? Нет, не отказ, а только лишь декларация отказа, потому что ведь весь этот пошлый до тошноты концерт в белилах и на пуантах — «на хлебе и Водкине день ото дня» — и состоит из бесконечных «нетрезвых девушек Свет», а там еще «Сергеев-Мценский. Новиков-Припой. Как странен нынче путь в макулатуру...», «Если пароль “хапёр”, то отзыв “хапёр инвест”. Нас с тобой два раза один Мавроди не съест» — и так далее.

Вот здесь, в этой точке отказа от жизни и смерти поэзия и сворачивает в филологическую резервацию, куда уже совсем скоро будут продавать билеты туристам и водить содержательные экскурсии: «а вот тут у нас реминисценции, здесь аллюзии, в основе которых лежат перцепции...» И не искушенность и отстраненность, а крайняя растерянность и демонстративная беспомощность перед жизнью видятся теперь уже нам в образе лирического героя. И очень хочется, чтобы он очнулся, стряхнул этот морок, замолчал, пораженный — чем? Любовью, может быть? И начался заново — может быть, таким:

**Злой я был, когда, шатаясь,
Брел домой по пустырю,
От обиды задыхаясь,
Нарываясь на зарю.**

**Злой я был, и шел сквозь темень,
Как идет из раны кровь,
Проклиная место, время
И особенно любовь.**

**Ты таким меня застала —
Ярость с пеплом и золой...
Улыбнулась и сказала:
«Успокойся. Ты не злой».**

И вот таким, да, точно знающим, что:

**Каждый забился в свой отдельный
мирок,
Напоминающий пластиковый стакан.**

И жить дальше с тем, с чем жить, по сути, невозможно, но без чего жизнь теряет всякий смысл:

То ли с веком-кастратом не справился,
То ли впрямь — человеческий хлам.
Все поступки мои мне не нравятся,
А по сути — не нравлюсь я сам.

Ни стихом, ни романом, ни повестью
Не изжить, не сказать напрямик
Эту мелочность, сделочки с совестью,
Будто совесть моя — ростовщик.

Наслаждаясь минутной победою,
Сам себе, сам себе говорю:
Я ведь ведаю, ведаю, ведаю,
Я ведь ведаю, что я творю.

Я ведь знаю все это заранее,
Понимаю: за каждым углом —
Не возмездие. Нет. Наказание.
А возмездие будет потом.

Здесь поэт Дмитрий Мурзин говорит уже в полную силу, и ему в полную силу — веришь. И среди стихов, знакомых по предыдущей книге — «Клинической жизни», — радостно обнаруживаешь в избранном любимое, иронически-ерническое, но вполне между тем серьезное по сути:

В глухой Сибири, где бродит лось
И сладка вода родника,
Течет и пробует на износ
Русло свое река.

Берега ее утопают в песке,
Воды ее легки.
Но те, кто живет на этой реке,
Боятся этой реки.

Наступит зима, когда нужно зиме,
Льдом эту реку скует.
Никто из местных в своем уме
Не ступит на этот лед.

Прощай, рыбалка, рыбка, прощай,
Не будет подледным лов.
Не тронется лед, не наступит май —
Рыбак не покинет кров.

По небу крадется, словно шпион,
Поздний зимний рассвет.
А по-над речкой — малиновый звон.
Малиновой звона нет.

Звон ненадежных зимних оков,
Пока не померкнет свет.
Лед звенит, но ни рыбаков,
Ни конькобежцев нет.

Лед, звенящий, но хрупкий лед
Провалами чреват.
Система ходов, система пустот
Изрыли лед наугад.

Система дыр и система нор.
Шаг ступил — и привет.
В этой реке есть рыба-шахтер —
В других местах ее нет.

Черна как смоль, с фонарем во лбу,
И с плавником-киркой,
Рыба-шахтер, прокляная судьбу,
Ушла в ледяной забой.

У местных с неместными вышел спор,
Как есть, о природе вещей:
Зачем нужна эта рыба-шахтер
И есть ли она вообще.

Спор утихает, но лед звенит,
И пацаны твердят:
Мол, рыба-шахтер найдет динамит,
И местные победят.

И вот тут становится понятно окончательно: местные победят. Точно. Весь этот смертельно усталый от постмодернизма пост-постмодернизм, все это безнадежное прогрызание штреков в воздухе, забитом словами и словосочетаниями до полной окаменелости, вся эта гоп-компания по обустройству филологических резерваций для современной виршефикации или виршефикации — все пройдет. А останется, пожалуй, вот это:

За окнами хмуро и сиро,
Уснешь и увидишь во сне,
Что мир разделен на два мира
В какой-то ужасной войне.

**В какой-то продуманной бойне,
В каком-то тумане и мгле...
И колокол на колокольне
Звонит обо всех на земле.**

**Ты держишь винтовку, как палку,
От страха и злости дрожишь,
Такой близорукий и жалкий,
Кого-то убить норовишь...**

**Окопы, обстрелы и взрывы,
И будет все именно так,
Пока не увидишь красивый,
Пробитый осколками знак:**

**До вражьей столицы две мили.
И тут же проснешься без сил
От счастья, что мы победили
И ты никого не убил.**

И финальная цитата — как мгновение, в которое — еще, может быть, незаметно — ситуация начинает разворачиваться в обратную сторону (помните, как у Высоцкого: «От границы мы Землю вертели назад — / Было дело, сначала. / Но обратно ее закрутил наш комбат, / Оттолкнувшись ногой от Урала...»):

**Заштопай на сырую нить
Надежды скверное сукно,
Мы просто не умели жить.
И научиться не дано.**

**Уже никто и никогда
У нас не спросит закурить.
Сгорела, падая, звезда,
И нужно слазить, заменить.**

**А сны застираны до дыр,
Порой так хочется уснуть.
Вновь пробуксовывает мир,
И нужно выйти — подтолкнуть.**

* * *

Вот такое получилось «Новое кино» — не слишком веселое, но с настоящей надеждой. Для искушенных и неискушенных. Для отстраненных и погруженных. Автор прошел весь путь — и вышел к себе. Преодолевал в себе то, что обычно занимает целую жизнь, и обозначил жизнь другую — настоящую.

...Я принадлежу к поколению, рожденному в 1960-е, и всегда считала, что именно оно попало под самый сильный удар эпохи, именно на него обрушились обломки советской империи. «Новое кино» представило иной сюжет — поколение, рожденное в 1970-е и угодившее под те же обломки, еще не успев набрать хотя бы минимальной силы и крепости. Но и оно, в принципе, выстояло.

Времена не выбирают — но, совершенно точно, сами выбирают свой путь через них.



Андрей КУЗНЕЦОВ

АЛЕНА ЗАЛУЦКАЯ — ЧЕЛОВЕК, ОЖИВЛЯЮЩИЙ ГЛИНУ

В детстве мы все любили камни и черепки. В камнях завораживала структура: самые желанные были с прожилками и дырочками, но они первыми выскальзывали из рук и терялись навсегда — других таких не сыщешь. Камень, исполненный природной красоты, — редкость, воплощение идеи единичного. Но было и нечто намного более ценное...

На безликих черепках, найденных на Юге, навсегда остались следы пальцев гончара. Невероятное ощущение — прикоснуться к творению рук давно исчезнувшего человека и пытаться угадать стоящее за осколками целое — некогда разбитый сосуд. Подобно морским камешкам, эти черепки «звучали» по-разному, но интересны они были только как части целого, фрагменты утраченной формы. Керамика, сделанная рукой художника, производила очень яркое впечатление: в ней была уникальная материальность, свойственная творениям природы, и ремесленная рукотворность, но, кроме того, в каждом предмете было и нечто неведущее — казалось, что они подобны ребусам, содержащим скрытое сообщение.

Теперь я понимаю — те детские впечатления относились к самой сути вещей: в керамике, как, пожалуй, ни в одной другой области прикладного искусства,

теснейшим образом связаны материал, ремесло и образ, тот самый трудноописуемый остаток, ради которого все и делается. Вершину этой триады — смысл — невозможно воплотить без чувства материала и ремесленного умения (как красиво звучит по-сербски, *уметник* — художник, тот, кто умеет, обладает мастерством).

Удивительно то, что смыслы могут порождаться рефлексией по поводу материала, и такая керамика вдохновляется протейностью самой глины, земли, бесконечной длительностью геологических процессов, давлением, цикличностью нагрева и остывания; она повествует о минеральном и органическом, о гибели и возрождении. Ремесло, универсальный в своих высших формах язык живого народного искусства и изощренное умение мастеров прошлого, оставшееся в истории, — также неиссякаемые источники образов для вдумчивого художника.

...Керамика — вечное искусство, вернее, даже так: вечная материя, соединенная с человеком изначальной связью. Земля, случайно попавшая в костер и обратившаяся в камень, позволила человеку постичь один из главных аспектов жизни — творение, создание *ex nihilo*. Благодаря глине человек стал тем, кого древние греки называли демиургом — творцом осязаемых образов мира.

Клейкая и податливая природа «красной земли» противоположна природе камня, не прощающего в работе ошибок: твердость камня определяет окончательность придаваемых ему образов, а протейская природа глины позволяет ей стерпеть многое и вернуться в изначальное состояние, пока ее не коснулся огонь.

Глина в самых различных культурах — своеобразный двойник человека, его тень, субстанция его тела; Адам — «красная земля», первочеловек, плоть которого — одухотворенная охра. Любой кувшин из миллионов, слепленных на Земле, имеет губу, горло, ручки, тулово, и простой гончар работает со стихиями, священными для всех культур, он соприкасается с тем, что очищает, — с водой, огнем и землей...

* * *

До изобретения гончарного круга в традиционных сообществах с глиной чаще всего работали женщины — символическая близость к земле и связь с огнем превращали их в первых керамистов. Замешивание глины, лепка, обжиг горшка и приготовление еды — поразительно схожие процессы, а сама суть примитивной технологии лепки сосудов («жгутом») связывает древнюю керамику с ткачеством и плетением — также женскими занятиями. Но для человека архаичной культуры женственная суть керамики еще и в сходстве процессов лепки и деторождения, а смерть, гибель — напротив, разрушение «скудельного сосуда», превращение его в груды черепков.

Работа керамиста (в основе — инстинктивная и спонтанная) дает возможность материалу до конца раскрыть свои свойства, но в высших своих проявлениях она связана с глубокой рефлексией и эмоциональным интеллектом, поскольку именно они позволяют вырасти и сформироваться главному — образу. Баланс и

гармония особенно важны для керамиста, ведь все, что он делает — от формования на гончарном круге до подбора глазурей — это поиск равновесия; керамика не выносит крайностей насилия и страха, и мало какой материал настолько обнажает перед зрителем суть творца.

В наше время, когда индустриально тиражируются безличные объекты, в керамике находят воплощение неповторимые образы интимного, личностного искусства, которые сложно водрузить на коммерческий пьедестал, — и самые захватывающие вещи получаются, когда удается сделать изначально бесформенный материал средством выражения индивидуального присутствия!

Речь идет не о лирике прямого высказывания, а скорее о некоем «прибавочном элементе», раздвигающем границы общепринятого, о глубоко личном опыте созерцания и размышления, о своего рода медитации и эксперименте, — возможно, этот опыт можно описать как путешествие, ведь он разворачивается во времени и связан с образами движения, роста и преодоления препятствий.

* * *

Искусство керамики — тяжелый труд, но, видимо под влиянием бессознательных культурных паттернов, в нем до сих пор мощно проявляют себя именно женщины.

Алена Залуцкая связала с этим не легким ремеслом всю жизнь и своими постоянными поисками вывела новосибирскую керамику на принципиально новый уровень.

...То, что кажется нам красивым в природе, есть следствия подчиняющейся математическим законам динамики самой природы, ее материализованное движение, становящееся то кристаллом, то ветвью. Художники обращаются к миру явлений как к камертону, поверяя

строгим мерилom порядка свои хаотические видения. Удивительно, но сохранять материальные следы своей работы могут только две силы — человек и природа. В первом случае это результат более или менее осознанного выбора, во втором — случайности. Геологические процессы на протяжении миллионов лет создают аморфный пластичный материал — глину, продукт распада материнской породы, но человек способен преодолеть разрушительную работу времени и воссоздать твердь.

В этом смысле керамика Залуцкой просто поражает, и относиться к ней равнодушно невозможно — ее либо отвергают, либо обожают, потому что много вложено в нее страсти и душевных сил... Поражают эти работы, прежде всего, безоглядной смелостью — и в технологических приемах, и в образах, и в формообразовании; смелость — это главное! Лучшие образцы керамики Алены ощущаешь как взрыв материи, цвета и формы, они похожи на причудливые растения, исполинские организмы, космические тела. И не случайно дети — одни из самых преданных поклонников искусства Алены Залуцкой, в работах которой так много непосредственности и которые так далеки от выхолощенного концептуализма.

Но бесстрашие и напор — это не все; внимательный зритель может отметить и более глубокое качество этой керамики — утонченность.

Можно спорить о керамике бесконечно, такова природа искусства: оно всегда уязвимо для критики, но в работах Залуцкой техническая изощренность не выпячивается, она лежит под спудом, а главное — образ, и в этом Алена проявляет себя как художник старой школы, а не новомодный ремесленник. Стремление сохранить образ — симптом сознательного дистанцирования от мейнстрима в керамике, где сейчас доминирует подход, сводящий керамическое искусство к чисто

формальной «химии», убивающей индивидуальное начало. У Алены же, наоборот, вся керамическая «материя» одушевлена ее личным присутствием, пропитана ее эманациями, но эти переживания и эмоции — не единственный источник питающий искусство Залуцкой. Художник, его стиль, его высказывание — всегда результат общечеловеческой культуры и культивации чужого опыта; невозможно стать художником, будучи глухим к богатству предыдущих форм искусства и равнодушным к экспериментам предшественников...

Алена Залуцкая нередко переосмысляет образы, весьма далекие от керамики, для нее безлично народное искусство и изощренный формальный язык Кандинского — равнозначные поводы для индивидуальной рефлексии или нового высказывания, но это не совсем цитаты. В постмодернистской страсти к цитатам есть ироническое презрение к «прямому высказыванию», переживание по поводу исчерпанности языка искусства и пессимизм относительно его будущего, а главное, постмодернизм — реакция на коммерциализацию искусства, его тиражирование и обесценивание или, наоборот, на его переоцененность. Но всего этого в работах Залуцкой нет! А есть по-детски непосредственное восхищение, любовь и все, что составляет сильнейшие впечатления ее жизни: Магадан, Охотское море, фрески Ярославля, натюрморты Моранди, формальные опыты Кандинского, таджикские килимы и будни общежития Красноярского художественного института — все вплетается в некий пестрый ковер, в котором нет главного и второстепенного.

История — порождающий контекст, в нем есть сила, но не меньше и слабости. В самом деле, кажется, что все уже создано еще в Древнем Египте, что исчерпаны все темы и возможности художественных стилей, — но конец истории все никак не наступает.

Человек — константа прикладного искусства, а человеческое тело — одна из его неисчерпаемых тем. Несмотря на все процессы дегуманизации, пропорции человека все еще сопоставимы с вазами и чашами, но все чаще человеческое тело становится символом, энигмой, поводом для неоднозначного.

Обращение к языку и речи — одна из ключевых тем современного искусства. Очевидно, что границы и природа символического — в какой-то мере ключевой объект рефлексии и в современной керамике. Текстуальность, концептуальность современной керамики тем интереснее, что она сейчас как никогда погружена в поиск новых экспрессивных средств, выразительной техники. Но при этом богатство возможностей, плотность информации, доступность материалов и технологий часто таят в себе опасность: керамика может оказаться поглощенной хаосом самодостаточного материала, «белым шумом», скрывающим индивидуальность, она может стать набором банальных цитат, анахронизмом, в котором есть лишь повторение азов ремесла, вещь среди других безликих вещей или цирковым аттракционом.

Работы, в которых вкус, мастерство, отточенное годами упорного труда, доскональное знание материала — лишь средства для порождения высоких смыслов, сейчас чрезвычайно редки. Как сказал современный властитель дум, «мы живем во время победившей горизонтали», но есть исключения.

Алена Залуцкая создает свою керамику, смешивая утонченность и смелость, личное и общее, технологию и обреченность, культуру и непосредственное, «сырое» ощущение. Качество результата (того, что мы называем искусством) целиком зависит от чувства меры и баланса — и в работах Алены Залуцкой есть это ощущение найденного равновесия и распавшейся, как пазл, но собранной и вновь обретенной структуры.

Вопреки тому стерильному цифровому вакууму, в котором подвешено современное прикладное искусство, часто сработавшее только ради эффектного фото в «Инстаграме», живая практика ремесла весьма драматична. Путь художника в наше время часто напоминает традиционные практики «духовного человека»: в нем есть и затворничество, и упорный труд ради достижения неизвестного результата, и отбрасывание «соблазнов».

Подобно кочевнику или члену суфийского братства, художник, стремящийся к самореализации, никогда не останавливается надолго, а его «стоянки» — кристаллизация и накопление определенного состояния, качества. Они нужны для того, чтобы бескомпромиссно задать вопрос себе самому — или поставить под вопрос возможности материала и незыблемость традиций. Темы искусства все те же — природа, история, человек и его язык, меняются только вопросы и ответы...



АВТОРЫ НОМЕРА

Бабанская Алена родилась в г. Кашире. Окончила филологический факультет Московского педагогического государственного университета. Публиковалась в журналах «Арион», «День и ночь», «Крепцатик», «Интерпоэзия», «Волга», «Сибирские огни» и др. Автор двух книг стихов. Живет в Москве.

Баронец Влада родилась в 1981 г. в Ростовской области. Окончила филологический факультет Ростовского государственного университета. Публиковалась в журналах «Звезда», «Север», «Невский альманах». Живет в Санкт-Петербурге.

Брызев Владимир Алексеевич родился в 1959 г. в Кузбассе. Окончил Литературный институт им. А. М. Горького. Автор поэтических сборников «Окоем», «Золотой кол», «Могила Великого Скифа», «Посланец», «Тобук», «Кочевник», романа в стихах «Могота» и двадцати поэм. Член русского ПЕН-центра. Живет в Новосибирске.

Гришин Константин Владимирович родился в 1986 г. в с. Мамонтово, Алтайский край. Окончил Алтайский государственный университет по специальности «Филолог. Преподаватель». Работает журналистом. Публиковался в журналах «Знамя», «Крепцатик», «Алтай», «Урал» и др. Автор четырех книг стихов. Член Союза российских писателей. Живет в Барнауле.

Кирилин Анатолий Владимирович родился в Барнауле в 1947 г. Автор двенадцати книг прозы и публицистики, изданных в Сибири и Москве. Публиковался в журналах «Сибирские огни», «Алтай» и др. Живет в Барнауле.

Комаров Константин Маркович родился в 1988 г. в Свердловске. Выпускник филологического факультета Уральского федерального университета им. Б. Н. Ельцина. Кандидат филологических наук. Публиковался в журналах «Новый мир», «Урал», «Вопросы литературы», «Знамя», «Октябрь» и др. Лауреат ряда литературных премий. Автор нескольких книг стихов и литературно-критического сборника «Быть при тексте». Член Союза российских писателей. Живет в Екатеринбурге.

Кузнецов Андрей Александрович родился в 1975 г. в Новосибирске. Учился на филологическом факультете НГПИ, затем — в Новосибирской архитектурно-художественной академии, преподавал в Новосибирском театральном институте и НПАХА. В настоящее время — преподаватель Новосибирского государственного архитектурно-строительного университета, автор статей о новосибирских художниках. Живет в Новосибирске.

Курская Дана Рустамовна родилась в 1986 г. в Челябинске. Основатель и главный редактор издательства «Стеклограф». Организатор Международного ежегодного фестиваля современной поэзии MyFest и Международной поэтической премии MyPrize. Публиковалась в журналах «Знамя», «Интерпоэзия», «Новая Юность», «Волга» и др. Автор двух книг стихов. Лауреат ряда поэтических премий. Живет в Москве.

Лужанов Олег Николаевич родился в 1964 г. в Курске. Окончил Ленинградское мореходное училище и Курский государственный технический университет. Пенсионер МВД, подполковник милиции.

Публиковался в местных СМИ, альманахах «Курские перекрестки», «Современная поэзия и проза Соловьиного края». Лауреат ряда литературных конкурсов. Автор нескольких сборников поэзии и прозы. Живет в Курске.

Прашкевич Геннадий Мартович родился в 1941 г. в с. Пировском Красноярского края. Прозаик, поэт, переводчик. Автор романов «Секретный дьяк», «Носорукий», «Теория прогресса», биографических книг о Жюлье Верне, Уэллсе, Брэдбери и др. Заслуженный работник культуры РФ, лауреат ряда отечественных и международных литературных премий. Живет в новосибирском Академгородке.

Росяков Сергей Георгиевич родился в 1962 г. в Новосибирске. Кандидат исторических наук. Главный научный сотрудник ГАУК НСО «Новосибирский государственный краеведческий музей». Автор более 30 научных статей и трех монографий по археологии Новосибирской области. Живет в Новосибирске.

Сенчин Роман Валерьевич родился в 1971 г. в Кызыле. Окончил Литературный институт им. А. М. Горького. Публиковался в журналах «Знамя», «Новый мир», «Наш современник» и др. Автор нескольких книг прозы, в том числе: «Минус», «Елтышевы», «Лед под ногами», «Зона затопления», «Дождь в Париже». Лауреат нескольких литературных премий. Живет в Екатеринбурге.

Тен Виктор Викторович родился в 1957 г. в Целиноградской области. В 1979-м окончил исторический факультет УрГУ (Свердловск). Работал археологом, преподавателем. Кандидат философских наук. Автор ряда книг, в том числе: «Человек изначальный. Из пены морской», «Человек безумный. На грани сознания» и др. Печатался в журналах «Легта», «Московский журнал», «Свободная мысль» и др. Живет в Санкт-Петербурге.

Фоняков Илья Олегович (1935–2011) — поэт, критик, публицист, переводчик. Родился в Бодайбо. Рос и учился в Ленинграде. С 1957 по 1974 г. жил в Новосибирске, работал литсотрудником газеты «Советская Сибирь», собкором «Литературной газеты» по Сибири, руководил литобъединением при газете «Молодость Сибири», из которого вышли многие известные сибирские поэты и прозаики. Автор более сорока книг стихов и книг очерков. Скончался в Санкт-Петербурге.

Ягодинцева Нина Александровна — выпускница Литературного института им. А. М. Горького, кандидат культурологии, профессор Челябинского государственного института культуры, секретарь Союза писателей России. Лауреат всероссийских и международных премий в области литературы и литературной критики, художественного перевода, научных исследований и творческой педагогики. Живет в Челябинске.

Ядаганов Вячеслав Алексеевич родился в 1959 г. в с. Чибиля, в Горном Алтае. Окончил Барнаульский политехнический институт. Работал инженером-строителем, в органах муниципальной службы. Публиковался в журнале «ProAlтай». В 2019 г. выпустил книжку рассказов и стихов. Живет в Новосибирске.

СИБИРСКАЯ ГОРНИЦА



МАГАЗИН

продает и покупает:

книги и подписные издания, газеты, журналы, почтовые открытки (до 1960 г.), старые фотографии, домашние архивы, коллекции почтовых марок, монеты, бумажные деньги;

статуэтки фарфоровые, бронзовые и чугунные, серебряные изделия, значки на винтах, портсигары и подстаканники, заводные игрушки и фарфоровые куклы, угольные самовары и патефоны, старинную мебель, старую военную форму и военную атрибутику и многое другое.

Работают отделы:

антиквариата, нумизматики, филателии и букинистической литературы.

Всегда в продаже журнал «Сибирские огни».

Работаем с 10 до 19 без перерыва, в воскресенье с 10 до 18

Адрес: ул. Романова, 26 (угол Советской и Романова)

☎ 227-18-37, 227-14-50

Сайт: www.gornitsa.ru E-mail: n_gornitsa@bk.ru

Частные лица и организации в Российской Федерации и в странах СНГ могут подписаться на журнал «СИБИРСКИЕ ОГНИ» в любом отделении связи — красный Объединенный каталог, подписной индекс — 46587.

ДЛЯ ДЕТЕЙ СТАРШЕ 16 ЛЕТ

Учредители:

Союз писателей России, Администрация Новосибирской области.

Журнал зарегистрирован в Государственном комитете Российской Федерации по печати.

Свидетельство о регистрации № 01302 от 27 ноября 1998 г.

Адрес редакции и издателя:

630007, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, 19, тел. (383) 223-10-15

E-mail: sibogni@sibogni.ru Сайт: sibirskieogni.pf

Адрес типографии:



ООО «Новосибирский издательский дом»

630048, г. Новосибирск, ул. Немировича-Данченко, 104

<http://книгосибирск.pf>

Сдано в набор 19.02.2020. Дата выхода № 3 за 2020 г. в свет 26.03.2020.

Формат 70x108/16. Печать офсетная. Усл. п. л. 8,7. Тираж 1500 экз.

Во всех случаях полиграфического брака просим обращаться в типографию.